

● **НОВЫЕ ЕВРЕЙСКИЕ ДАЦЫБАО** –
первая израильская публикация Игоря Гарика

● **РУССКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ** –
роман о любви в прозе, стихах и под псевдонимом

● **ШЕСТЬ СЦЕНАРИЕВ ИЗРАИЛЬСКОГО БУДУЩЕГО** –
круглый стол с участием З. Бар-Селлы, А. Воронеля, И. Гомель, Н. Гутиной, Г. Дризлиха и М. Каганской

● **КУЛЬТ КАТАСТРОФЫ** –
полемическое эссе Бен-Баруха

● **ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ БИРОБИДЖАНА** –
московские фельетоны Реувена Пятигорского

58

22

№ 58

МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ

МИ

ДВАДЦАТЬ ДВА

*Общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингер за 1984 год*

58

февраль-март 1988



*издание общественного культурного фонда
"МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ"
под покровительством израильского комитета ученых
при общественном совете солидарности с евреями СССР*

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- 3 *АЛЕКСЕЙ ТАТАРИНОВ*. Русские приключения (роман)
44 *ИГОРЬ ГАРИК (Губерман)*. Стихи
53 *ГЕРМАН ГЕССЕ*. Путь мудрости (повесть, окончание)

ИЗРАИЛЬСКИЙ ОЧЕРК

- 116 *ДМИТРИЙ СЛИВНЯК*. Две столицы
121 *ЗОРИЙ КОПЕЛИОВИЧ*. Уроки необъявленной войны

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- 137 *МАЙЯ КАГАНСКАЯ*. Миф против реальности
146 *ИЛАНА ГОМЕЛЬ*. Война мифов
152 *АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ*. "Запад есть Запад, Восток есть Восток..."
166 *ГЕОРГИЙ ДРИЗЛИХ*. Американская опция
175 *ЗЕЕВ БАР-СЕЛЛА*. Исламский фундаментализм и еврейское государство
186 *НЕЛЛИ ГУТИНА*. Ориентация на Храм

ПОЛЕМИКА

- 197 *БЕН-БАРУХ*. Тень

МАСТЕРСКАЯ

- 203 *РАФАИЛ БЛЕХМАН*. Санур

ЛЮДИ И КНИГИ

- 206 *ЯКОВ АШКЕНАЗИ*. Исповедь романтика

ПО ПОВОДУ

- 211 ... статьи А. Гордона
214 ... статьи И. Либлера

ИРОНИЧЕСКОЕ

- 217 *РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ*. Организация освобождения Биробиджана (фельетоны)

НЕКРОЛОГ

- 223 *ВИКТОР КАГАН*. Н. П. Полетика

На последней странице обложки — Санур (фото Григория Винницкого)

ЛИТЕРАТУРА

“Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, чем уже ни на что не годна, кроме как выбросить ее вон на поправие людям”.

Матф., 5:11

Часть первая. Репетиция смерти

Глава первая. “Почему иностранец менее стремится жить у нас, чем мы в его земле?” — некогда осведомлялся достопримечательный мыслитель и, недолго думая, отвечал: “Потому что он и без того уже находится за границей”. Сто с лишним лет миновало, а поди ж ты, все таит в себе за граница неизъяснимую прелесть для россиян, маячит болотным огоньком в тумане, блазнится: вроде и есть она, вроде и нет ее, и проверить нет при большевиках решительно никакой возможности. Но темна вода во облацех — ни с того, ни с сего приоткрылась вдруг в начале семидесятых годов неширокая щелка на Запад, и тут же хлынули в нее толпою, чуть не калеча друг друга, интеллигенты и подпольные коммерсанты, зубные техники и тайные агенты, бобруйские инженеры и ленинградские художники-модернисты. Так и Костя Розенкранц, двадцатисемилетний переводчик английской технической литературы, в один прекрасный день вошел на негнущихся ногах в

Алексей Татаринов

РУССКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

(Роман о хороших людях)

* Журнальный вариант.

© автора

пропахшее сургучом и почтовым клеем здание московского Центрального телеграфа, как бы символически увенчанное светящимся глобусом, и тайком от родных заказал разговор с Иерусалимом, где уже постигал азы иврита его школьный приятель Борька Шнейерзон. "Присылай, — выкрикнул Костя сквозь телефонные шумы, писки и поскрипывания, — присылай, и срочно, сил моих больше нет!" Месяца через три он уже выуживал из своего почтового ящика длинный конверт с прозрачным окошком и, приплясывая на лестничной клетке от возбуждения, узнал о надеждах своего родственника Хаима, не Розенкранца, правда, а Розенблатта, на то, что Советское правительство, со свойственной ему гуманностью, позволит Косте воссоединиться с ним на земле предков.

И в самом начале года 1974-го, тусклым январским деньком, предпоследним на родине, сидел Розенкранц на кухне у ближайшего своего приятеля Марка Соломина, чистя по его распоряжению скверную, мелкую, всю в черных пятнах картошку. К вечеру ожидалась гости на мероприятие, которое можно назвать проводами, а можно, не сильно погрешив против истины, и панихидой — поскольку, чего уж там, уезжал этот молодой человек навсегда, и коли сам не вполне это понимал по неизбежной предъездной лихорадке, то приятели, и в первую очередь Марк, уже недели три, с самого получения визы, как-то странно на него посматривали. С одной стороны, вот он, Розенкранц, живой, в полном наличии, а с другой — вроде и нет его, ведь не увидишься больше никогда, не пожмешь руку.

Между тем скрипнула входная дверь, насторожился хозяин дома. Жил он в квартире на птичьих правах и единственной соседки боялся, как чумы.

— Кхм... Марья Федотовна, добрый вечер, — сказал он. — У меня тут сегодня, если не возражаете, друзья соберутся, товарища провожать на работу за границу... шума не будет...

Марья Федотовна, подволакивая к своему кухонному столу продуктовую сумку на колесиках, гневно молчала.

— А может, и вы с нами вдруг повеселиться захотите, — лицемерно продолжал Марк, — так милости прошу, так сказать, к нашему шалашу... Света будет, брат мой Андрей, Иван, ну, Костю вы тоже не в первый раз... Закуску вот сообразили, — он зачем-то вынул из ящика стола увесистую баночку икры, припасенную Розенкранцем в дорогу, и помахал ею в воздухе.

Марья же Федотовна положила в свой миниатюрный холодильник

ник кочан капусты — неплохой, кстати, кочан, верхние листья только морозом побило, а так ничего, крепкий, — пакетик вареной колбасы и консервную банку без этикетки, завернула половинку черного хлеба в пластиковый пакет и пересыпала полкило сахару из бумажного кулька в жестяную банку с надписью “Соль”. В угловом гастрономе сегодня давали говяжьих сардельки по рубль сорок, но негодяй продавец не соблюдал нормы, отпускал некоторым чуть не полными сумками, и сардельки кончились за четыре человека до Марьи Федотовны.

— А я милицию вызову, — сказала она почти весело. — Я вам, Марк Евгеньевич, решила больше спуска не давать, потому что с вами говорить — что горох об стенку. Превратили квартиру в дом свиданий. Пожилому, больному человеку никакой нет возможности отдохнуть после рабочего дня.

— Какая же вы пожилая, — встрял пьяненький Розенкранц, — вы еще, можно сказать, в самом соку...

— А это не вам судить! — вскричала вдруг паскудная баба. — Не вам, молодой человек! Я старая “больная” заслуженная женщина и имею прописку! А у вашего приятеля нет на эту жилплощадь никаких прав! Опять до ночи будет шум и грязь! И пьянка! Умереть не дадут спокойно!

— Это преувели... — начал было Марк, но леопардовая кроличья шуба соседки уже скрылась в темном коридоре.

— Вот от такого и приходится уезжать, — сентенциозно молвил Розенкранц, — от хамства этого, понимаешь ли, советского.

— Слышал, — отмахнулся Марк, — не оправдывайся. Только уж позволь мне повторить, дорогой — нет в Америке молочных рек да кисельных берегов. И хамов хватает. И у всех свои проблемы.

И брезгливо поглядывая на миску с картошкой, он понес ее к раковине.

Народ собирался разношерстный. Впрочем, так уж повелось на этих — увы, через несколько лет полностью прекратившихся за отсутствием отъезжающих — вечеринках. Близкие друзья перемешаны со школьными приятелями, вытертые джинсы с костюмами-тройками; записные антисоветчики чокаются, коли уж оказались за одним столом, с помалкивающими членами партии — всех уравнивает отъезд! Часам к семи виновник торжества уже смотрел гоголем, даже с некоторым высокомерием счастливец. А в половине восьмого явилась-таки Света Ч., и настал черед слег-

ка возгордиться Марку — барышня из хорошей семьи, при кольце с сапфиром; от портвейна морщится, принесенное же с собою венгерское вино отпивает с безупречной грацией — затмила, положительно затмила всех своих соперниц.

— Значит, из Москвы ты завтра самолетом в Вену? — допытывался Ленечка Добровольский. — И сколько там проторчишь?

— Послезавтра, — авторитетно отвечал Розенкранц, — послезавтра в Вену, а там буду дожидаться визы в Штаты.

— И долго?

— Умные люди говорят — месяца три. Ну, в Израиль-то можно хоть на следующий день отправиться, в кибуце апельсины выращивать, но это, Ленька, не для белого человека. К тому же там воевать надо. Нет, вот доберусь до Нью-Йорка, выйду на главную площадь, и заору во всю глотку — СВОБОДА!

— Да нет в Нью-Йорке главной площади, — вставил шпильку Марк, — это тебе не Москва.

— Ну, на любую площадь. Главное, крикнуть. Хватит, всю жизнь молчал.

Ломятся в комнату с мороза новые гости, каждый вырывает еще несколько минут из этого несуразного прощания. Три, четыре звонка, грохот кулаков в дверь — вот и Иван, с очередной подружкой.

— Эх, незаменимый сотрудник, — с порога Розенкранцу, — значит, все-таки линяешь? На кого покидаешь, задница? Кто же нам, болезным, будет теперь Галича распевать? А с английского кто будет переводить? Молчишь?

Иван — человек состоятельный, щедрый, неразборчивый. Где-то в глухом уголке Сибири горюют без сына старики-родители, второй секретарь обкома партии и заведующая кафедрой научного атеизма в Красноярском университете, сам же он кончил МИФИ, был оставлен в аспирантуре, а там и на работе в Москве, промышлял отнюдь не только “наукой”, как торжественно величал свои изыскания с лазерами за счет министерства обороны, имел многие заслуги — но позже, позже, потому что уже появляются из его неподъемного портфеля две бутылки коньяку, пакеты и пакетики; вымуштрованная Ирочка отправляется на кухню, — и склоняется Иван над столом, плеча по всем разнокалиберным рюмкам без разбору, товарища навеки провожаем, милые вы мои, давайте хоть надеремся напоследок.

— Уезжаешь, — протянула Инна, — а мы вот остаемся.

— Никуда он не уезжает, — прервал Андрей свою приятельницу.

— То есть как!

— Я вчера сидел у себя в дворницкой, размышляя, — пояснил Баевский, — и понял, или, лучше сказать, осознал, что не существует на свете никакой заграницы. Ни Вены, ни Нью-Йорка, ни Тель, можно сказать, Авива. Просто существует в ГБ специальный и довольно обширный подвал. Отправляющихся якобы за границу сажают туда на инструктаж. Особо упорных, впрочем, бьют. А потом выпускают, чтобы они делали вид, что вернулись и рассказывали нам всякие байки. Но и отсутствие заграницы, господа, — лишь частный случай. На свете вообще нет и не было ничего, кроме советской власти!

Тут он быстро понес какую-то — довольно, впрочем, связную — белиберду о том, что летоисчисление мира начинается с 25 октября 1917 года, до этой же даты была тьма, и дух Ленина носился над водами.

— И сказал Ленин: да будет народный комиссариат просвещения! И стал народный комиссариат просвещения. И увидел Ленин, что он хорош. И отделил Ленин его от карательных органов, и назвал его Советом депутатов, а органы безопасности назвал ЧК. Луначарский же был хитрее всех зверей полевых. Ему-то и поручил Ленин написать мировую историю до семнадцатого года и изготовить всякие археологические...

Он продолжал бы и дальше, но Марк снова ушел открывать дверь, вернувшись с двадцатилетним Владиком, беспокойным и растрепанным молодым человеком.

— У меня знаете какие новости! — бухнул тот немедленно. — Только что по Би-Би-Си... а днем я сам ездил, сам видел... такие новости, ух! Ночью на Новодевичьем монастыре... надписи... эмалевой краской... буквы в полметра... Все видели! Тысяч пять, наверно, и иностранцы, в общем, такая вышла удачная акция протеста, молодцы ребята...

Собравшиеся недоверчиво зашевелились — дело, напомним, происходило не в Нью-Йорке, и даже не в Будапеште.

— Ша, Владик, — сказал Иван. — Частишь. Поясни народу, что за надписи, откуда. Без твоей оценки происшествия мы, полагаю, обойдемся. Тем более, сегодня такое правило — без политики. Уважай хозяина, Владик.

— “Солженицын — совесть России”, — Владик несколько сник, — и “Долой коммунистическое рабство”.

— И до сих пор, говоришь, стоят?

— Ага.

Иван переглянулся с Глуzmanом.

— Только народ у нас глупый, — продолжал Владик, — отсталый и трусливый. Думаете, понимает кто-нибудь? Ничего подобного. Стоят и смотрят, как баран на новые ворота. “За это, говорят, расстреливать надо”.

Света встала с продавленного дивана и среди общего молчания вышла из комнаты; Марк последовал за нею.

— Андрей, — сказал Иван. — Прорекламирую, потешь почтенную публику, мы что-то совсем осовели. А потом нам товарищ Розенкранц на гитаре поиграет.

Глава вторая. “Войны и высокой полыни у мертвых на совести нет. И сердце тоскует и стынет, стучась в перевернутый свет. И снова по памяти чертит круги в опрокинутой мгле... Отъезд — репетиция смерти, единственный шанс на земле”.

“О чем я с покинутым другом затею последнюю речь? О том ли, что солнцу над лугом лучами старинными течь? О том, что землистой отчизне вечерняя смелость сверчка наскучила? Или о жизни, которая тлеет, пока”.

“В преддверии рая и ада сверкает лиловая мгла, и светлая тень снегопада на черные кроны легла. А ветра довольно, и в круге фонарном — довольно огня. Прощай — и мерцание вьюги в подарок возьми от меня...”

— Красиво, — заключила рыженькая Ира, — только не очень понятно. Это ведь Костя, кажется, уезжает, а не вы?

— Я уезжаю, Ирочка, я, — подтвердил Розенкранц. Он порядочно захмелел. и первые аккорды на протянутой гитаре взял фальшиво. — Попѳже. В смысле, поиграю попозже.

Стоя у зимнего окна, Марк смотрел на отражения своих гостей — зыбкие, полупрозрачные подобия, парящие над пустым двором, — и вспоминал отчего-то лето 65-го года, когда весь курс отправили в Смоленскую область, в село с чудным именем Юрьев Завод, и после работы они с Костей забирались в подвал бывшего графского дома — выстукивать молотком стены в поисках клада. И сражались они тогда с Розенкранцем за сердце волоокой Марины с французского факультета, и подтрунивали друг над другом, и вместо лекций по истории партии шлялись по осенней Москве... эх... Сокурсники сторонились Кости еще больше,

чем он — их; горд был Розенкранц, открыт и ершист, да и слишком, пожалуй, умен, но как-то по-глупому. После развода довольно долго метался, влип в неприятную историю в военных лагерях, получил омерзительное распределение, на работе тосковал — словом, потерялся. Была тут и уязвленная гордость, и неуживчивость, и общая неприкаянность — короче, отъезд вдруг представился ему вещью совершенно естественной, блестящей возможностью “самоутвердиться”, “вырваться из этого вонючего болота” и, наконец, “зажить настоящей жизнью”.

— Я говорить не умею, — бурчал Морозов, теребя свои гусарские усы, — да и повода для веселья, по-моему, нет. Надо выпить безо всяких здравниц, да и разойтись по домам.

— Тебя что за муха укусила, Александр? — обернулся к нему Розенкранц.

Морозов замялся.

— Ну... устроил ты какой-то шабаш, — выдавил он из себя наконец. — Проводы, визы, доллары... в лучшем случае глупость...

— А в худшем? — спросил Ярослав.

— А в худшем подлость! — заорал вдруг Морозов. — Костя наш русский парень, и мне тошно, что какие-то мерзавцы его толкнули черт знает на что... на предательство! Я стихов строчить не умею, но высказаться, извините, тоже могу. Вена, блядь, Америка, небоскребы! Ты же присягу давал, Константин! И не стыдно тебе? Не больно?

— Красиво говорите, Саша, ох, красиво! — вставил вездесущий Глузман. — Как пишете, честное слово...

— А мне начхать! — огрызнулся Морозов несколько невпопад. — Это моя родина, мой город, мой язык, я здесь хозяин. Я русский до пятого колена, как и Костя, да и как большинство тут выпивающих хер знает за что. То есть, — спохватился он, — евреи ничем не хуже нас...

— Благодарствую, — поклонился Глузман.

— Только родины у них нет, понимаете, родины!

— А Израиль-то куда?

— Массонская затея ваш Израиль, — отмахнулся Морозов. — Им все равно, где жить. И американцу все равно, и датчанину какому-нибудь смехотворному все равно, а нам нельзя покидать родину, если мы хотим остаться настоящими русскими людьми. Мы, русские, призваны объединить Европу. Правительства приходят и уходят, а народ остается. — Щеки у оратора несколько побагрове-

ли, лоб вспотел. — Хотя лично я и в социализме ничего плохого не вижу, по-моему, это то же самое христианство, только без Бога. Зато царскую Россию все били, а нынешней все боятся...

— Даже ее собственные граждане, — вставил кто-то.

— Это диссиденты пусть боятся России! А нормальным русским людям на родине хорошо. Они на своем языке, самом богатом в мире, даже слова не нашли для этих подонков — пришлось из английского занимать. Вот ты, Владик, про надписи рассказывал, с подлым таким восторгом, а я, между прочим, согласен с народом. Сволочи и предатели это сделали. И мой тебе совет, Костя, — пока не поздно, сдай ты эту бумажонку обратно, сдай эти доллары несчастные, оставайся дома. Родина, она как мать — другой не найдешь...

Плюхнувшись обратно на диван, он обвел всю компанию вызывающим, но в то же время как бы и робким взглядом. Тут Розенкранц не выдержал и расхохотался, а вслед за ним и многие иные.

Помощь Морозову между тем подспела со стороны нескольких неожиданной.

— Знаете, ребята, я вот слушаю вас, — заговорила Света, — и думаю — откуда же вы всего этого нахватались? Откуда в вас такая злоба? Ты талантливый поэт, Андрей, чего тебе еще надо? Живи спокойно, пиши свои стихи. Тебя печатали, и еще будут печатать, и книга выйдет рано или поздно, если дураком не будешь, конечно. Недостатков у нас немало. Можно о них и поговорить, и поспорить при случае. Но уж не выплескивать с водой младенца, не поливать свою родину грязью, уж тем более не оставлять ее. Отец мой бывает в Париже, встречается там со стариками из России. Как вы думаете, что они просят его привезти из Москвы?

— Икры, — пробормотал Глузман.

— Нет, Яша, ошибаетесь, не икры. Не матрешек, не самоваров — этого добра и в Париже сколько угодно. По горсточке русской земли — вот что он им привозит. И плачут старики, плачут настоящими слезами...

— Чем плакать, да еще настоящими слезами, — сказал Ярослав не без злобы, — лучше бы выправили себе советский паспорт, да и вернулись на родину, на пенсию в пятьдесят рублей, благо никто их во Франции не держит, старичков ваших слезливых.

Тут красивые глаза Светы налились слезами, и Марку так и

не удалось уговорить ее остаться. Вместе с ними на улицу вышел Морозов, и вся троица мирно добрела по заснеженной Кропоткинской до стоянки такси. Любовь, надо вам сказать, великая вещь. Не знаю, что уж там говорил по дороге Марк своей обиженной подруге, но расстались они почти совершенно довольные друг другом. Да и Морозов не таил особого зла на хозяина дома, так что возвращался тот, насвистывая гитарную мелодию не из самых грустных.

“У меня еще твой старый спирт есть, только теплый”, — войдя, шепнул Марк Ивану. “Ты обещал жидкого азота принести с работы”.

“Не было сегодня. Но я сухого льда притащил. Возьми сам из портфеля, там термос с широким горлом”.

Марк безмятежно раскрыл истоминский портфель, и элегическое его настроение по неведомой причине тут же словно ветром сдуло. Оглянувшись на Ивана, он быстро вышел из комнаты, там извлек из портфеля отнюдь не термос, но пластиковый пакет с какими-то тремя небольшими увесистыми предметами, держал его в руке, покосился на затворенную дверь соседки — и поспешил на кухню, где и кинул таинственный пакет в мусоропровод. А до спирта и сухого льда дело дошло только значительно позже, потому что через несколько секунд раздался троекратный отрывистый звонок в дверь.

На лестничной клетке увидел ошеломленный Марк двух милиционеров — одного в чине лейтенанта, а другого, совсем мальчишку — сержанта. Тут же подросла и ликующая Марья Федотовна.

— Давно вас жду, товарищ лейтенант! — Своему соседу, как и самим милицейским, она не дала сказать ни слова. — Полюбуйтесь сами — первый час ночи, а у нас в квартире опять шум, опять пьянка! Слышите?

В комнате продолжала петь жалобная гитара Розенкранца.

— И добро бы он был законный жилец, товарищи, а ведь проживает в нарушение паспортного режима. Непрописанный проживает, без договора о поднаеме!

— Документики ваши попрошу, — сказал лейтенант.

Вернувшись из комнаты с паспортом, Марк застал блюстителей порядка уже в прихожей.

— Что же вам сказать, Марк Евгеньевич, — лейтенант протянул документ обратно хозяину, — прописка у тебя, вижу, москов-

ская, парень ты, замечаю, понимающий. Неужто не знаешь, что после одиннадцати должна соблюдаться тишина?

— Товарища провожаем, — сказал осмелевший Марк.

— Вы бы знали, товарищ лейтенант, куда они провожают своего дружка! — В голосе Марьи Федотовны звучало неподдельное негодование. — Я все их разговорчики слышала!

Поморщившись, лейтенант двинулся в комнату, откуда уже выглядывали в темный коридор обеспокоенные гости.

— Кого, говоришь, провожаете?

Марк нехотя показал на Костю, развалившегося в кресле с машинописной инструкцией для отъезжающих на коленях.

— И далеко? — вежливо осведомился лейтенант.

— За границу.

— А-а, — протянул лейтенант понимающе, и даже с некоторым уважением. — В зарубежную командировку. В социалистическую какую-нибудь страну или в развивающуюся?

— Да в Израиль он уезжает! — выкрикнула Марья Федотовна, вынырнув из-за спины лейтенанта. — Я все слышала! Все!

Милиционер, посуровев, спросил у Кости документы, тот протянул ему изрядно помявшуюся выездную визу.

— Что же вы, Константин Дмитриевич, покидаете Родину? Поддались на удочку сионистской пропаганды?

— У него единственный родной дядя в Израиле, — вмешался перепуганный Ленечка, — он круглый сирота...

— Вранье! — снова вскричала Марья Федотовна. — Он даже и не в Израиль собрался, а в Америку!

— Кто прописан в комнате? — наконец спросил сбитый с толку милиционер.

— Крамер Владимир Петрович, — сказал Марк упавшим голосом, — родственник мой.

— Договор о поднаеме есть?

— На днях должны оформить, товарищ лейтенант... я принесу...

— Когда принесете, тогда и поговорим. Комнату вам придется в течение ближайших трех дней о-сво-бо-дить. Закон есть закон, товарищ Соломин, к тому же факт шума после одиннадцати. Станный повод вы нашли для застолья, прямо скажу!

Лейтенант откозырял и велел всем немедленно разойтись. По коридору за ним засеменяла Марья Федотовна. Куча пальто и шапок, наваленная на стуле в прихожей, таяла. Остался только сам Марк, Костя, Иван, отправивший домой свою Ирочку, да

Андрей. Впрочем, маячила в коридоре и паскудница Марья Федотовна.

Глава третья. Окончательно проснулся Марк только в первом часу. День выдался серый, волглый и томительный, голова отчаянно трещала. По загаженной комнате разнесло ветром из форточки полупрозрачные листочки давешней инструкции для отъезжающих. Боже мой, Боже правый, никогда больше не свидеться с Костей, какой был друг. Был. Об уехавших всегда говорят в прошедшем времени.

— Марк, Марк, — лицо Кости после бессонной ночи посерело, глаза потеряли блеск. — Как ты здесь выживешь, с твоей-то душой, на что обопрешься?

— Не каркал бы ты, — поежился Андрей. — Все-таки вегетарианские времена. Ни за литературу, ни за, как ты сказал, душу, пока не сажают. Можно выжить, можно. Правда, Марк?

— Да. Если не высовываться. Чего некоторые из нас совсем не умеют. Что у тебя лежит в портфеле, Иван?

— Оттиски статей, — отвечал Иван хладнокровно, — ксерокопия набоковского "Дара", колбасы полкило, льда сухого остатки в термосе...

— А еще?

— Ну, краска аэрозольная. Купил сегодня, шкаф на кухне покрасить. Три баллона.

— Из которых один начатый.

— И что с того?

— То, что уже в мусоропроводе твоя краска. Конспираторы! Мальчишки! Ты же вроде ученый, Иван. Ты не слышал о современной криминалистике? Ты не понимаешь, что по всей Москве сейчас обыски пойдут? Вчера родился?

— Ничего не знаю, — сказал Иван быстро. — Отказываюсь понимать. Ноу коммент, как говорят американцы. Вы, господа, ничего не слышали, правда? А на твоём месте, Марк, я зашел бы к нам на семинары как-нибудь. Не пожалеешь.

Марк, вздохнув, покачал головой, а Розенкранц зачем-то пожал Ивану руку, за ним и Андрей. К скользким темам более не возвращались, к высоким тоже. Под утро, когда прогудел по туманной улице первый троллейбус, настала пора расходиться. На лестнице, на пыльных и грязных ее ступенях, Марк обнял друга, и они трижды поцеловались. Константин отстранился, кажет-

ся, всхлипнул, взглянул Марку в глаза — и вся троица стала неторопливо спускаться. Хлопнула дверь на улицу. Марк вернулся в комнату и закурил. За стеною уже трезвонил будильник, поставленный для верности в тарелку с медяками, заворочалась соседка.

Прописан был Марк у матери, в однокомнатной квартирке в Хорошево-Мневниках. Получили они это жилье на берегу Москва-реки лет десять назад взамен небольшой комнаты в подвальной коммуналке. Прожил Марк у матери меньше года, с первого же курса института кочевал с волчьим упорством из одного случайного места в другое, в студенческие годы, бывало, и поголаживал, но за независимость свою и свободу держался мертвой хваткой, тем более, что фундамент у них был самый что ни на есть хлипкий. Родители давно разошлись; с матери тянуть было непристойно, да и не очень возможно, а отец в своем нынешнем состоянии был бессребренник и нищий, работал грузчиком и выделял Марку алименты: двадцать четыре рубля в месяц. Положим, Андрею доставалось не больше, но много ли ему было нужно в своем Харькове? А Марк учился в английской школе, куда кое-кто из одноклассников, бывало, подкатывал к началу занятий на черных "Волгах" с шоферами. Вот вам и обида, почти ненависть, вот и уязвленность сердца, вот и безумное желание выбиться в люди, чтобы кому-то что-то доказать — Господи правый! — вот и драма почти на всю жизнь...

Выйдя от парикмахера на открытый всем ветрам Калининский проспект, Марк призадумался. Квартирными делами, при всей их насущности, заниматься никакой охоты не было, благо на крайний случай заночевать можно у того же Андрея или у Светы. А голова все еще побаливала, и вскоре Марк уже сидел в полупустой пирожковой, под резным деревянным панно с тремя богатырями на распутьи. После второй стопки Марк расслабился, огляделся вокруг — и к некоторому неудовольствию узнал в одном из двух парней, сидевших неподалеку за бутылкой, Володю Струйского. Тот тоже поднял глаза, и взгляд его как бы про- сиял.

— Марк! — подскочил он. — Кореш ты мой бесценный! Подсаживайся к нам. С клевым парнем познакомлю.

Своего собеседника — широкоплечего, с тяжелой нижней челюстью — представил Струйский как "нашего рязанского коллегу". Коллега был снабжен именем Сергей, замечателен же был

скорее тем, что из его приоткрытого портфеля фальшивой кожи торчали хвостики трех, а может, и четырех увесистых батонов вареной колбасы.

— Марк! — сказал Струйский. — Гид-переводчик Конторы по обслуживанию иностранных туристов, в некотором роде тоже коллега.

Настоящая фамилия Струйского была Струйский-Горбанов, но еще лет десять назад они с отцом-полковником решили формально ее, так сказать, поделить, так что молодой смене досталась первая, романтическая половина, а старшему поколению — прозаическая вторая. Семьи Светы и жизнерадостного Володи дружили домами с незапамятных времен, и даже развод ее родителей не бросил особой тени на некоторые надежды "стариков" в отношении детей. Но тут что-то не сладилось, не без косвенного участия Марка, появившегося на горизонте в прошлом году. Служил ли он, как папаша, в органах? Понятия не имею. Марк от окончательных суждений воздерживался, памятуя, к слову, и о том, что был Володя прежде всего болтун, хвастун и вообще малый несерьезный.

— Пей до дна, пей до дна, — балагурил Струйский, — не часто удается нашему брату заложить за воротник в рабочее время. Почто гуляешь, старина?

— Отгулы. Завтра снова на работу.

— Новости слыхал?

Марк устал. Хотелось на воздух. Там, в ранних январских сумерках, начинался снегопад и загорались первые огни проспекта. Где-то по вечеряющему городу еще метался Костя, а может быть, уже сидел дома, прощаясь с родными. Под потолком мерзкой пирожковой зажглись, мигая и треща, люминесцентные лампы, стало совсем неуютно.

— В общем, парень, кончили мороку с этим власовцем, — подал голос Сережа. — Отвезли вчера, бля, на площадь Дзержинского, поддержали для острастки, а сегодня уже и отправили куда дальше.

— Шутишь? — вздрогнул Марк. — Какой суд так быстро управится?

— Для птички такого полета, — Струйский наставительно поднял палец, — никакого суда не требуется. Чрезвычайное, понимаешь ли, заседание Президиума Верховного совета, лишение советского гражданства за действия, несовместимые со статусом и наносящие

ущерб престижу. Звонок по красному телефону. А там в спецсамолет — и катись, Александр Исаевич, колбаской по Малой Спасской! Полагаю, — он посмотрел на часы, — он уже отсыпается в каком-нибудь Франкфурте-на-Майне.

Марк незаметно перевел дыхание.

— Дешево отделался, — сказал он искренне.

— Разрядка, мать ее ети! Шум! Торговля! Вот ты как полагаешь — быстро его теперь забудут?

— Откуда мне знать.

— Быстро, — постановил Сережа. — Кому он будет нужен в своем Израиле?

— В Израиле? — Марк изумился.

— А куда он еще денется? Будто ты его настоящей фамилии не знаешь. И отчество туда же.

— Я читал другое, — сказал Марк сухо.

— Где?

— В "Литературной газете". Писали, что он из помещиков. Из донских казаков.

— Знаем мы таких казаков, — бурчал Сережа, — знаем таких помещиков...

Он допил единым махом — и тут же принялся прощаться. Струйский увязался проводить его до гардероба.

— О вчерашнем слышал? — спросил он вдруг абсолютно трезвым голосом.

— Не понимаю.

— Информую: какие-то поганцы из диссидентов устроили серьезную пакость в Новодевичьем монастыре, прямо напротив "Березки".

— Слушай, Струйский...

— Не горячись, — перебил его собеседник. — Дело не только в монастыре. По дружбе тебе советую в ближайшее время либо кое от кого держаться подальше, либо, наоборот, держаться к ним поближе.

— Володя, я...

— Не ломай из себя целку, как выражается наш рязанский друг. Сам же меня о квартире спрашивал.

— "А это уже не розыгрыш, — думал Марк, которому никак не удавалось засунуть руку в рукав пальто. — Не розыгрыш. Поздравь себя, Соломин, заслужил, наконец, доверие..."

— Вот что, Струйский, — он принялся медленно застегивать

пуговицы. — Я в такие игры не играю. Понимай, как хочешь. У меня своя профессия, своя жизнь. Договоримся, что ты мне ничего не предлагал, я от тебя ничего не слышал. Ты ведь, это, ну как его... неофициально?

— Нет, Марк, неофициально, — Струйский покачал головой. — Только по большой к тебе симпатии. И не спеши, не спеши так уж наотрез. Есть время подумать. Пока. Свете привет передавай.

— Кланяйся и ты Ларисе, — сказал Марк. Тошнота, мучившая его после угощения рязанского коллеги, стала вдруг совершенно нестерпимой.

Глава четвертая. Есть что-то утешительное в ритмическом чередовании времен года, месяцев, дней и ночей. Каждая новая весна — будто рифма к прошедшим; новые ночи и новые сновидения — тоже отчасти повторение пройденного, и сам их приход несет в себе грустную и легкую надежду. Только бессонница — не из этого ряда. Не до лирики человеку у пустого предутреннего окна, особенно в оттепельную пору поздней зимы, под ровным серым сиянием городского небосвода. Пустынны продутые резким ветром улицы, темны жилые коробки, бледнеют фонари, только за углом по кровавому отблеску угадывается неоновая вывеска "Мясо", да иной раз прошумит такси по заледенелому асфальту, невесть куда увозя подгулявшего косноязычного седока. Может быть, в Шереметьево. Гам и в шестом часу утра — жизнь, снуют хитрые носильщики, заспанная буфетчица варит кофе случайным клиентам. Люди, свет. Марка в последние недели чуть не каждую ночь будили кошмары. И на этот раз, вскидываясь и приставывая сквозь сон, он опять куда-то летел, проваливался, бежал. Пыльная полдневная дорога, руки связаны, босые ноги разбиты — Господи, откуда такой бред! Сняв с чайника свисток, он осторожно зажег газ, потом, поколебавшись, открыл-таки холодильник и отхлебнул из начатой бутылки дрянного кагора, некогда принесенного братом Андреем.

— Говорила я тебе вчера, негодник, чтобы пил меньше.

Марк обернулся. За урчанием чайника, за своими расхристанными мыслями, он не заметил, конечно, как вошла на кухню заспанная и насмешливая Света в стеганом нежно-голубом халате.

— Ты своими бессонницами уже и меня совсем извел. Снотворные бы пил, что ли. Хочешь, достану?

— Отправляйся спать, — сказал Марк мрачно. — И чаю у меня не проси.

— Какой уж теперь сон. Покрепче, пожалуйста. И вина немножко, прямо в чашку. Ну что нос повесил? Бродяга ты мой несчастный. Квартиру тебе Иван подыскал?

Марк удрученно покачал головой.

— Эх ты, нахлебник. И зачем я с тобой связалась.

— Съеду, скоро съеду, — пробормотал он, отвернувшись от своей подруги.

— Заладил, как сломанный патефон. — Она погладила его по волосам. — Лучше скажи, отчего ты на мне жениться не хочешь.

Марк так и поперхнулся своим малиновым вареньем.

— Интересно, — он даже снял очки. — А гордость моя как же? Хорош Марк Соломин, скажут. Чуть остался на мели — и тут же, как бы, значит, по расчету...

— Какой расчет, глупый! — возразила Света, несколько покраснев. — Можешь вообще считать, что предложение, в лучших традициях суфражисток, сделала я сама. Ты ведь меня любишь?

— Конечно, — возмутился Марк.

— И Наталью свою забыл? — по голосу Светы чувствовалось, что знает она о своей бывшей сопернице куда больше, чем следует. — Забыл?

— Конечно, — снова сказал Марк. — Разумеется. И все-таки непонятно...

— Так хочешь или не хочешь? — перебила она.

За этими словами последовала лирическая сцена, проходившая частью на той же ярко освещенной кухне, а частью — в полутемной комнате. Голливудский режиссер, может быть, и нашел бы в ней источник вдохновения — в сцене, а не в комнате — а я решительно не умею описывать счастливых женихов и невест. И уж совсем я не мастер в отношении вскриков страсти, стонов восторга и цитат из учебников анатомии.

— Мать я уломаю легко, даже без твоей помощи, — размышляла Света вслух, поскрипывая креслом-качалкой. С кухни они окончательно перебрались в комнату, место гнусного чая заняла обнаружившаяся в глубине секретера бутылка шампанского. — К отцу поедем сразу после его возвращения. Он после Пицунды всегда довольный и добрый. А комедию с ЗАГСом устроим к осени. Если не передумаем, конечно.

— Ты можешь передумать?

— Ах ты, дрянь самоуверенная! Еще как могу. Медовый месяц мы с тобой, считай, прожили, а за полгода мало ли что может случиться. Тем более, с такой завидной невестой, как я. "Дочь Сергея Георгиевича, — прошептала она, кому-то подражая, — да-да, того самого..."

— Я чист, — заметил Марк. — Я поначалу понятия не имел, чья ты наследница.

— Ценю, — кивнула Света.

Приморский их роман вышел, как и все подобные романы, бурным, со всеми положенными аксессуарами, лунными ночами и поцелуями на пустынном берегу. Но, как бы в нарушение курортной этики, жизнерадостный переводчик Конторы по возвращении в Москву позвонил Свете, а проводив американцев — и заявился в гости, с огромным букетом лохматой сирени. Прошло лето, миновала осень, роман обозначился основательный, хотя в жизнерадостности своего избранника Света несколько ошиблась, да и его знакомства поначалу порядком ее насторожили. Но и то, и другое, разумеется, было довольно поправимо, и несколько не перевешивало его щедрости, мягкости, ума, наконец, не говоря уж о некоторой лирической жилке, которая так нравится молодым женщинам. Тут, пожалуй, самое время сказать, что был наш герой, наподобие Раскольникова, замечательно хорош собой — русоволосый, прекрасно сложенный, с голубыми глазами — правда, чаще скрытыми за стеклами несильных очков. Заодно и портрет героини: смешлива, длинноволоса, миниатюрна, иной раз резковата в суждениях и движениях, но добра — не забывайте, что в моем повествовании, как я предупреждал еще в заголовке, речь исключительно о хороших людях

— Я тут прибыль получил, — Марк достал из своей потрепанной нейлоновой сумки с надписью ЭКЗОТИК ТУРС маленький турецкий флажок на подставке, сворованный вчера пьяным Иваном из целой коллекции за спиной разгильдяя-метрдоителя. — Видишь, какой красивый.

— Прибыль! — сказала Света, возвратившись с кухни. На подносе она несла весьма своевременный кофе. — Сколько ты уже торчишь в своей Конторе — четвертый год? или пятый? И все заштатный переводчик, на ста двадцати рублях. Правда, почему тебе там ходу не дают?

— Грызня, — пожал плечами Марк, — интриги.

— Ну и уходил бы оттуда. Я тебе могу место в Союзе писателей подыскать. Тем же переводчиком. А?

— Девчонка, — Марк отхлебнул кофе, обжегся, отставил чашку. — С какой стати я должен менять шило на мыло? Вот определюсь в выездные, вступлю в партию — тогда и посмотрим. Хотя, конечно, тот еще зверинец наша Контора. Ты Верочку Зайцеву помнишь по практике? Тошная такая?

Покуда Марк рассказывает Свете, позволю себе отвлечься и пояснить, что вступить в партию работникам Конторы, как и везде, нелегко, на весь их огромный отдел выделяли всего одну-две вакансии в год. На такую-то вакансию и метила унылая и довольно противная Вера Зайцева, беззаветно сражавшаяся с идеологическим врагом уже без малого десять лет. Именно ей, по странному совпадению, и была адресована открытка из Филадельфии, в которой неведомый Фредди предлагал этой московской Венере руку и сердце, обещая заодно увезти ее в свою Америку. Открытка, напечатанная по-русски на машинке, попала к начальству куда раньше, чем к адресату, и никто, пожалуй, никогда не видел в стенах Конторы такого злого и заревавшего создания, как мадам Зайцева после беседы с Зинаидой Дмитриевной и Степаном Владимировичем. Ее истерические оправдания выслушали благосклонно, и тем не менее, тем не менее решено было с вступлением в партию "обождать", с командировкой в Англию тоже... Между тем на лестничной клетке, в клубах табачного дыма, происходило брожение переводческих умов. Ежу было понятно, что напечатана злосчастная открытка, присланная, кстати, в заклеенном конверте, ни в какой не в Филадельфии, а на беспризорной "Оптиме", спокон веков стоявшей в 302 комнате: буква "р" подскакивала, буква "а" пропечатывалась из рук вон плохо.

— Ты сообрази, ведь кто-то писал эту открытку, просил знакомого иностранца бросить в ящик, врал что-то. Подлость человеческая безгранична, — заключил Марк. — Хочу жить в лесу, среди волков и медведей. Ты поселилась бы со мной в лесу?

— Фантазер, — сказала Света. — Тебе на службу пора. Хочешь, появжв тебя до метро?

Нехотя наступало сырое пасмурное утро, по Ленинградскому проспекту текли озабоченные толпы. Покашливала Света, кутаясь в длинный лиловый шарф, притих Марк. Шли они неторопливо.

Тут бы нам с ними и расстаться, но речь у них об Андрее, а меня его судьба интересует не в последнюю очередь.

— Что за намеками вчера сыпала Инна? Только честно.

— Говорят, Максимов в Париже открывает новый журнал, — простодушно отвечал Марк. — Кто-то обещал передать стихи Андрея для первого номера. Или третьего — не помню.

— Беда мне с тобою, Марк, — рассердилась Света. — Втолкуй ты ему, наконец, что нельзя сидеть между двух стульев. Я ведь продолжаю за него хлопотать. Чуть что — и все пойдет прахом. И я сама окажусь черт знает в каком положении. — Она усмехнулась. — Нельзя всерьез с этими твоими приятелями. Обозленные неудачники. Одни лезут в подпольную литературу, другие — в эмиграцию, третьи — власть ругают. А нормальные люди тем временем тихо живут и делают свое дело. Это куда труднее — так?

— Пожалуй, — кивнул Марк. Время для спора было самое неподходящее.

Глава пятая. Ровно в три часа дня жемчужно-серая "Волга" с кокетливыми шелковыми занавесочками на заднем стекле лихо осадила у дома номер 3 по Малому Институтскому переулку, иными словами — у московской баптистской церкви, известного желтого здания, украшенного начищенной медной вывеской. Первым из машины вылез корректный и услужливый гид-переводчик, а в приоткрытую им переднюю дверь — тучный иностранный турист, немедленно угодивший лакированным востроносым башмаком в весеннюю лужу. На пороге церкви уже встречала гостей моложавая Татьяна Ивановна, лучилась, почти таяла. Присиял и американец всеми складками ухоженного лица, за ним, чтобы не зевнуть, и Марк. Процедуру он знал назубок: поначалу зарубежных визитеров вели по бесконечным душным коридорам, мимо сломанных стульев и пыльных окошек, потом — в молельном зале — хвастались новой системой звукоусиления и недавно отремонтированным органом. В особой комнатке с гордостью показывали несколько ящиков с Библией — один открытый, остальные заколоченные — "буквально вчера" доставленных из типографии. Тут же преподносили и свежий номер "Братского вестника". В заключение этапировали в приемную, где на вполне приличном английском языке добрейшая Татьяна Ивановна беседовала с гостями по душам. Неглупые люди работали в Иностранном отделе церкви.

Так и сегодня Татьяна Ивановна и мистер Брэм явно не нуждались в услугах приотставшего Марка. Клиент, в миру причастный к чему-то нефтеперерабатывающему в Пенсильвании, не далее как вчера утром подписал контракт на покупку не то формальдегида, не то метилового спирта в несусветном количестве и по совершенно бросовой цене. Одно это, согласитесь, может значительно поднять настроение. А тут еще привели во вполне цивилизованную церковь, никаких гонений на веру вокруг не замечается. Увидав же в молельном зале огромный витраж "БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ", гость и вовсе растрогался, во всяком случае, фото-пленки не жалел. "Как это верно! — он обернулся к Марку — На всех языках мира! БОГ ЙЕСТ ЛЬУБОВ! Скажите, миссис Петрова, а верно ли..."

С добродушной обстоятельностью втолковывала Татьяна Ивановна любознательному господину Брэму, что зал на шестьсот человек обычно наполнен до отказа, что на недостаток средств жаловаться не приходится, что есть тенденция к росту числа прихожан. В потрепанном своем пиджачке, в клетчатой рубашке и начищенных старомодных башмаках маялся у дверей верный Евгений Петрович, библиотекарь, не жаловавший таких встреч, и бывавший на них, по настоянию Татьяны Петровны, куда чаще, чем ему бы хотелось. Расселись по креслам, откупорили минеральную воду, нашли где-то литую хрустальную пепельницу — и поплыл по комнате сладкий запах виргинского табака. Сначала беседа шла мирно, а потом гость вдруг стал мяться, закатывать глаза, и, наконец, со страдальческой улыбкой осведомился, как в Советском Союзе обстоит с принципиальным уклонением.

— С чем?

Просвещенный Марк объяснил диковинное американское выражение.

— Старшего моего, Карла, — делился заокеанский брат, — осенью призвали в армию, во Вьетнам...

— Как я вам сочувствую, мистер Брэм.

— Спасибо, — вздохнул американец, — для него это была трагедия. Да и для всей семьи. Он теперь санитаром. Но статус уклониста оказалось получить совсем непросто. И смотрели на него в армии так косо! И я, знаете, заинтересовался — а как с этим в других странах, в другие времена...

Заговорил Евгений Петрович, почему-то по-русски, Марку пришлось переводить.

— Что ж, мистер Брэм, воинская повинность у нас есть и в мирное время, как и в большинстве европейских стран. Совет церковей считает, что верующие не должны брать в руки оружия и приносить присяги. Трудно с ними согласиться. Я сам фронтовик. И считаю, что защита Родины — это моральный долг, который для настоящего христианина, может быть, еще важнее, чем для неверующего.

— Ну а сейчас, когда войны нет?

— Уроки истории помнятся долго, — переводил Марк. — Воинская повинность у нас — всеобщая. Молодые наши братья это понимают.

— А если упрямятся?

— Попадают под суд, — отрезал Евгений Петрович, не вдаваясь в детали уголовного кодекса. — Но это бывает исключительно редко. Да что далеко ходить — месяц назад я сам ездил в действующую армию, по просьбе прихода. Был тут у нас один отличный молодой человек. Уж не знаю, кто на него и где успел так повлиять — но заупрямился. Не хотел принимать присягу, из карцера не вылезал. Майор его написал нам в церковь. И что же — пробыл я с ним три дня, поговорил с парнем, по-христиански, конечно, — и вот служит, и письма пишет, и даже, кажется, на неплохом счету...

Шофер "Волги" с нетерпением поглядывал на часы. Марк попрощался с клиентом, от предложенной пачки чунгама отказался, но шариковую ручку все-таки взял. Разбрызгивая комья мокрого снега, машина скрылась за поворотом по-весеннему прозрачной улицы.

Отец, в том же выцветшем габардиновом плаще, что и пять, и десять лет назад, вышел из церкви почти сразу вслед за Марком. Примостившись на сырой бульварной скамейке неподалеку от Малого Институтского, они закурили — Марк с наслаждением, Евгений Петрович — опасливо оглядываясь.

— Растравил меня твой американец, — пожаловался он. — Дымит, как паровоз.

— Это у вас считается грех, — сощурился Марк. — Кстати, отец, что за душеспасительные вояжи в действующую армию? Очередная байка для иностранцев?

— Ничуть. Бочков покойный так ездил чуть не десять раз в год. Ты Петю Скворцова помнишь?

— Я думал, у него белый билет, — пожал плечами Марк.

Петя Скворцов, тишайший белобрысый плотник, с грехом пополам окончивший семь, кажется, классов, из книг читал только Библию, откуда и вынес свои в высшей степени непрактичные убеждения насчет воинской службы.

— И где он теперь?

— Пограничные войска. Лучше скажи, где ты теперь. Соседка твоя меня облаяла по телефону. Опять на новом месте? Совершенно забыл отца. Хоть бы позвонил когда.

— Вот мой новый номер, — одеревеневшими от холода пальцами Марк записал семь цифр на пустой сигаретной пачке. От отца пахло бедностью — крепким табаком, земляничным мылом. Ткнувшись в его плохо побритую щеку, Марк, не оборачиваясь, заспешил вниз по бульвару к стоянке такси. В обширном подвале его Конторы вдумчиво скрипели перьями две девицы из немецкого, кажется, отдела. Свой коротенький и, прямо скажем, довольно пустой отчет переводчик Соломин накатал минут за десять. Впрочем, и подмахнул его начальник Подвала, не читая.

— Присядьте, Марк Евгеньевич. Хотел побеседовать с вами еще днем. Хотел сообщить и сам и от лица Зинаиды Дмитриевны, что мы весьма довольны вашей работой. Да, весьма довольны. Вот у нас с Зинаидой Дмитриевной и возникла мысль, что вы, пожалуй, засиделись в рядовых гадах-переводчиках и заслуживаете повышения. Как вам кажется, с должностью старшего гада-переводчика вы бы справились?

— Надеюсь. — Похоже, что Марку не удалось скрыть разочарования. Подумаешь, повышение. Все то же самое, разве что зарплата на двадцатку в месяц побольше. Таких старших пол-Конторы.

— Теперь у меня к вам несколько вопросов.

Хорошие психологи всегда начинают беседу с приятного. Сжался Марк. Если тут, под портретом Дзержинского, состоится продолжение разговора со Струйским, то — конец. С работы придется не просто уходить — бежать. Брат Андрей мог сколько угодно дразнить его конформистом, но стучать на безответных иностранцев — это одно, они сегодня здесь, завтра там, да и хрен проверишь, — а вот...

— Разумеется, — сказал он.

— Вот у меня ваши анкетные данные, товарищ Соломин. Кое-что нуждается в уточнении. Скажем, ваше имя. Согласитесь, что при такой фамилии и внешности оно звучит несколько странно.

— В честь Марка Аврелия, — без запинки отвечал подчиненный. — Отец тогда увлекался латынью.

— Очень хорошо, — Грядущий поставил в своих бумагах какую-то птичку. — Вы должны отдавать себе отчет, Марк Евгеньевич, что в нынешней международной обстановке мы должны проявлять особую бдительность по отношению к...

— Лицам, потенциально имеющим вторую родину, — закончил за него Марк, обнаруживая некоторое знание эвфемического языка закрытых циркуляров.

— Вот именно. Теперь еще вопрос, более, так сказать, личный. Вы ведь не женаты. И не собираетесь?

— Отчего же, — ответил Марк после секундного колебания, — собираюсь. Лично вам я могу прямо сейчас сказать, — Марк потупил взор. — Это Светлана Ч. Она у нас практику проходила в прошлом году.

— Вот как! Не родственница писателю?

— Дочь, — сказал Марк.

— А-а! Так позвольте мне вас ото всей души поздравить. Ну и, наконец, вопрос третий и последний. Вы, Марк Евгеньевич, зарекомендовали себя образцовым комсомольцем. Не скромничайте. Зинаида Дмитриевна рассказывала мне о ваших творческих, неформальных семинарах.

Старый боров, разумеется, имел в виду вовсе не сомнительные истоминские сборища, на которые, к слову, Марка продолжали усиленно зазывать, а кружок общественно-политической подготовки.

— Читал я ваш доклад о Солженицыне, и о происках сионизма на Ближнем Востоке. Толково. Скажите, товарищ Соломин, — тут он помедлил, — вы никогда не думали о вступлении в КПСС?

— Счел бы за большую честь, товарищ Грядущий, если бы партия решила оказать мне такое высокое доверие, — отбарабанил Марк.

— Не сомневался в вашем ответе, — подытожил Грядущий. — Словом, чтобы нам с вами не темнить, сообщу, что состоялось у нас на днях небольшое рабочее совещание парткома. Давайте договоримся, что вы еще подумаете, взвесите свои возможности и где-нибудь в сентябре подадите заявление. С нашей стороны, надеюсь, никаких возражений не будет.

Дальнейшую ритуальную дребедень Марк пропустил мимо ушей. Он переживал едва ли не самые счастливые минуты в своей

недолгой жизни. Не зря, не зря угроблено четыре с половиной года в этом гнусном заведении, не зря сочинялись отчеты, не напрасно строчились ура-патриотические статейки в стенгазету "Советский переводчик". Ах Костя, дружище, стоит ли рубить гордые узлы. Всюду, как видишь, можно приспособиться, я еще скажу тебе об этом в Нью-Йорке, когда поздним вечером закачусь к тебе в гости, тайком от тамошнего начальника Первого отдела. Так думал Марк, преданно уставившись в заплывшие старческим жирком глаза Степана Владимировича, а вернее — рассматривая чайные принадлежности, стоявшие на железной полочке за спиной Грядущего.

— Ответственность... — услышал он, очнувшись. — И на этом, Марк Евгеньевич, позвольте с вами попрощаться. Завтра в девять тридцать вас будет ждать Зинаида Дмитриевна для беседы примерно на ту же тему.

— Искренне вам благодарен, Степан Владимирович.

Прощальное рукопожатие улыбающегося начальника вызвало у Марка почти такой же приступ тошноты, как водка, поднесенная на Новом Арбате рязанским коллегой. Но на ветреной оттепельной улице он мгновенно пришел в себя; самое радужное настроение держалось у него еще недели две после этого разговора.

Глава шестая. Забытые Богом пригороды Москвы — черные, нищие, бесконечно дорогие сердцу! Узкая ленточка потрескавшегося асфальта, талая вода чуть не по щиколотку, прощальный гудок электрички. Каменная ограда Патриаршего подворья, и по правую руку — старухи в порыжевших платках и довоенных латаных пальто семят к церквушке, сияющей предзакатной медью куполов. "Совсем забыл, — вспоминал Марк, — совсем забыл, что пахнет тонким дымом и серебрится ранняя весна. В отечестве глухом и нелюбимом все так же удивительна она. Сверкают лужи, стаивает наледь, по всем приметам — скоро ледоход. Пора и мне куда-нибудь отчалить, собрать пожитки, да уехать от своей судьбы куда-нибудь навстречу... не смерти, нет — скорее в те края, где я зажгу свечу и не замечу, как быстро тает молодость моя. Прощай, ручей, прощай, сосна и верба, прощай, любовь, сияющая для того, чтоб корни превращались в нервы и трепетала влажная земля. О Господи, откуда грусть такая — плывут снега, и солнце припекает, а человек, мятущаяся тварь, уставился в осиновый букварь... и слезы льет об этом человеке его

жена... а он из многих книг усвоил только истину, как некий старательный, но глупый ученик..."

Стихи брата, с восклицательными и вопросительными знаками, там и сям расставленными туповатым Чернухиным, соседствовали в сумке у Марка с куда более насущной бутылкой экспортной "Столичной". Имелись и иные приношения в дом прозаику Ч.; впрочем, Марк все равно робел. Миновали кладбище, жестяные венки, растрепанные весенним ветерком, прошли мимо Дома творчества, вокруг которого степенно прогуливались, кутаясь в кроличьи воротники, провинциальные работники пера. Увидали, наконец, зеленый штакетник, а за ним — массивную фигуру с лопатой, в ватнике и тренировочных штанах. Это маститый прозаик кончал расчищать площадку под парник, где уже нынешней весной грозился высадить ранние помидоры.

Они слегка опоздали. Было много оправданий, извинений и родственного хохота. Стремительно переодевшись где-то за дверью и определив Свету помогать мачехе по хозяйству, Сергей Георгиевич позвал Марка в свой кабинет на втором этаже, якобы помогать искать запонки. Среди почти спартанской самодельной мебели — стульев, лежанки, книжных полок — в святилище муз выделялись только старинный, красного дерева с бронзой, секретер, да в пару ему — письменный стол, обширный, как... словом, как настоящий письменный стол делового человека, с зачехленной конторской машинкой и мраморным чернильным прибором. На одной из полок стояли книги, рачительно обернутые в плотную бумагу — и по аккуратным снежно-белым обрезам, по непривычному формату искушенный гость без труда догадался об их эмигрантском происхождении.

— Отличная библиотека, — сказал он. — Чувствуется рука профессионала.

— Тут меньше половины, дружище. Заходи в Москве — такими раритетами похвастаюсь! Светке-то наплевать, ей лишь бы в телевизор уткнуться.

— Скажите, Сергей Георгиевич, — льстиво начал Марк, — вы обычно как пишете — от руки, или прямо на машинку?

— Зависит от этого, как его, вдохновения, — живо отвечал писатель, — нет его — так вообще круглые сутки на лежанке валяюсь. А бывает, сочиняется буквально со скоростью печатания. Благодать здесь, в Переделкине. Мне же в городе совершенно не дают работать. Текучка заедает. Где я "Стальное небо" сочи-

нил? Здесь, за этим самым столом. А "Звезды над тайгой"? Утомишься — берешь в руки рубанок или ту же лопату. — Сергей Георгиевич в третий раз наполнил свою рюмку, плеснув заодно и гостю. — Огород. Участок, как ни крути, десять соток. В прошлом году патиссоны посадил, Вероника замариновала банок пятнадцать. Мебель — почти вся своими руками. Ее же сейчас хрен купишь...

Спустились к накрытому столу. Да, коварная Света явно выдала тайну их приезда, потому что стол был — роскошен. Беспомощно-розовая ветчина приятно оттеняла багровый ростбиф, нежная кремовая осетрина светилась желтыми прожилками. С особым удовольствием заметил Марк рядом со своей бутылкой, а может, с ее родной сестрой, глиняную плошку с маринованными грибочками. Были это те самые воспетые патриотом Солоухиным челяши, то бишь крохотные, целиком уместающиеся на вилке подосиновики, составляющие, наряду с икрой, лучшую в мире закуску к водке. Икра, разумеется, имелась тоже. Еще поправляет тридцатипятилетняя красавица Вероника что-то в кажущемся, а на самом деле вдохновенном беспорядке стола, но вот она и уходит, чтобы в считанные секунды вернуться уже без передника, с живой розой, приколотой к синему платью с умеренным вырезом. Вероника молчалива, умна и, говорят, держит прозаика Ч. отчасти под каблуком, но на людях этого совсем не видно. Света почти не держит на нее зла — история развода именитого писателя с первой женой темна, и виновника, за давностью лет, отыскать уже вряд ли возможно.

Между тем разговор начинается тостом за встречу, продолжается грибочками. От камина, где потрескивают сухие сосновые дрова, исходит ровное тепло, до главной темы еще довольно далеко. Выпили за хозяйку дома. Обсудили прелести дачной жизни по сравнению с городской. Марк повеселил компанию парой охотничьих рассказов из числа своих приключений с иностранцами. Поминавшиеся патиссоны таяли во рту, на спиртное налегали без лишней спешки, но в достойном темпе.

— Да, друг сердечный, — осторожно начал Сергей Георгиевич, — все это и занимательно, и поучительно. Однако растолковал бы ты мне все-таки, какой для здорового сообразительного мужика, вроде тебя, прок в этой Конторе? Ну, мотаешься по всей стране, так небось уже осточертело. Зарплата...

— Меня уже Света этим донимала, — спокойно сказал Марк. — Для умного человека в Конторе масса прелестей.

— Как то? — упорствовал хозяин.

— Зарплата скромная, — пояснил Марк, — но кое-что к ней добавляется. Премии, командировочные, сверхурочные, потом, сами понимаете, — он повертел пальцами в воздухе, но ничего не сказал. — Представительская одежда.

— Это еще что? — изумился прозаик.

— А всякие западные тряпки. Продают их нам за полцены, чтобы перед иностранцем в грязь лицом не ударили.

— Извини, Марк, как-то все это звучит несерьезно. Я человек старой закалки, откровенный...

— Э-э, — продолжал Марк беззлобно, — не торопитесь. Должен вам сказать, Сергей Георгиевич, что осенью меня принимают в партию.

Впечатление было то же самое, какого он и ожидал.

— За это надо выпить особо, — сказал посерьезневший Сергей Георгиевич. — Поздравляю ото всего сердца. Нашего брата-интеллигента нынче принимают со скрипом, уж кому-кому, а мне это известно досконально... Еще раз поздравляю.

Марк с достоинством осушил свой стаканчик.

— Между прочим, насчет партии, — сказал он. — Мне очень пригодились одна ваша недавняя статья.

— Которая?

— О Солженицыне. Я ведь чуть не на всю Контору знаменит кружком политпросвещения. По вашим материалам в основном и готовился.

Сергей Георгиевич, недовольно хмыкнув, принялся чистить зубы обломком спички. В Союзе писателей он ходил не то что в либералах, но как бы в умеренных. Может быть, именно поэтому прозаик Ч., занимавший в разное время самые ответственные посты в аппарате Союза, вплоть до первого секретаря Московского отделения, до сих пор не попал в ЦК КПСС. Впрочем, общее мнение клонило к тому, что это лишь вопрос времени. Хлебосольный хозяин переделкинской дачи, как писала к его пятидесятилетию "Литературная газета", стоял "в первых рядах непримиримых борцов за дело коммунизма на литературном фронте".

— Не хотел я писать этой статьи, — вздохнул Сергей Георгиевич. — Спорил, спорил с этими бараньими лбами в Секретариате, даже в ЦК ходил...

— Зачем же писали? — бестактно осведомился Марк.

— Партийная дисциплина, Марк, как тебя там по бабушке. И к тому же — свято место пусто не бывает. Другой бы мог дров наломать, ну а в своих мозгах я, слава Богу, уверен.

— А не хотели-то почему?

— Да потому, дорогой мой, что мы с этим типом допустили серьезнейшую тактическую, чтобы не сказать стратегическую, ошибку. Весь этот шум вокруг ГУЛага бесконечно нам навредил. Создали рекламу, раз. Выглядим перед всем миром идиотами, два. Тоньше надо было действовать. Гораздо тоньше.

— Разумно, — согласился Марк. — Но вы знаете, Сергей Георгиевич, чтобы уж раз навсегда договорить на эту тему, один мой приятель говорил, что он где-то слышал, как кто-то вроде бы удивлялся тому, что наши газеты обожают поносить Запад, ФРГ в особенности, за короткую память. Мол, необходимо помнить уроки истории, преступления фашизма, страдания народов. И вот этот кто-то поражался кампании против "Архипелага", уверяя, что и нашему народу вредно иметь короткую память...

Он говорил бы и дальше, все более озадачивая прозаика Ч., но тут Света принялась довольно яростно толкать его под столом ногой.

— Не слушай ты его, папка, — распорядилась она. — У него мозги, бывает, совершенно не в том направлении работают.

— Почему же, — в прозаике заговорила мужская солидарность, — ему же часто, наверно, приходится отвечать на провокационные вопросы своей клиентуры. И мнение довольно распространенное. Но, друг сердечный, опровергнуть его проще пареной репы. Ты сам сообрази...

— Сергей Георгиевич, — Марк прокашлялся, — вы догадываетесь, что мы приехали не просто так...

— Еще бы, — широко улыбнулся будущий тесть, — значок-то, значок зачем нацепил, а?

— Ваша же дочь заставила! — с облегчением воскликнул Марк, снимая с лацкана значок с остреньким латунным профилем Ленина. — Словом, я хочу просить у вас ее руки.

— У! — сказал писатель, — официально-то как. А сама дочь согласна? И с матерью говорила? А, была не была, соглашусь и я! Заявление подали, молодые?

— Как можно, Сергей Георгиевич, — честные глаза Марка излучали смирение и почтительность. — В некоторых отношениях

я человек старомодный. К тому же некоторые деловые вопросы...
— Ладно. Польщен. О делах — потом. Дайте-ка я вас поздравлю, дети.

С этими словами Сергей Георгиевич встал из-за стола и заключил в широкие объятия сначала наследницу, а потом и Марка. Троекратный его поцелуй, припахивающий водкой и заграничным лосьоном, был, заметим, совершенно искренним.

— Мировой у меня отец, точно? — сказала Света, когда они стояли на перроне в ожидании электрички.

— Да. Только зачем ты мне говорить не давала? — Марк прижался к невесте, защищая ее от ледяного полуночного ветра.

Глава седьмая. Тихим и теплым апрельским вечером, пахнувшим городской пылью и липовыми почками, Марк, не достав билетов в кино, мирно покуривал на бульварной скамейке у Никитских ворот, изучая подаренный ему автором очередной роман прозаика Ч. Действовали в нем парторг машиностроительного завода, сорокалетний деловой человек, воспитанный на уроках двадцатого съезда, и косный директор, хотя и ветеран войны. Последний не понимал, хоть кол на голове теши, что помимо выгодных для плана труб широкого диаметра, завод должен выпускать побольше труб диаметра малого, не забывая при этом и о каких-то уж вовсе невыгодных для плана чугунках и сковородках. Кипели страсти на партсобраниях, сознательные бригады отказывались от заслуженных премий, хлопала за совестливым парторгом тяжелая дубовая дверь директорского кабинета. При этом парторг далеко не был сусальным героем книг времен культа личности, о нет! При живой жене и комсомольце-сыне где-то на двухсотой странице он выносил на руках лаборантку Надю из "присмирившего" автомобиля на вечернюю дорогу, целовал ее так, что "зубы касались зубов", а там, "прерывисто дыша", таскил в овсы, ощущая, как "просыпается в нем что-то, казалось бы, давно похороненное в тайниках памяти". Жена грозила самоубийством, отрастивший длинные волосы сын бежал из дому играть с концертной бригадой на БАМе. Порядочного чугунка не было даже в семье самого директора. "Ах, Марья, — говорил он седовласой жене, — я на фронте учился выполнять приказы. И слово "план" для меня свято. Не думали мы на передовой о каких-то чугунках". Ближе к финалу радостный парторг выходил из здания ЦК КПСС на Старой площади, "влажный весен-

ний ветер дул ему прямо в лицо”, и ликующий читатель осознал, что страна вскоре захлебнется трубами малого диаметра, а уж чугунками и сковородками можно будет просто-таки мостить улицы. На четырехсотой с чем-то странице кто-то подкрался к Марку сзади и закрыл ему руками глаза. Разумеется, это оказалась темпераментная Инна в сопровождении брата Андрея, небритого, зато в новеньких американских джинсах, прибывших на днях от Розенкранца.

Парочка собиралась к Владимиру Михайловичу, безобидному пенсионеру, на литературное чтение, и Марк не заставил себя долго уговаривать. Он скучал по брату. Не то что они охладели друг к другу, но виделись в последнее время не часто.

Через несколько минут они уже звонили в дверь большой коммунальной квартиры на Садово-Кудринской. Долго тряс им руки хозяин старческой своей клешней, долго благодарил за простенький торт и пачку чая. Окололитературная молодежь ходила к нему уже несколько лет, почти каждый четверг, не очень понятно, почему. А впрочем, отчего бы и нет. Был Владимир Михайлович беден, приветлив и терпим. Был он к тому же и настолько одинок, что, как подозревали, только и жил этими четвергами — ну, разве что, еще игрой в шахматы по переписке, да чтением книг, приносимых доброхотами.

Сегодня ожидался из Ленинграда, прямо с дневного поезда, Алик Костанди, “мэтр”, как говорил о нем Андрей, “друг Бродского” и “протеже покойницы Ахматовой”. На одиннадцати квадратных метрах жилплощади уже теснились вездесущий Истомин, лирик Жора Паличенко, три тишайшие студенточки с портфелями у ног, некто в окладистой черной бороде, представившийся Давидом, некто в золоченых очках, не представившийся вовсе, зато притащивший три бутылки недурного сухого вина; впрочем, гости продолжали собираться. Отставив в сторону шахматную доску с недоигранным этюдом, Владимир Михайлович расставлял неизменные стаканы и резал торт. А Марк вышел в коридор позвонить по коммунальному телефону Свете. Когда же вернулся — застал в комнате не только долгожданного поэта, но и — увы, увы! — свою ленинградскую Наталью. Не без горечи заметил он, что не только сидит его драгоценная бывшая любовь совсем рядом с протеже покойницы Ахматовой, но и беззастенчиво положила руку ему на колено.

— Устраиваешь судьбу? — шепнул он, примостившись поблизости.

— Я слышала, и ты недолго горевал, — отпарировала она. — Придет твоя писательская дочка?

— Не брось ты меня — не было бы никаких писательских дочек.

— Ой ли? Я все равно была тебе не пара, Марк.

— Когда-то ты другие песни пела.

— Прошло, — беззаботно шепнула она. — Прошло, и былшем поросло. Не держи зла.

— И не думаю, — буркнул Марк. Но тут Владимир Михайлович, выпустив из склеротических пальцев черную шахматную пешку, поковылял открывать дверь. Со Светой почему-то явился Струйский; Марк показал на него глазами Наталье, та тронула за локоть Алика.

“Намылю Светке голову, — подумал Марк. — Не нашла ничего лучше, как притащить к несчастному старику стукача. И Наталья... ох, не было печали...” Утешая себя, он подумал еще, что рядом с женщиной завоеванной и верной, потерянная и предавшая заметно проигрывала, несмотря на все свои литературные разговоры и чудные карие глаза. И одета в какой-то претенциозный мешок, сама, видно, шила, и даже самого завалящего колечка не подарит ей этот паршивец.

— ...присылал из воронежской ссылки стихи к нему в редакцию, — услышал он из своего минутного забвения слабый голос Владимира Михайловича. — По меньшей мере три раза. Ну, о публикации и речи не шло, конечно, но он тайком переписывал их от руки, а вечерами перепечатывал на редакционной машинке. Они редкостью тогда были, машинки, да и роскошью большой. Копии раздавал, была одна и у меня.

— Вот бы взглянуть! — сказала Света с неподдельным интересом. — Там же могут оказаться совсем неизвестные стихи, да?

Владимир Михайлович с готовностью пояснил, что да, разумеется, тексты эти были б незаменимым подспорьем для литературоведов. Но приятель его погиб в ополчении под Москвой, собственные же бумаги В. М. пропали и того раньше при обычных в те годы обстоятельствах.

— Ну А-алик, — протянула Инна, — кого мы ждем?

Ломаться Костанди не стал. Писал он — добавлю от себя — совсем неплохо, хотя, по уверениям знатоков, слишком часто

блуждал в дебрях христианской метафизики... читал же скверно, не только гнусавя, как большинство ленинградских поэтов, но и спотыкаясь. Однако ему подсказывала Наталья, подсказывал Андрей, однажды шевельнулись в такт стихам губы у одной из студенток.

— Старик, послушай, ты где-нибудь печатал свои опусы? — заволновался Струйский. — Как на духу тебе скажу — профессионально! Ра-ра-ра-ра пустынное зимовье окружено тропинкой слюдяной, тра-та-та-та рифмуется с любовью и кто-то там охотится за мной — ну просто здорово!

— Не печатал, — сухо сказал Алик.

Кривил, между прочим, душой лукавый ленинградец. Антисоветчики из "Граней" уже месяцев шесть тому назад как тиснули его порядочную подборку. То есть, зная-то он об этом был вовсе не обязан, если б не пришел к нему не так давно в комнату озирающийся, но добродушный голландский турист и не вручил сорок с чем-то долларов гонорара, извинившись, что устрасился привезти сам журнал. Тем же вечером потрясенный Костанди созвал пол-Ленинграда к себе на Васильевский, причем покладистый голландец не только сбегал в "Березку" за экзотическим спиртным, но и добавил к гонорару порядочно своих денег. Богемная публика пребывала на вершине блаженства, несмотря даже на неизменные макароны и соленые огурцы, поданные на закуску.

— Не печатал, — повторил Алик. — Не поэтическое нынче время. И гимназисточки, переписывавшие от руки любимых поэтов, боюсь, канули в вечность...

Тут осмелевшая студенточка покачала головой и протянула петербургскому мизантропу довольно пухлую тетрадку.

— Прошу прощения, — с готовностью сдался тот, — не мог представить... ты посмотри, Наталья, тут и Бродский, и Лимонов, и Бавеский, и Кублановский... даже Цветков затесался...

Так и не узнал Марк, кто из собравшихся у В. М. включил приемник. А и узнал бы — что толку. В конце концов, последующие события были несколько не связаны с литературным обзором "Немецкой волны". Из динамика неслись помехи, ревели не то глушилки, не то грозовые разряды, но высокий, чуть истерический женский голос упорно гнул свое.

"...о выходе в свет полученного из-за железного занавеса романа "Лизунцы", с подзаголовком "Кошачье царство". Ожидая

ется и публикация его на английском языке в нью-йоркском издательстве Фаррар, Страус и Жиру. Автор книги Михаил Кабанов, продолжая и развивая традиции Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Замятина, многое воспринял и от опыта западной антиутопии. Действие "Лизунцов" происходит в обозримом будущем, когда экологические ресурсы планеты почти истощились, Северная Америка уничтожена серией советских ядерных ударов, а Западная Европа, разрушенная войной, включена в орбиту коммунистического гегемонизма. Сам Советский Союз, то, что от него осталось, распался на ряд карликовых тоталитарных государств, враждующих между собой. Показанная в гротескных красках жизнь их обитателей разительно напоминает унижительную судьбу советских граждан при жестоком сталинском режиме. Но этим не исчерпывается проблематика романа. Михаил Кабанов прослеживает духовную эволюцию своего героя Феди Моргунова, который вначале симулирует умственную отсталость, чтобы избежать соучастия в бесчеловечной системе подавления личности, столь свойственной коммунистическим деспотиям. После событий, в которых нетрудно угадать карикатуру на падение Сталина и воцарение Хрущева, герой романа поддается иллюзиям и постепенно доходит до важного поста в партийной иерархии. Но затем наступает мучительное прозрение..."

— Хватит, — Андрей выключил приемник. — Терпеть не могу, когда эти невежественные господа из свободного мира берутся рассуждать о русской литературе.

взгляд, которым одарил брата Марк, был исполнен исключительного бешенства. Хорошо хоть, у андреевских приятелей, да у В. М. хватило ума не кидаться поздравлять "Михаила Кабанова" при Струйском. Конечно, Розенкранц, гнида, передал эту проклятую рукопись через голландское посольство. То-то они о чем-то шушукались с Андреем на проводах.

— Андреи, — заговорил Струйский, — ты случаем не читал этой вещицы?

— Я такой литературы не читаю, Володя.

— Кто же такой этот Кабанов?

— Откуда мне знать.

— Может, он ленинградец? Питерский, так сказать?

Он пытливо взглянул на Алика, потом на Наталью.

— Не люблю я таких разговоров, молодой человек, — вдруг

взбеленился Костанди. — Ну, Кабанов, а вам какое дело? Вы что, из Большого дома?

— У нас, москвичей, говорят не Большой дом, а Лубянка, — Струйский пошел на попятный, — но я не оттуда, гарантия. Что уж, и полюбопытствовать не имею права?

на этом разговоры о романе и прекратились. Только на улице удалось Марку остаться наедине с братом.

— Рад, — начал он зловеще, — рад твоему успеху, писатель.

— Я тоже, — храбрился Андрей. — Фаррар, Страус, да еще Жиру в придачу — это чего-то стоит. Жалко, комментарий такой тупой. Я же не прозаик Ч., в "Лизунцах" вовсе нет такой политики, которую они мне пытаются шить. Я хотел...

— Ты свинья! — почти заорал Марк. — Ладно, на свою собственную судьбу тебе наплевать. А отец? А я, наконец? Кто клялся и божился, что не будет передавать повести за границу? Пушкин?

— Не повести, братец кролик, а романа, — хладнокровно возражал Андрей. — Под псевдонимом же. Что ты кипятишься?

— А то! Тебя в лучшем случае выкинут за границу, а в худшем просто посадят. Тебе тридцать лет, Андрей, ты мой старший брат, почему я вечно должен учить тебя уму-разуму? Ей-Богу, у тебя мозги набекрень из-за Ивана и его компании. Когда у вас ближайший семинар? В понедельник? Вот и приду.

— Засмеют, — поморщился Андрей. — И потом, я же там сбоку припеку. Только послушать заглядываю, да и то редко.

— Все равно приду, — загорелся Марк. — Кстати, негодяй, что ты не предупредил меня о Наталье? Ладно, прощаю...

Понемногу добрались до "Маяковской", и смешались с праздничной толпой, хлынувшей из концертного зала. Доверчивый Алик, позабыв сомнительные вопросы Струйского, вдруг принялся зазывать его в Ленинград, находя точку зрения любознательного аспиранта на свои стихи оригинальной, а замечания — точными. Подросла и пора прощаться, кому пожимать руку, кому кивать. Марк поцеловал Наталью в щеку, сказать ничего не сказал — нечего было. За ночным окном шуршащего троллейбуса тянулись все те же скудные витрины, блистали гранитные цоколи улицы Горького, мелькали одинокие сгорбленные прохожие.

— Марк!

— Что?

— Это та самая Наталья?

— Нет. Просто тезка. Не ревнуй понапрасну, милая.

Глава восьмая. Доводилось ли вам бывать на неплохих, подчёркиваю, неплохих любительских спектаклях? Чем лучше такая постановка, тем больше риск, что с некоего рокового момента зритель вдруг начнет судить ее не со снисходительной дружеской улыбкой, а по волчьим законам профессиональной сцены. Тут-то и начинается крах, катастрофа! Сколько ни тужься старательные аматеры — нет им прощения, не спасают дела ни отличные мочальные парики, ни с большим тщанием сработанные декорации — почти как в настоящем театре! — ни вдохновенная игра фрезеровщицы Тани в роли Офелии. Рассеивается магия искусства, за актерами перестаешь признавать право на игру, спектакль благополучно проваливается, и зритель не уходит с середины действия разве что из жалости к приятелям.

Вот такие примерно чувства одолевали Марка в тот апрельский вечер, в мастерской у Глузмана, покуда важничавший Иван, горячась, доказывал своей команде необходимость “дальнейшего укрепления конспирации” и “перехода к более решительным действиям”. Попутно он также на все лады поносил каких-то более известных, или менее подпольных, что одно и то же, “легитимистов”, обозвав их в одном месте “близоруками апологетами гласности”, а в другом — еще более цветистым выражением, которого Марк не запомнил. Слушали его с преувеличенной серьезностью.

— Мы должны будить народ! — орал некто длинноволосый, в волнении просыпая махорку из алого шелкового кисета. — Доведенный до скотского состояния! Голодающий! Агитация и пропаганда! И за нами еще пойдут! Надо только вернуть народу его православную душу, изнасилованную большевизмом!

— Народ доволен, — ворчал Ярослав, — вермишели, хлеба и картошки на всех хватает, это тебе не Вьетнам... Надо, Иван прав, изыскивать что-то новое...

— Вот именно! — кричал Владик. Повышенный тон был вообще принят в этой странной компании; только Андрей помалкивал в углу. — Как если хулиган ребенка бьет, честный человек же не может в стороне стоять!

— Много болтаем, мало делаем, — подытоживал кто-то четвертый.

— О делах — только с товарищами по тройке, — напоминал Иван с начальственным видом.

Не было на лицах собравшихся профессионального революционного выражения, столь свойственного посещающим Москву представителям зарубежных прогрессивных движений. “Обыкновенные либералы, — думал Марк, — просто не посчастливилось, родились в тоталитарной стране с избытком совести и недостатком интеллекта...” Ясно, как день, было ему и то, что ни на какие такие “действия”, за исключением разве что сомнительной болтовни да распространения скучнейшей разоблачительной литературы, никто из заговорщиков не способен. Словом, не на собрании якобинцев попал Марк, а на дурную инсценировку не то “Бесов” Достоевского, не то заседания недосаженных членов Учредительного собрания. Да и можно ли, простите, всерьез заниматься политикой в Яшкиной мастерской, где со стен смотрят апокалиптические полотна, а из дальнего угла озирает присутствующих огромный гипсовый бюст Сталина, глумливо украшенный зелененькой тирольской шляпой с фазаньим пером? Висела неподалеку от сталинского бюста непросохшая еще копия “Двух обезьянок” Брейгеля. Пара рыжих зверьков на цепи, проем в толстой кирпичной стене, раскиданные глиняные черепки. А за окном, что за окном-то, Господи? Недостижимо синяя река за окном, парусники, ветряные мельницы, легкие птицы, брошенные в воздух несколькими бесплотными мазками.

“Почему именно эта, Яков?” — спросил он сквозь общий шум.

“Самая простая. — Глазман улыбнулся. — И к тому же — единственный Брейгель, который мог бы находиться в России”.

Тут в прихожей застрекотал старинный телефонный аппарат. Глазман, пожав угловатыми плечами, позвал Марка.

— Как дела? — услышал он слабый голос невесты.

— Все в порядке. А у тебя что? Слышно очень плохо.

— Ну... ничего. Я из автомата звоню, выходила за молоком. Катя из ГУМа принесла тебе обещанный пиджак. Ты скоро?

— Часа через два.

— Слушай, Марк, я тебя так редко прошу об одолжениях. Приезжай сейчас же, ОК? За такси я могу заплатить. Пожалуйста.

— Хорошо, — он повесил трубку.

Отпускали его неохотно, прощались по-дружески — все-таки чувствовали своего. А на темной улице неистовствовала весна. И с первых же глотков свежего воздуха голова у Марка проясни-

лась окончательно. Близ Николы в Хамовниках — служба кончилась, но еще переливались огоньки внутри церкви — ему повстречалась серая "Волга" с четырьмя пассажирами, на полном ходу свернувшая в переулок. За нею проследовал небольшой фургон, ослепивший было Марка сияющими фарами. Рокот его мотора и вызвал у него в памяти нехитрую виолончельную темку из Вивальди, преследовавшую Марка чуть ли не до самого дома.

Такси он так и не взял, да и в метро спускаться не торопился. Был редчайший час, когда тело дышит памятью детства и юности, переполняется полузабытой радостью собственного бытия, когда от жизни хочется той самой роковой малости — остановить мгновение. Крепла музыка, раздуваемая ветерком, к виолончели добавился высокий, чуть жалобный клавесин, а может, просто чирикание воробьев, и басовые ноты проскальзывали в ней от неспешных троллейбусов, пустых, как и вся Остоженка в этот час первых фонарей и первых звезд на чернильном небосклоне. Дайте сказать: весна грустнее осени, весной журчат по мостовым чистые ручьи, блещет на обочине среди разноцветных кусочков гравия дореформенная медная монетка, проплывает над ней деревянная лодочка со спичечной мачтой, с бумажным парусом. Шумят, шумят городские ручьи, рождаясь там, где надела зима самые высокие сугробы... Весна грустнее осени, весной кажется — настала пора исполнения желаний, все сбылось, все оправдывается — вот-вот щелкнут костяшки счетов, подбивая радостный итог, и смолкнет музыка, будто никогда ее не бывало... и не повторится больше никогда...

Пиджак, сильно смахивающий на тот, что доводилось Марку видеть на молодящемся прозаике Ч., был, разумеется, замшевый, светло-коричневый, источающий неповторимый аромат хорошо выделанной кожи.

— Отлично, — Марк снял зарубежное диво и повесил его обратно на спинку стула. — Только сначала обещаю тебе впредь не устраивать подобных комедий со звонками и срочными вызовами домой. Кстати, откуда ты, собственно, узнала, где и с кем я встречался?

Марк вдруг похолодел. С поразительной ясностью вспомнил он, что вовсе не к Глузману приглашал его на площади Маяковского Иван при Свете и маячившем неподалеку Струйском. Звал он его в дворницкую, откуда они и отправились к Николе в Хамовниках.

— Ты сам мне сказал, и телефон дал.

— Не было такого.

— Кто тебе дал право так со мной разговаривать?

Ткнув едва начатой сигаретой прямо в лакированную поверхность журнального столика, очаровательная невеста Марка вдруг спрятала лицо в ладони и в голос, по-бабьи, заревела. На этом нелепая ссора и кончилась. Сердце Марка, как написал бы прозаик Ч., "захлестнула теплая волна нежности", и он бросился утешать свою любовь. Мог же он, в конце-то концов, сам проболтаться ей о встрече, а потом запомнить? А взять худший из возможных случаев — допустим, что на Лубянке знают о семинарах, и Свете действительно сказал о нынешней встрече тот же Струйский? И что с того? Ну, решила Света, по преувеличенной своей осторожности, вытянуть его из сомнительного общества. Спасибо надо сказать. У нее же свои принципы. Долго шептал Марк зареванной Свете какую-то ласковую чушь. Заснули они в обнимку прямо на диване. Хорошо было снова засыпать под ровный шум апрельского дождя.

Примерно в то же самое время встреченный Марком у церкви фургончик выруливал вслед за "Волгой" из двора, где помещалась мастерская, а участники семинара, сгрудившись в подъезде, молча смотрели вслед этой мрачноватой процессии. Бригада под началом полковника Горбунова работала слаженно и быстро. Забрали пишущую машинку, две пачки чистой бумаги, одиннадцать записных книжек, по числу присутствующих, полмешка каких-то бумаг, писем, фотографий, разбросанных по всем углам мастерской, перепечатанного Бродского и перепечатанного Мандельштама, изданного в Париже Бердяева и вышедшего в Москве Оруэлла с грифом "для служебного пользования". Ксерокопию "Архипелага" отобрали у смертельно побледневшего Ивана, вот и вся добыча. С собой же — в Лубяnsкую, а затем в Лефортовскую тюрьму — увезли только Якова да присмирившего Владика. На следующий день, в полвосьмого утра, заехала черная "Волга" и за Иваном, но к часу дня он уже вручал табельщице, чуть не заподозрившей его в прогуле, справку от зубного врача, бормоча в ответ на ее сочувственные слова что-то вроде "ничего, ничего, у них теперь с новокаином".

А Марк проснулся в таком сильном беспокойстве, что решил на всякий случай до начала рабочего дня заехать в злополучную мастерскую. На ступеньках, ведущих в подвал, он поскользнулся, перемазал дубленку жирной глиной, и, колотя кулаками в

дверь, уже предвкушая, как обложит матом сонного Яшку, не сразу заметил болтавшуюся рядом с замком сургучную печать. Экстренно выпросив у начальства отгул, он заметался по Москве, никого не заставая, и, наконец, примчался к истоминскому сверхсекретному, где в проходной имелся внутренний телефон.

“Ох, и накаркал же ты, — Иван картинно схватился руками за голову, — ох, и повезло тебе... я их к чертовой матери... разнесу... они еще узнают...”

“Что с Андреем?”

“С ним порядок, с другими плохо”.

Сбиваясь и волнуясь, Иван поведал и о своей утренней неловкой беседе с Горбуновым, продемонстрировав при этом пальцы со следами лиловой штемпельной краски. “Подписку о невыезде взяли, — добавил он злобно, — суки”. Речь, по его словам, шла только о надписях в Новодевичьем.

“Не мне одному повезло, — сказал Марк безо всякой задней мысли. — За ксерокс Исаича могли и тебя загрести”.

“Могли”, — кивнул Иван.

Из его путаного рассказа следовало, что попались ребята по самой идиотской случайности, едва ли не единственно потому, что в одном из соседних домов обитал некий пенсионер, любитель утренней зарядки на балконе и к тому же счастливый обладатель фоторужья. Снимок троих хулиганов у монастырской стены вышел нечеткий, с большим зерном, но одежда и черты лица двоих злоумышленников все-таки поддавались опознанию. Сам Иван стоял лицом к стене, к тому же был надежно укутан в шарф.

Шло следствие. Под гнетом разнообразных чувств — упомяну страх, муки совести, облегчение, любопытство — Марк вскоре заманил Струйского в шашлычную на Арбате, известную под названием “гадюшник”, и там до скотского состояния напоил его коньяком. Аспирант-историк долго ломался, но мало-помалу выболтал, что помимо фотографии имелись и другие козыри. Сторож “Березки”, например, запомнил обрывок номера раннего такси, на котором уезжали злоумышленники. Прочесывание мусорных ящиков в радиусе нескольких километров от монастыря обнаружило полдюжины пустых баллончиков с отпечатками перчаток, нитяных и кожаных. “Ну а третий, третий-то кто был?” — допытывался Марк. “Полагают, что Розенфельд”, — цедил его собутыльник.

Большинство рассказов Струйского подтвердилось на следствии и на суде. На проклятой фотографии, даже увеличенной до размеров плаката, как в известном фильме "Блоу-ап", третья фигура оставалась совсем расплывчатой, а подсудимые держались мужественно и никого за собой не потащили. Кончился суд мрачно. Глузмана приговорили к шести, а Владика к пяти годам строгого режима, причем отнюдь не за антисоветскую деятельность, но за "акт злостного хулиганства, совершенный с особым цинизмом". Имущество, находившееся в мастерской, описали; картины, как идеологически вредные и не представляющие художественной ценности, уничтожили. В тирольской шляпе с пером, хотя и не той же самой, некоторое время щеголял Струйский, судьба украшавшего мастерскую бюста осталась неизвестной.

Вот и подходит к концу первая часть моего труда. Остается добавить какие-то крохи, может быть, и не самые важные. Сообщить, что в начале лета осужденных этапировали в Мордовию, в политический лагерь, что письма от заключенных приходили очень невеселые. Была реакция и на Западе: стараниями коллег полковника Горбунова из отдела информации, процесс упоминался в "Нью-Йорк Таймс", в статье, где на живых примерах доказывалось, что диссиденты в настоящее время куда меньше заботят Советскую власть, чем самые обыкновенные хулиганы.

Семинары совершенно заглохли; их руководитель с головой ушел в свои лазеры, да вплотную занялся осуществлением давней мечты — за два месяца затащить в постель двадцать новых баб. Розенкранц слал коротенькие записки из Вены, собираясь в середине мая перебраться в Нью-Йорк. А Баевский получил, после трех лет махания метлой и лопатой, свою лимитную прописку, дворничать немедленно бросил и промышлял теперь перепечаткой диссертаций — так, по крайней мере, он говорил брату. Наш главный герой заставил его проделать в дворничьей "генеральную уборку": сжечь все черновики "Лизунцов", сжечь оба белых экземпляра, раздарить весь имевшийся сам- и тамиздат. Сам же он подал со Светой заявление во Дворец бракосочетаний, с таким расчетом, чтобы свадьба пришлась на начало сентября. После нее молодые решили отправиться в Сочи, где их ожидал отличный номер в одной из гостиниц "Конторы" — в "Волне", а если повезет, то и в "Жемчужине".

Вот и кончается очередной кусок жизни. Пора сделать шаг к другим страницам, к другому воздуху и другому свету. Жаль.

и привык к своим героям, а ведь со многими придется прощаться навсегда. Такова жизнь, скажете вы? Не хочется верить. Хочется бежать от своего одиночества, хочется собрать всех живых и мертвых на бесконечном дружеском пиру — или хотя бы на этих страницах. Удержаться в водовороте жизни; заставить его на мгновение замереть, сложиться в осмысленную картину... но разве это зависит от меня, с моим стыдом, с моей бестолковой любовью, с моими страхами — перед молчанием, перед забвением, или того проще, перед ночными шагами на лестничной клетке. Но слава Богу, один из голосов за дверью — женский, и уже раздается звонок к соседу... слава Богу, судьба дает мне новую отсрочку.

(продолжение следует)

Алексей Татарinov — псевдоним известного русского поэта, живущего в настоящее время в США. "Младший брат" — его первое большое прозаическое произведение.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Новая книга

НИНА ВОРОНЕЛЬ. "ШЕСТЬЮ ВОСЕМЬ — СОРОК ВОСЕМЬ"

(сборник фантастических пьес)

Один из критиков назвал эти остроумные, веселые и торжествующе-добрые пьесы "поучительным чтением для взрослых мизантропов". Но это прежде всего — увлекательное чтение для всех, кто любит юмор и игру, независимо от возраста.

Цена — 14 долл.

При предварительном заказе в издательстве цена 11 долл. Заказы и чеки принимаются по адресу: "Moscow-Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

СТИХИ

Игорь, которого друзья звали Гарик, солдагерники – Миронич, а власти – Губерман, известен читателям и почитателям просто как Игорь Гарик, автор знаменитых “Еврейских дацзыбао”, ставших, по справедливому замечанию прозорливого Белинского, “энциклопедией нашей русско-еврейской жизни”. Осуществив – в марте 1988 года – страстную мечту воссоединиться с родственными душами из журнала “22” в Израиле, Игорь Гарик ныне живет в Иерусалиме, окруженный женой (одной), детьми (двумя), друзьями (многими) и картинами (на всех стенах), готовя к изданию новую книгу своих насмешливо-философских стихов, подборку из которой мы предлагаем его многочисленным поклонникам в Израиле, на Западе и в России. (Нумерация и названия глав принадлежат автору.)

3. “В борьбе за народное дело Я был инородное тело”

Текла бы жизнь моя несложная,
легко по радостям скользя,
когда бы я писал про возможное,
касаясь лишь того, что лезя.

* * *

Красив, умен, слегка сутул,
набит мировоззрением,
вчера в себя я заглянул
и вышел с омерзением.

* * *

Я оттого люблю лежать
И в потолок плюю,
что не хочу судьбе мешать
кроить судьбу мою.

* * *

Ничем в герои не гожусь —
— ни духом, ни анфасом;
и лишь одним слегка горжусь —
что крест несусь с приплясом.

* * *

Замкнуто, светло и беспечально
я витаю в собственном дыму,
общей цепью скованный случайно,
лишь сосед я веку своему.

* * *

Во всем со всеми наравне,
как капелька в росе,
в одном лишь был иной, чем все —
— я жить не мог в гавне.

4. "Семья от бога нам дана,
замена счастью она".

Съев пуды совместной каши
и года отдав борьбе,
всем хорошим в бабах наших
мы обязаны себе.

* * *

Когда в семейных шумных ссорах
жена бывает неправа,
об этом позже в мемуарах
скорбит прозревшая вдова.

* * *

А Байрон прав, заметив хмуро,
что мир обязан, как подарку,
тому, что некогда Лаура
не вышла замуж за Петрарку.

* * *

Сегодня для счастливого супружества
у женщины должно быть много мужества.

* * *

Где стройность наших женщин. Годы тают,
и стать у них совсем уже не та;
зато при каждом шаге исполняют
они роскошный танец живота.

* * *

Вполне владеть своей женой
и управлять своим семейством —
куда треднее, чем страной
хотя и мельче по злодействам.

7. "Увы, но истина — блудница,
ни с кем ей долго не лежится".

Очень дальняя дорога
всех равняет без различия:
как бердичевцам до Бога,
так и Богу до Бердичева.

* * *

На собственном Горбу и на чужом
я вынянчил понятие простое:
бессмысленно идти на танк с ножом,
но если очень хочется, то стоит.

* * *

Во всех делах, где ум успешливый
победу праздновать спешит,
он ловит грустный и усмешливый
взгляд затаившейся души.

11. "Вот женщина: она грустит,
что зеркало ее толстит".

Ключ к женщине — восторг и фимиам,
ей больше ничего от нас не надо,
и стоит нам упасть к ее ногам,
как женщина, вздохнув, ложится рядом.

* * *

В мужчине ум — решающая ценность
и сила, чтоб играла и кипела,
а в женщине пленяет нас душевность
и многие другие части тела.

* * *

Блестя глазами сокровенно,
стыдясь вульгарности подруг,
девица ждет любви смиренно,
как муху робко ждет паук.

* * *

Если есть у женщины фигура,
женщина совсем уже не дура.

* * *

Улетел мой ясный сокол
басурмана воевать,
а на мне ночует свекор,
чтоб не смела блядовать.

12. "Не стесняйся, пьяница, носа своего,
он ведь с нашим знаменем цвета одного".

Налей нам, друг! Уже готовы
стаканы, еда, бутыл с прохладцей,
и наши будущие вдовы
охотно с нами веселятся.

* * *

В любви и пьянстве есть мгновение,
когда вдруг чувствуешь до дрожи,
что смысла жизни откровение
тебе сейчас явиться может.

* * *

Паскаль бы многое постиг,
увидь он и услышь,
как пьяный мыслящий тростник
поет "шумел камыш".

* * *

А страшно подумать, что век погода,
свой век освежив просвещением,
Россия, в субботу из бани придя,
кефир будет пить с отвращением.

* * *

К родине любовь у нас в избытке
теплится у каждого в груди,
лучше мы пропьем ее до нитки,
но врагу в обиду не дадим.

**15. "Причудливее нет на свете повести,
чем повесть о причудах русской совести".**

Когда мила родная сторона,
которой и взлелеян и воспитан,
то к ложке ежедневного гавна
относишься почти что с аппетитом.

* * *

Как жалко их, кто кровью обливаясь,
провел весь век в тоске чистосердечной,
звезду шестиконечную пытаюсь
хоть как соединить с пятиконечной.

* * *

Сколько эмигрантов ночью синей
спорят, и до света свет не тухнет;
как они тоскуют по России,
сидя на своих московских кухнях!

* * *

И спросит Бог: никем не ставший,
зачем ты жил? Что смех твой значит? —
— Я утешал рабов уставших —
ответчу я. И Бог заплачет.

**16. "Чтобы кто-нибудь всем вредил,
Бог евреев соорудил".**

Как все, произойдя от обезьяны,
зажегшей человечества свечу,
еврей имеет общие изъяны,
но пользуется ими чересчур.

* * *

Изверившись в блаженном общем рае,
но прежние мечтания любя,
евреи эмигрируют в Израиль,
чтоб русскими почувствовать себя.

* * *

Раскрылась правда в ходе дней,
туман легенд развеяв;
евреям жить всего трудней
среди других евреев.

* * *

Любая философия согласна,
что в мире от евреев нет спасения,
науке только все еще не ясно,
как делают они землетрясения.

* * *

Еврей всегда легко везде заметен,
еврея слышно сразу от порога
евреев очень мало на планете,
но каждого еврея — очень много.

**19. "Давно пора, ебана мать.
Умом Россию понимать!"**

Смакуя азиатский наш кулич,
мы густо над Европами хохочем;
в России прогрессивней паралич,
светлей Варфоломеевские ночи.

* * *

Благословен печальный труд
российской мысли, что хлопочет,
чтоб оживить цветущий труп,
который этого не хочет.

* * *

Российская лихая птица-тройка
со всех концов земли теперь видна,
и кони бьют копытами так бойко,
что кажется, что движется она.

* * *

Здесь грянет светопреставление
в раскатах грома и огня,
и жаль, что это представление
уже наступит без меня.

* * *

Россия. Что за боль прощаться с ней!
Кто едет за деньгами, кто за славой;
чем чище человек, тем он сильнее
привязан сердцем к родине кровавой.

20. "Как Соломон о Розв..."

Те овраги, траншеи и рвы,
где чужие лежат, не родня —
вот единственно прочные швы,
что с еврейством связали меня.

* * *

При всей нехватке козырей
в моем пред Господом ответе,
весом один, я был еврей
в такое время на планете.

* * *

Сородич мой клопов собой кормил,
и рвань перелицовывал, дрожа,
и образ мироздания кроил,
и хаживал на Бога без ножа.

* * *

Такой уже ты дряхлый и больной,
трясешься, как разбитая телега —
на что ты копишь деньги, старый Ной?
На глупости. На доски для ковчега.

* * *

Над нами смерть витает, полыхая
разливом крови, льющейся вослед,
что слабнет, утолясь; и тетя Хая
опять готовит рыбу на обед.

НОВЫЕ КНИГИ В ИЗРАИЛЕ

Вышел в свет первый номер литературного альманаха "САЛАМАНДРА".
Участники: И. Бокштейн, И. Бурихин, А. Волохонский, М. Генделев,
М. Каганская и другие.
Переводы: Ж. Лафорг (проза), К. Г. Юнг (проза).
Цена экземпляра при заказе — 15 долл.

Заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

С каждым шагом на своем пути Сиддхарта узнавал что-нибудь новое — ибо мир принял теперь в его глазах совсем иной вид, и все в нем очаровывало его сердце. Он видел, как солнце вставало над покрытыми лесом горами и опускалось за пальмами отдаленного морского берега. Видел стройное движение звезд и серповидный месяц, плывший, как ладья, по синеве неба. Видел деревья, звезды, животных, облака, радуги, скалы, травы, цветы, ручьи и реки. Видел, как сверкала в кустах утренняя роса. Птицы распевали, пчелы жужжали, ветер колыхал серебристые рисовые поля. Все это, со всем своим многообразием и пестротой, существовало всегда. И раньше светили солнце и луна, и раньше шумели реки и жужжали пчелы. Но раньше все это было для Сиддхарты лишь мимолетным и обманчивым видением, мелькавшей перед его глазами завесой, на которую надо смотреть с недоверием, которая на то и существует, чтобы быть сорванной и уничтоженной мышлением, так как она не была сущностью, так как сущность пребывала по ту сторону доступного зрению, видимого. Теперь же его раскрывшиеся глаза останавливались на всем, что лежало

Герман Гессе

ПУТЬ МУДРОСТИ

(Сиддхарта)

Часть вторая

(окончание; начало см. в № 57)

по эту сторону; они видели и познавали видимое, искали родины в этом мире, сущности вещей, а не потустороннего мира. Как прекрасен был мир, когда глядишь на него таким образом — просто, по-детски. Как чудесно было идти по земле с детской ясностью и бодростью во взгляде, с душой, раскрытой для всего близкого, чуждой недоверия! Не так палило теперь голову, иначе прохлаждала лесная тень, иной вкус имели вода и ручьи, бананы и дыни. Короткими казались дни и ночи; каждый час быстро мелькал словно парус на море, а под парусом плыло судно, наполненное сокровищами, наполненное радостью. Сиддхарта видел целое племя обезьян, куда-то перебиравшееся под высоким сводом леса, по самым верхним ветвям, слышал их дикое похотливое пение. Он видел, как баран преследует овцу и овладевает ею. Он видел, как в поросшем тростником озере охотится терзаемая вечерним голодом щука, как в страхе убегает от нее молодая рыба, выскакивая из воды и сверкая на воздухе чешуей. Силой и упорною страстью веяло от быстро расходившихся кругов, поднятых на воде стремительным преследованием охотника. Все это было всегда, да он-то прежде ничего не замечал — он был слишком далек от всего этого. Теперь же его интересовало все, что его окружало, он сам был частицей окружающего мира. В его глазах проносились и свет, и тень, месяц и звезды проходили через его сердце.

Дорогою Сиддхарта припоминал все, что пережил в саду Джетавана; ученье, которое он слышал там, божественного Будду, прощение с Говиндой, разговор с Возвышенным. Вспомнилось ему каждое слово, сказанное им Будде, и он с изумлением заметил, что высказал тогда мысли, которых в сущности еще сам не сознавал хорошенько. Ведь он сказал Гаутаме, что его, Будды, сокровище и тайна не в учении, а в том невыразимом и непередаваемом словами, что им самим когда-то пережито было в минуту просветления. Но ведь он, Сиддхарта, именно и идет теперь в мир, чтобы пережить подобное самому; да он уже и сейчас начал переживать это. Самого себя он должен теперь переживать. Правда он уже давно знал, что его Я и есть Атман, что оно — той же вечной субстанции, как и Брами. Но он никогда не находил этого Я, потому что хотел уловить его в сеть мысли. Если бесспорно не тело было этим Я, и не игра чувств, то им не были также ни мысль, ни ум, ни заимствованная от других мудрость, ни таким же путем приобретенное искусство выводить заключения, ткать из продуманного новые мысли. Нет, и мир мыслей принадлежит еще к потустороннему, и нет никакой

пользы убивать случайное "Я" своих чувств, чтобы взамен усилено питать случайное же "Я" чужих мыслей и приобретаемого от других знания. И то, и другое — как мысли, так и чувства — прекрасные вещи, за которыми одинаково скрывается истинный смысл всего. К обоим надо прислушиваться, обоими играть, ничего в них не следует ни презирать, ни переоценивать, но во всем подслушивать звучащие в глубине тайные голоса. И он решил впредь всегда стремиться лишь к тому, что внушал ему внутренний голос, задерживаться там, где голос ему советовал. Почему Гаутама когда-то, в тот великий час, сел именно под деревом Бо*, где его осенило откровение? Потому что он услышал голос — он раздался в его собственном сердце — повелевавший ему искать отдыха под этим деревом. И он не отдал предпочтения умерщвлению плоти, жертвоприношениям, омовениям или молитвам, не предпочел ему питье, сон и грезы — он послушался голоса. Так значит повиноваться — но не приказу извне, а внутреннему голосу, быть всегда готовым идти на его призыв — вот что хорошо и необходимо; ничто иное не является подлинным.

Ночью, в соломенной хижине, принадлежавшей речному перевозчику, Сиддхарте приснился сон: перед ним стоял Говинда в желтом одеянии аскета. Лицо Говинды было печально. Печально он спросил: "Зачем ты покинул меня?" Сиддхарта обнял его, охватил руками, но когда он прижал его к груди и поцеловал, то почувствовал, что перед ним не Говинда, а женщина. Из-под ее платья высвобождалась наружу полная грудь, а он, Сиддхарта, лежал у этой груди и пил. Сладко и терпко было молоко из этой груди. От него исходили ароматы мужчины и женщины, солнца и леса, животных и цветов, аромат всевозможных плодов и всяческих наслаждений. Оно опьяняло, дурманило. Сиддхарта проснулся: через дверь хижины видно было поблескивание бледной реки, а из леса громко и звучно доносился гулкий призыв совы. Занимался новый день. Сиддхарта попросил хозяина-первозчика переправить его на другой берег. Вскоре они уже плыли на бамбуковом плоту. Красным светом мерцала широкая река на утреннем солнце.

* Дерево Бо, священное дерево буддистов, из сем. фиговых. Его ботаническое название — *Ficus religiosa*. Ветвь этого священного дерева была пересажена на о-в Цейлон за 288 лет до Р.Х. и, благодаря неустанным заботам монахов, дерево растет еще до сих пор. Это, насколько известно, древнейшее историческое дерево.

— Прекрасная река! — заметил Сиддхарта.

— Да, — сказал перевозчик, — это прекрасная река, я люблю ее больше зсего. Я часто прислушиваюсь к ней, часто заглядываю ей в очи, и всякий раз чему-нибудь научаюсь от нее. У реки можно научиться многому.

— Благодарю тебя, перевозчик, — сказал Сиддхарта, выходя на берег. — Мне нечем заплатить тебе за гостеприимство и за переправу. Я бездомный скиталец. Я сын брамина. И самана.

— Я и сам догадался, кто ты, — сказал перевозчик. — Я и не ждал от тебя ни платы, ни иного вознаграждения. Ты отплатишь мне в другой раз.

— Ты думаешь? — весело спросил Сиддхарта.

— Уверен. Вот еще одно, что я узнал от реки: все возвращается. И ты, самана, вернешься сюда. А теперь прощай. Да будет твоя дружба мне наградой. Вспоминай меня всегда, когда будешь приносить жертвы богам.

Они попрощались друг с другом с улыбкой. Этот перевозчик совсем, как Говинда, — думал Сиддхарта, идя по дороге, — все, кого я встречаю на своем пути, похожи на Говинду. Все благодарны, хотя сами имеют право на благодарность. Все почтительны, все готовы стать друзьями, охотно повинуются и мало думают. Как они похожи на детей!

Около полудня он пришел в какую-то деревню. На улице у глиняных мазанок, возилась детвора. Они играли зернышками тыков и раковинами, кричали и дрались, но при виде чужого саманы в испуге разбежались. В конце деревни дорогу пересекал ручей, а на берегу ручья стояла на коленях молодая женщина и стирала. Когда Сиддхарта приветствовал ее, она подняла голову и с улыбкой взглянула на него. Белки ее глаз блеснули. Он крикнул ей обычное приветствие странствующих монахов и спросил, как далеко еще до большого города. Тогда она поднялась с места и подошла к нему. Влажные губы красиво алели на молодом лице. Она стала обмениваться с ним шутками, спросила, ел ли он сегодня и правда ли, что саманы проводят ночи в лесу одни и не могут иметь при себе женщин. При этом она опустила свою левую ногу на его правую и сделала движение, каким женщина приглашает мужчину к любовному наслаждению. Сиддхарта почувствовал, как в нем закипает кровь. В эту минуту ему вспомнился ночной сон, — он смело наклонился к женщине и коснулся губами темного соска на ее гру-

ди. Когда он поднял глаза, то на ее улыбающемся лице прочел желание, а в сузившихся глазах — страстную мсльбу.

Сиддхартой овладело вождление. Он еще ни разу в жизни не касался женщины, и с минуту помедлил, хотя руки его уже протягивались, чтобы ее охватить. И в эту-то минуту он с содроганием услышал внутренний голос. И голос этот сказал: "Нет". И тотчас же улыбающееся лицо молодой женщины утратило для него все свое очарование, теперь он видел перед собой лишь влажный взор охваченной вождлением самки. Ласково потрепал он ее по щеке, повернулся и быстро скрывая из глаз разочарованной женщины в глубине бамбуковой рощи.

В тот же день, еще до наступления вечера, он добрался до большого города. Теперь его тянуло в общество людей. Уже много времени прожил он в лесах, и крытая соломой хижина перевозчика была первым за все это долгое время кровом, под которым он провел целую ночь. Перед самым городом, у обнесенной красивой оградой рощи, ему попалась навстречу маленькое шествие из нагруженных корзинами слуг и прислужниц. Среди них, в разукрашенных носилках, несомых четырьмя носильщиками, сидела на красных подушках под пестрым индийским покрывалом женщина — их госпожа. Под высокой прической черной косы Сиддхарта увидел очень светлое, нежное и умное лицо, розово-красные губы, как только что вскрытая смоква, рот, выхоленный и нарисованный дугой брови, темные, умные и зоркие глаза, белую длинную шею, выступавшую из золотисто-зеленой верхней одежды, стальной лежавшие светлые длинные и узкие руки с украшенными золотыми обручами на сгибах.

Сиддхарта видел, как она прекрасна и сердце его почему-то радовалось этому. Он низко поклонился, когда носилки приблизились к нему, и снова выжимаясь, поднял в осененные высокой дугой бровей глаза, вдыхая аромат неизвестных ему благовоний. Она с улыбкой ответила на его поклон, — но еще миг, и вся процессия скрылась в глубине рощи.

— Какое предзнаменование! — подумал Сиддхарта и засмеялся.

Первого встреченного в дороге человека он расспросил, кто эта женщина, и узнал, что роща принадлежала знаменитой куртизанке* Камале, которая кроме невесты была самым востребованным человеком в городе.

* Куртизанки — "городские красавицы" в городах Индии в Ведыскую эпоху — отличались, подобно поварским гонимым, не только красотой, но и умом и образованием. Профессия их не считалась позорной.

Теперь у него была цель.

К вечеру Сиддхарта уже подружился с подмастерьем какого-то цирюльника, которого увидел за работой в тени лавки, а потом снова встретил молящимся в храме Вишну. Он рассказал ему историю про Вишну и Лакшми. Эту ночь он провел у лодок на берегу реки, а рано утром, прежде чем в лавку цирюльника явились первые клиенты, пришел к подмастерью и велел ему обрить его бороду, постричь волосы, причесать и натереть благовонной мазью. После этого он выкупался в реке.

Вечером, когда прекрасная Камала снова направлялась в свою рошу, Сиддхарта уже стоял у входа. На свой поклон он снова получил ответный кивок. Тогда он сделал знак одному из слуг, который шел последним в ее свите, и попросил доложить госпоже, что с ней желает говорить молодой брамин. Некоторое время спустя слуга вернулся, предложил ожидавшему Сиддхарте следовать за ним и молча повел его в павильон, где лежала на диване Камала. Затем он оставил их одних.

— Не ты ли это вчера поклонился мне? — спросила Камала.

— Да, я уже вчера приветствовал тебя.

— Но вчера ты, кажется, был с бородой и длинными волосами, и волосы твои были покрыты пылью?

— Совершенно верно, ты очень наблюдательна: ты видела Сиддхарту, сына брамина, который оставил свою родину, чтобы стать саманой, и в течение трех лет жил среди них. Теперь я оставил эту дорогу и пришел в ваш город. И первым, кого я встретил, была ты. Вот что я хотел сказать тебе, Камала. Ты первая женщина, с которой Сиддхарта говорит, не опуская глаз. Я решил никогда больше не опускать глаз, когда встречу на пути прекрасную женщину.

Камала улыбнулась и стала играть своим веером из павлиньих перьев.

— И ты пришел для того, чтобы сказать мне это? — спросила она.

— Чтобы сказать тебе это и чтобы поблагодарить тебя за то, что ты так прекрасна. И еще, если тебе будет благоугодно, я попросил бы тебя, Камала, быть моей подругой и наставницей, ибо я еще совершенный невежда в том искусстве, которое ты знаешь в совершенстве.

Камала громко расхохоталась:

— Вот уж не случилось со мной, чтобы самана из леса захотел учиться у меня! Самана с длинными волосами и со старой рваной повязкой вокруг чресел! Многие юноши приходят ко мне, бывают

между ними и сыновья браминов, но они являются в прекрасной одежде, в изящной обуви, с благоухающими волосами и полными кошельками. Вот какого рода юноши посещают меня, самана.

Сиддхарта ответил:

— Вот я и получил от тебя первый урок. Да и вчера уже я кое-чему научился, — тоже благодаря тебе. Я сбрил бороду, причесался и умастил волосы. Мне, Камала, недостает теперь только немного — хорошей одежды и обуви, да денег в кошельке. Но я ставил перед собой более трудные задачи и всегда справлялся с ними. Как же мне не достичь того, что я поставил себе целью вчера: стать твоим другом и узнать от тебя радости любви. Ты еще увидишь, какой я способный ученик, Камала. Итак, скажи, Сиддхарта такой, как он есть — с умашенными волосами, но без платьев, без обуви и денег, — тебя не удовлетворяет?

Камала со смехом воскликнула:

— Нет, почтеннейший, этого мне мало. У тебя должны быть платья, и прекрасные платья, прекрасная обувь, много денег в кошельке, и подарки для Камалы. Теперь ты знаешь, самана из леса. Ты запомнил?

— Да, я запомнил! — воскликнул Сиддхарта. — Как могу я не запомнить того, что сказано такими устами? Твой рот, как свежевскрытая смоква, Камала. Но и мои уста алы и свежи; они подойдут к твоим, ты увидишь. Скажи мне только, неужели ты совсем не боишься саманы, пришедшего из леса, чтобы учиться любви?

— Почему же я должна бояться саманы, глупого саманы из леса, который пришел от шакалов и совсем не знает, что такое женщина?

— Но ведь он силен, этот самана, и он ничего не боится. Он мог бы похитить тебя, заставить тебя страдать!

— Нет, самана, этого я не боюсь. Разве стал бы какой-нибудь самана или брамин опасаться, что кто-нибудь может придти, схватить его и похитить его ученость, его благочестие, его глубокомыслие? Нет, ибо все это составляет неотъемлемую собственность, из которой он уделяет лишь столько, сколько хочет, и лишь тому, кому хочет. Точно так же со мной и радостями любви. Да, мои уста прекрасны и алы, но попробуй поцеловать их против моей воли — и ты не почувешь ни капли сладости в поцелуе, который при иных условиях может быть сладким, как мед. Ты любознателен и способен, Сиддхарта — вот тебе еще один урок: любовь можно вымолить, ее можно купить, можно найти на улице, — но взять ее силой

нельзя. Ты избрал бы ложный путь. Мне было бы жаль, если бы такой красивый юноша взялся за дело совсем не так, как следует.

Сидхарта с улыбкой отвесил ей поклон:

— Ты права, Камала, было бы жаль. Очень даже жаль! Нет, я не хочу лишиться ни одной капли сладости. Итак, решено: я вернусь, когда у меня будет все, чего мне пока не хватает — платье, обувь и деньги. Но скажи, прелестная Камала, не можешь ли ты дать мне еще один маленький совет?

— Совет? Отчего же? Отчего не дать совета бедному невежественному самане, пришедшему из леса, с шакалов?

— Посоветуй мне, Камала, куда мне идти, чтобы как можно скорее найти эти три вещи?

— Друг мой, это многие хотели бы знать. Ты должен делать то, чему научился, и требовать денег, платья и обуви в уплату. Иным путем денег не добыть. Итак, что же ты умеешь?

— Я умею размышлять. Умею ждать. Умею поститься.

— И это все?

— Это все. Впрочем, я еще умею сочинять стихи. Согласна ты дать мне поцелуй за стихи?

— Согласна, если они мне понравятся. Ну-ка, скажи!

Мгновенье подумав, он произнес:

В тенистую рощу свою вошла прекрасная Камала.
У входа же в рощу стоял самана — юноша смуглый.
Низко, лотса прекрасный завидев цветок,
Склонился последний, улыбкой его наградила Камала,
Чем жертвы богам приносить, самана юный подумал,
Приятней в сто крат поклоняться прекрасной Камале!

Камала громко захлопала в ладоши, так, что ее золотые браслеты зазвенели.

— Твои стихи прекрасны, смуглый самана.

И она взглядом привлекла его к себе. Склонив к ней свое лицо, он прижался губами к ее устам, походившим на свежевскрытую смокву. Поцелуй Камалы длился долго, и Сидхарта с изумлением почувствовал, как умно она учит его, как ловко управляет им, то отталкивая, то привлекая. И понял, что за этим первым поцелуем таится длинный ряд других, не похожих друг на друга, искусно рассчитанных и опробованных поцелуев, которые ему еще предстоит изведать. Он глубоко перевел дух, поражаясь, как дитя, той массе знания, которая раскрывалась перед ним.

— Твои стихи великолепны! — снова воскликнула Камала. — Будь я богата, я бы наградила тебя за них золотыми монетами. Но стихами трудно заработать столько денег, сколько тебе необходимо. Ведь понадобится много денег, если ты хочешь стать другом Камалы.

— Как ты умеешь целовать, Камала! — пробормотал Сиддхарта.

— О, да, это-то я умею. Оттого у меня и нет недостатка в платьях, обуви, браслетах и всяких прекрасных вещах. Но что будет с тобой? Неужели ты только и умеешь, что размышлять, поститься и сочинять стихи?

— Я умею также петь песни при жертвоприношениях, — сказал Сиддхарта, — но я не хочу больше их петь. Я знаю и волшебные заклинания, но не хочу больше их произносить. Я читал священные книги.

— Стой! — прервала Камала. — Ты умеешь читать? А писать?

— Конечно, умею. Многие это умеют.

— Большинство не умеют. И я не умею. Это хорошо, что ты умеешь читать и писать. Очень хорошо. И твои волшебные заклинания еще могут тебе пригодиться.

В эту минуту вбежала прислужница.

— Ко мне сейчас придут! — воскликнула Камала. — Уходи поскорей, Сиддхарта, никто не должен видеть тебя здесь — заметь себе это. Завтра мы свидимся снова.

Она приказала прислужнице дать благочестивому брамину белый плащ. Девушка привела его боковыми путями в садовую беседку, вручила верхнее платье и вывела в кустарник, с настоятельным напоминанием сейчас же выбраться из рощи.

Он послушно исполнил приказание, — бесшумно выбрался из рощи и перелез через ограду. Он вернулся в город, неся под мышкой свернутое платье. В заезжем доме, где останавливались приезжие, он стал у дверей, молча прося накормить его, и также молча принял кусок рисового пирога. Быть может, завтра, — подумал он, — я уже ни у кого не буду просить подаяния.

Внезапно в нем вспыхнула гордость. Он больше не был саманой, и ему больше не подобало просить милостыню. Он швырнул остаток пирога собаке.

— Как проста жизнь, которую ведут в мире! — подумал Сиддхарта. — Мне нужно добыть платье и денег, больше ничего. Такая маленькая, близкая, осуществимая цель...

На другой день он снова пошел к Камале.

— Дела идут отлично, — воскликнула она ему навстречу. — Тебя ждут у Камасвами — это богатейший купец в нашем городе. Если ты ему понравишься, он возьмет тебя к себе на службу. Веди себя умно, смуглый самана. Я устроила так, что ему о тебе рассказали другие. Будь с ним любезен, он обладает большим влиянием. Но и не скромничай слишком. Я не хочу, чтобы ты стал его слугой, ты должен быть с ним на равной ноге, иначе я разочаруюсь в тебе. Камасвами начинает стариться и хотел бы отдохнуть. Если ты придешься ему по нраву, он сделает тебя доверенным лицом.

Сиддхарта весело поблагодарил ее. Узнав, что он уже второй день ничего не ел, Камала приказала принести хлеба и плодов и угостила его.

— Тебе везет, — сказала она на прощание, — перед тобой раскрывается одна дверь за другой. Чем это объяснить? Ты обладаешь какими-нибудь чарами?

Сиддхарта ответил:

— Вчера я говорил тебе, что умею мыслить, ждать и поститься, а ты находила, что такие знания не могут приносить никакой пользы. А между тем они очень даже могут пригодиться, Камала, ты теперь сама увидишь это. Третьего дня я был еще растрепанным нищим, вчера я уже целовал Камалу, а скоро я стану купцом и буду обладать деньгами и всеми теми вещами, которым ты придаешь такую цену.

— Так-то оно так, — согласилась она. — Но что бы с тобой было без меня? Чем был бы ты, если бы я тебе не помогла?

— Милая Камала! — сказал Сиддхарта, выпрямляясь во весь рост, — когда я пришел к тебе, в твою рощу, я сделал первый шаг. Я принял тогда твердое намерение научиться любви у прекраснейшей из женщин. А с той минуты, как я возымел это намерение, я уже знал, что сумею его выполнить. Я знал, что ты мне поможешь — знал с твоего первого взгляда у входа в рощу.

— А если бы я не захотела?

— Но ведь ты захотела! Смотри, Камала: если ты бросаешь камень в воду, то он быстро, кратчайшим путем, идет ко дну. Так же точно поступаю я, когда ставлю себе какую-нибудь цель. Я не делаю ничего, я только жду, размышляю и пощусь, — и я прохожу сквозь все сущее в мире, как камень сквозь воду, ничего не делая для этого, не шевельнув пальцем. Я отдаю себя влекущей меня силе, я даю себе упасть. Моя цель сама по себе влечет меня, ибо

я не допускаю в свою душу ничего, что противодействовало бы этой цели. Вот чему я научился у саман! Глупцы называют это чарами и воображают, что эти чары приобретаются с помощью демонов. Но демоны тут ни при чем, да никаких демонов и нет. Всякий может колдовать, всякий может достигать своих целей, если он умеет мыслить, ждать и поститься.

Камала внимательно слушала его. Ее увлекал его голос, ее притягивал его взгляд.

— Может быть, оно так и есть, мой друг, — проговорила она. — А может быть, все дело в том, что ты просто красивый мужчина, и твой взгляд нравится женщинам. Поэтому счастье идет тебе навстречу.

Сиддхарта попрощался с ней поцелуем.

— Пусть будет так, моя наставница! Хотел бы я, чтобы мой взор всегда нравился тебе, чтобы ты всегда приносила мне счастье.

У людей-детей

Сиддхарта отправился к Камасвами, в указанный ему богатый дом. Проведя его через ряд комнат, украшенных драгоценными коврами, слуги доставили его в покой, где ему следовало дожидаться хозяина.

Вошел Камасвами. Это был подвижный, гибкий человек, с сильно поседевшими волосами, с очень умным, осторожным взглядом, с чувственным ртом. Хозяин и гость обменялись дружелюбными поклонами.

— Мне говорили, — начал купец, — что ты брамин, ученый, но желаешь поступить на службу к купцу. Ты, верно, впал в нужду, брамин, если ищешь службы?

— Нет, — сказал Сиддхарта, — я не впал в нужду и никогда нужды не знал. Я пришел от саман, с которыми прожил долгое время.

— Если ты пришел от саман, как же тебе не быть в нужде? Ведь саманы — люди неимущие.

— У меня действительно нет никакого имущества, если ты это имеешь в виду, — сказал Сиддхарта. — Но я неимущий по своей воле, и следовательно в нужде не нахожусь.

— Чем же ты рассчитываешь жить, если у тебя ничего нет?

— Об этом я никогда не думал, господин.

— Значит, ты жил на средства других.

— Пожалуй. Но ведь и купец живет на чужое добро.

— Отлично сказано. Однако купец берет у других их добро не даром — взамен он дает им свои товары.

— Так оно, видимо, и есть. Каждый берет, и каждый дает — такова жизнь.

— Позволь однако: если у тебя ничего нет, что же ты можешь дать?

— Каждый дает то, что у него есть. Воин — свою силу, купец — свой товар, учитель — свои знания, крестьянин — рис, рыбак — рыбу.

— А ты? Чему ты научился, что ты умеешь?

— Мыслить, ждать и поститься.

— Это все.

— Кажется, все.

— Какая же от этого польза? Умение поститься, например, — к чему оно?

— Оно может принести большую пользу, господин. Если человеку нечего есть, то самое разумное, что он может сделать, — поститься. Если бы я, например, не умел поститься, то вынужден был бы сегодня же согласиться на любую работу — у тебя ли, у другого: вынужден голодом. Теперь же я могу спокойно выжидать; мне чуждо нетерпение, у меня нет крайней необходимости. Я могу долго переносить голод, да еще и смеяться при этом. Вот какова польза, господин, от умения поститься.

— Ты прав, самана. Подожди минутку.

Камасвами вышел и, вернувшись со свитком, протянул его гостю со словами:

— Можешь ты это прочитать?

Сиддхарта заглянул в свиток, где был написан торговый договор, и начал читать написанное вслух, свободно и бегло.

— Превосходно! — сказал Камасвами. — Не напишешь ли мне чего-нибудь на этом листке?

Он дал ему листок и заостренную палочку для письма. Сиддхарта написал на листке несколько слов и вернул его хозяину.

Камасвами прочел: "Писать хорошо, мыслить — лучше. Ум хорош, терпение лучше".

— Отлично написано, — похвалил купец. — Нам предстоит о многом переговорить. А пока прошу тебя быть моим гостем и поселиться в моем доме.

Сиддхарта поблагодарил и принял приглашение. С того дня он начал жить в доме купца. Он получил в подарок хорошее платье и

обувь. Слуга ежедневно приготавливал ему ванну, и дважды в день его приглашали к трапезе, хотя ел он только один раз в день, причем отказывался от мяса и не пил вина. И все это время Камасвами рассказывал ему о своих делах, показывал свои склады и товары, посвящал в свои торговые расчеты. Много нового узнал Сиддхарта, — потому что много слушал и мало говорил. И помня совет Камалы, никогда не держал себя с купцом как подчиненный, а вынуждал обращаться с собой как с равным, и даже более, чем с равным. Разница между ними была лишь в том, что Камасвами занимался своими делами с усердием, часто даже со страстным увлечением, Сиддхарта же смотрел на дела, как на игру, стараясь как можно лучше изучить ее правила, но к самой игре оставаясь совершенно равнодушным.

В скором времени Сиддхарта стал и сам помогать хозяину в его торговле. Но ежедневно, в назначенный ею час, он посещал прекрасную Камалу. Скоро он стал носить ей и богатые подарки. Многому научили его ее алые, умные уста. Многое поведала ему ее нежная, гибкая рука. Еще новичок в любви, склонный слепо и ненасытно ринуться в наслаждение, как в бездонную бездну, он благодаря ей основательно усвоил правило, что нельзя получить наслаждение, не давая его самому, что каждый жест, каждая ласка, каждое прикосновение и взгляд, даже малейшее местечко на теле, имеет свою тайну, пробуждение которой доставляет сведущему особое счастье. Она научила его, что влюбленные после празднества любви не должны расходиться без проявлений обоюдного восторга, что каждый должен иметь в такой же степени вид побежденного, как и победителя, так чтобы ни у кого не могло возникнуть чувство пресыщения и пустоты или неприятное ощущение, что он злоупотребляет податливостью другого или сам был слишком податлив. Дивные часы проводил он у прекрасной и умной Камалы. Он стал ее учеником, ее возлюбленным, ее другом. В ней, в Камале, а не в торговых делах Камасвами, была вся ценность и смысл его теперешней жизни.

Меж тем купец поручил Сиддхарте писание важных писем и составление договоров и постепенно привык обсуждать с ним все самые важные дела. Он скоро заметил, что хотя Сиддхарта мало смыслит в рисе и шерсти, в мореплавании и торговле, зато у него счастливая рука и он превосходит его, купца, спокойствием и уравновешенностью, а также искусством слушать и распознавать людей. "Этот брамин, — сказал он однажды одному

из своих друзей, — конечно, не настоящий купец и никогда им не будет, он не в состоянии увлечься делами. Но он принадлежит к числу тех людей, которые владеют тайной успеха — оттого ли, что родился под счастливой звездой, оттого ли, что обладает какими-то чарами. А может быть, этой тайне он научился у саман. И в то же время дела для него — точно игра. Они не овладевают им целиком, не подчиняют его себе. Он никогда не боится неудачи, не огорчается потерей”.

Друг посоветовал купцу: “Дай ему долю во всех делах, которые он ведет для тебя. Пусть он получает третью часть барыша, но пусть в такой же степени участвует и в убытках. Тогда он будет иначе относиться к делам”.

Камасвами последовал этому совету. Но Сиддхарта по-прежнему оставался беззаботным. Если получал барыш, то равнодушно принимал его; если же терпел убыток, то смеялся и говорил: “Вот как! Значит не выгорело”.

Казалось и в самом деле, что он относится к делам совершенно безразлично. Однажды он поехал в какую-то деревню, чтобы закупить урожай риса. Выяснилось, что рис уже продан другому торговцу; тем не менее Сиддхарта остался в этой деревне на несколько дней, угощал крестьян, наделял детей медными монетами, побывал на местной свадьбе и вернулся домой, весьма довольный поездкой. Камасвами стал упрекать его, что он не вернулся сразу же и только напрасно потратил время и деньги. Но Сиддхарта заметил на это: “Перестань меня ругать, друг мой. Руганью никогда ничего не достигалось. Если я причинил тебе убыток, то беру его на себя. Но сам я очень доволен поездкой. Я познакомился с людьми, подружился с одним брамином; дети ездили верхом на моих коленях, крестьяне показывали мне свои поля, никто не принимал меня за торговца”.

— Все это прекрасно! — всердцах воскликнул Камасвами, — но ведь на самом деле ты торговец и есть. Или ты поехал только для своего удовольствия?

— Конечно, — засмеялся Сиддхарта, — конечно я поехал для своего удовольствия. А то для чего же? Я познакомился с новыми людьми и местами, наслаждался оказываемым мне расположением и доверием, приобрел друга. Посуди сам, милый. Будь ты на моем месте, то узнав, что покупка не может состояться, ты тотчас же с досадой поспешил бы домой, и тогда деньги и время действительно были бы потеряны даром. Я же провел несколько приятных

дней, кое-чему поучился, и ни себе, ни другому не повредил раздражением и поспешностью. А если когда-нибудь я снова поеду туда — для закупки ли нового урожая или для другой какой-нибудь цели, то приветливые люди встретят меня приветливо и весело, и я буду радоваться тому, что в прошлый раз не выказал досады и не поспешил уехать. И потому успокойся, друг, и не порть себе крови упреками. Если наступит день, когда ты убедишься, что Сиддхарта тебе приносит вред, то скажи лишь слово, и Сиддхарта уйдет. А пока — будем довольны друг другом!

Столь же напрасны были попытки купца убедить Сиддхарту, что он ест его, Камасвами, хлеб. Сиддхарта возражал, что хлеб он ест свой собственный — вернее, что оба они едят хлеб других людей, хлеб, принадлежащий всем. Ни разу Сиддхарта не выказывал особого сочувствия заботам Камасвами. А у того забот была тьма. Если какому-нибудь затеянному им делу грозила неудача, если возникали опасения, что отправленный товар пропал в дороге или какой-нибудь должник окажется несостоятельным — Камасвами никогда не удавалось убедить Сиддхарту, что горю можно помочь, если громко выражать свое огорчение или гнев, ходить с нахмуренным лбом и плохо спать по ночам. Когда однажды Камасвами поставил ему на вид, что он научил его своему делу, Сиддхарта ответил:

— Ты шутишь, и очень неудачно! От тебя я узнал, сколько стоит корзина с рыбой и сколько процентов можно потребовать за данные займы деньги. Вот и вся твоя наука! Мыслить я научился не у тебя, дорогой Камасвами, ты бы лучше постарался научиться этому у меня.

Несомненно, душа Сиддхарты не лежала к торговле. Он занимался делами лишь потому, что они доставляли ему деньги для Камалы. Они давали даже гораздо больше, чем ему требовалось. Вообще же его интерес возбуждали теперь те самые люди, чьи дела, занятия, заботы, увеселения и заблуждения были раньше чужды ему и далеки, как месяц на небе. И хотя он научился разговаривать и сходить с ними, узнавал от них новое, все же он ясно сознавал, что есть нечто, отделяющее его от других, и это нечто — его саманство. Он видел, какую ребяческую или чисто животную жизнь ведут люди, которых он одновременно и любил, и презирал. Он видел, как они хлопочут, страдают и седеют из-за вещей, которые, на его взгляд, совсем не стоили этого — из-за денег, маленьких удовольствий, мелких почестей. Он видел, как они упрекают и

поносят друг друга, как стонут от боли, которую самана переносит с улыбкой, как страдают от лишений, которых самана не чувствует.

Ко всем этим людям он относился с одинаковой приветливостью. Одинаково радушно принимал торговца, предлагавшего ему в продажу полотно, должника, просившего о новом займе, нищего, который добрый час рассказывал ему историю своей бедности, хотя и наполовину не был так беден, как любой самана. С богатым чужестранным купцом он держал себя так же, как со слугой, который брил его, или с уличным торговцем, которому позволял надувать себя на какую-нибудь мелочь при покупке бананов. Когда Камасвами приходил к нему с сетованиями на свои печали или упреками по поводу его способа ведения дел, он весело и с интересом выслушивал его, удивляясь и стараясь понять его, отчасти соглашался с ним, ровно настолько, сколько считал необходимым и отворачивался от него, чтобы перейти к очередному нуждавшемуся в нем посетителю. А к нему приходили многие — одни по торговым делам, другие, чтобы надуть его или что-нибудь выведать, третьи пытались вызвать его жалость, четвертые обращались к нему за советом. И он давал советы, проявлял жалость, дарил, давал немного надувать себя; и вся эта игра и та странность, с которой люди предаются этой игре, занимали его мысли в такой же степени, как раньше их занимали боги и учение браминов.

По временам он еще слышал в своей груди прежний внутренний голос — слабый, умирающий, звучавший жалобой и упреком, но так тихо-тихо, что его едва можно было расслышать. Тогда у него на миг являлось сознание, что он ведет странную жизнь, что все то, что он делает, — пустая игра, и хотя он чувствует себя недурно, весел, а подчас даже испытывает радость, но настоящая жизнь в сущности проходит мимо и его не задает. Как жонглер играет мячами, так он играл своими делами и окружающими людьми; он глядел на них, развлекался ими; но сердцем, тем, что составляло источник его существования, он не участвовал во всем этом. Подлинный источник протекал где-то далеко и невидимо для него, уходил все дальше, ничего общего не имея больше с его жизнью. Несколько раз эти мысли наводили на него ужас, и у него являлось сожаление, что и он не может искренне участвовать во всех этих ребяческих мелочах жизни, относиться к ним со страстным увлечением, являлось желание жить, работать, наслаждаться этой жизнью на самом деле, а не оставаться в ней простым зрителем.

Но каковы бы ни были его настроения, он всегда возвращался к прекрасной Камале, изучал искусство любви, предавался культуре наслаждения, при котором более, чем при чем бы то ни было ином, давать и получать становится неотделимым друг от друга; болтал с ней, учился у нее, давал ей и получал от нее советы. Она понимала его лучше, чем когда-то понимал его Говинда — у них было больше общего.

Однажды он заметил ей:

— Ты похожа на меня, ты не такова, как большинство людей. Ты — Камала, и только! — у тебя, как и у меня, внутри имеется тихое убежище, куда ты можешь уйти в любой час и чувствовать себя дома. Лишь немногие имеют это прибежище, а могли бы иметь все.

— Не все люди обладают умом, — сказала Камала.

— Нет, — возразил Сиддхарта, — не в уме тут дело. Камасвами так же умен, как я, и все же не имеет в самом себе этого прибежища. А иные, по уму совсем дети, имеют. Большинство людей, Камала, похожи на падающие листья; они носятся в воздухе, кружатся, но в конце концов, падают на землю. Другие же — немного их — словно звезды; они движутся по определенному пути, никакой ветер не заставит их свернуть с него; в себе самих они носят свой закон и свой путь. Из всех многочисленных ученых и саман, каких я знал, только один был из числа таких людей, один был Совершенный. Я никогда не забуду его. Это был Гаутама, Возвышенный, провозвестник известного тебе учения. Тысячи учеников слушают ежедневно его учение, следуют ежечасно его предписаниям, но все они, словно падающие листья, они не носят в самих себе это учение и закон.

Камала взглянула на него с улыбкой.

— Опять ты говоришь о нем, — заметила она, — опять у тебя мысли саманы.

Сиддхарта замолк, и они предались любовной игре — одной из тех тридцати или сорока игр, которые знала Камала. Тело ее было гибко, как тело ягуара, как лук охотника. Тому, кто учился любви у нее, раскрывались многие наслаждения, многие тайны. Долго играла она с Сиддхартой, то привлекая его, то отталкивая, то беря его силою, обволакивая целиком, то наслаждаясь его мастерством, пока он наконец не почувствовал себя побежденным и не почил в изнеможении рядом с ней.

Тогда Камала склонилась над ним, глядя в его утомленные глаза.

— Ты лучший из всех любовников, каких я когда-либо знала. — задумчиво сказала она. — Ты сильнее других, гибче, податливее. Ты хорошо изучил мое искусство, Сиддхарта. Со временем, когда я буду постарше, я хочу иметь от тебя ребенка. И все же, милый, ты остался саманой. Все же ты не любишь меня. Ты никого не любишь. Разве не так?

— Может быть, — устало ответил Сиддхарта. — Я — как ты. И ты ведь не любишь — иначе как могла бы ты предаваться любви, как искусству? Люди, подобные нам, вероятно, и не способны любить. А люди-дети способны: это их тайна.

Сансара

Долгое время вел Сиддхарта эту мирскую, полную наслаждений жизнь, не отдаваясь ей, однако, всецело. Его плоть, подавленная в годы пламенного аскетизма, проснулась; он изведal богатство, изведal сладострастие, изведal власть. И все же все это время он оставался в душе саманой, — как верно заметила Камала. Даже и теперь искусство мыслить, ждать и поститься играло главную роль в его жизни, даже и теперь люди, жившие в миру, люди-дети, оставались ему чуждыми, как он был чужд им.

Годы мчались; окутанный привольной жизнью, Сиддхарта едва замечал, как они уходили. Он разбогател, у него давно уже был собственный дом, слуги, парк за городом у реки. Люди любили его; они приходили к нему, когда им нужны были деньги или совет; но никто не был близок к нему, кроме Камалы.

То высокое светлое чувство пробуждения и напряженного ожидания, которое он испытал когда-то, в расцвете молодости, в дни, последовавшие за проповедью Гаутамы и разлукой с Говиндой, его тогдашнее гордое одиночество и независимость от всяких учений и учителей, его чуткость к божественному голосу в собственном сердце — все это оказалось преходящим и мало-помалу отходило в область воспоминаний. Далеко и чуть слышно шумел теперь священный родник, когда-то столь близкий, когда-то шумевший в нем самом. Правда, многое из того, чему он научился от саман, от Гаутамы, что он усвоил от своего отца — брамина, еще долгое время сохранялось в нем: он сохранил свою умеренность, свою любовь к мышлению, часы самопогружения, тайное знание о себе,

о вечном Я, которое не есть ни тело, ни сознание. Многое из всего этого осталось в нем, но одно за другим опускалось в глубину и покрывалось пылью. Подобно тому, как гончарный круг, раз приведенный в движение, долго сохраняет сообщенную ему скорость и только медленно, понемногу замедляет свое вращение, пока не остановится совсем, так и в душе Сиддхарты еще долго продолжало вертеться колесо аскетизма, колесо мышления, колесо распознавания. Оно и теперь еще вертелось, но медленно, с колебаниями и — того и гляди — должно было остановиться совсем. Подобно тому, как проникает сырость в умирающий древесный пень, медленно наполняя его и вызывая гниение, так все мирское понемногу проникало в душу Сиддхарты, заполняя ее, вызывая чувства тяжести и усталости, усыпляя. Зато желания в нем пробудились, и в этом отношении он многому научился, многое испытал.

Сиддхарта научился торговать, пользоваться властью над людьми, искать наслаждения у женщин. Он научился носить прекрасное платье, приказывать слугам, купаться в благовонной воде. Научился кушать тонкие и хорошо приготовленные блюда, в том числе рыбу, мясо животных и птиц, пряности и сладости, и пить вино, порождающее лень и забвение. Научился играть в кости и в шахматы, смотреть на пляски танцовщиц, пользоваться носилками, спать в мягкой постели. Но при всем том он все еще чувствовал себя отличным от других людей, стоящим выше их; все еще глядел на них с легкой насмешкой, с некоторым презрением, тем самым презрением, какое аскет-самана всегда питает по отношению к мирянам. Когда Камасвами бывал нездоров и раздражителен, когда он чувствовал себя каким-то обиженным, когда его осаждали деловые заботы, Сиддхарта относился к этому с неизменной насмешкой. Но медленно и незаметно, по мере того, как сменялись и уходили периоды дождей и жатвы, его насмешки становились бледнее, а чувство превосходства слабее. Понемногу, среди своего возрастающего богатства, Сиддхарта сам усвоил некоторые черты, присущие людям-детям. И все же он завидовал им, завидовал тем сильнее, чем более сам начинал походить на них. Он завидовал им в одном — в той важности, какую они приписывали всем своим переживаниям, в страстности их радостей и тревог, в робком, но сладком счастье их вечной влюбленности. В себя ли самих, в женщин или в своих детей, в почести или в деньги, в планы или надежды, — но влюблены эти люди бывали всегда. Но как раз этого он не перенял у них — именно этому, их детской жизни,

радостности и детскому безрассудству он не научился, а перенял как раз те неприятные черты, которые презирал. Все чаще случалось, что на другое утро после проведенного в обществе вечера он долго оставался в постели, чувствуя какую-то подавленность и усталость. Случалось, что он раздражался и выказывал нетерпение, когда Камасвами надоедал ему своими вечными опасениями. Случалось, что он слишком громко смеялся, когда ему не везло в игре в кости. Его лицо было все еще более умным и одухотворенным, чем у других людей; но улыбка на нем появлялась реже, и мало-помалу на нем запечатлевалось то выражение, какое так часто встречаешь на лицах богатых людей — недовольства, болезненности, брюзгливости, вялости, бессердечия. Понемногу душевная болезнь богачей овладевала и Сиддхартой.

Как тонкая фата, как легкий туман, спускалась на Сиддхарту усталость — исподволь, но с каждым днем становясь немного гуще, с каждым месяцем немного мрачнее, с каждым годом немного тяжелее. Подобно тому, как новое платье с течением времени теряет свой красивый цвет, покрывается пятнами, расползается на швах, а здесь и там ткань протирается и готова порваться, так и новая жизнь, которая началась для Сиддхарты после разлуки с Говиндой, с годами потеряла цвет и блеск, так и на ней накоплялись пятна и складки, и — пока еще скрытые в глубине, но здесь и там уже безобразно проглядывая наружу, — подстерегали его разочарование и отвращение. Сиддхарта этого не замечал. Он заметил только, что тот ясный и уверенный внутренний голос, который когда-то проснулся в нем, теперь окончательно замолк.

Мир заполонил его — наслаждение, чувственность, лень, а под конец и тот порок, который он всегда считал самым нелепым и к которому относился с наибольшим презрением и насмешкой — алчность. В конце концов, и собственность, обладание, богатство также заполонили его — все это перестало быть для него игрой, мелочами, стало цепями и бременем. Станным и коварным путем Сиддхарта попал в эту последнюю и гнуснейшую зависимость — благодаря игре в кости. С тех пор, как он перестал в душе быть саманой, игра на деньги и драгоценности, которой он раньше предавался с улыбкой и небрежно, как одному из принятых у людей-детей развлечений, мало-помалу стала для него настоящей страстью, захватывавшей его все сильнее. Он стал отчаянным игроком, с которым лишь немногие решались вступать в состязание — так велики и безрассудны были его ставки. Он играл, как человек, желающий за-

глушить муку своего сердца — и проигрыши доставляли ему какую-то злобную радость. Ничем иным он не мог резче и язвительнее проявить свое презрение к богатству. Сам себя ненавидя, сам над собой насмехаясь, он рисковал огромными ставками, безжалостно обыгрывал других и сам проигрывал огромные суммы, проигрывал деньги, драгоценности, проиграл загородный дом, снова выиграл его, снова проиграл. Постепенно это тревожное, сжимающее грудь чувство, которое он испытывал в момент бросания костей при крупной игре, стало ему дорого — он старался снова и снова вызвать его в себе, усилить, разжечь сильнее, ибо только в этих ощущениях он находил еще своего рода счастье, какое-то опьянение сытой, бесцветной, тусклой жизни. А после каждого крупного проигрыша приходилось добывать новые богатства, еще усерднее заниматься торговлей, строже взыскивать с должников, чтобы иметь возможность продолжать игру, снова швырять деньгами, снова выказывать свое презрение к богатству. Сиддхарта утратил спокойствие духа при проигрышах, потерял терпение в разговорах с неисправными должниками, утратил добродушие по отношению к нищим, перестал находить удовольствие в раздаче денег обращавшимся к нему просителям. Тот самый Сиддхарта, который мог за один раз проиграть десятки тысяч и при этом смеяться, теперь становился прижимистым и мелочным, даже по ночам ему часто снились деньги. А когда ему удавалось очнуться, когда он замечал в зеркале на стене спальни свое постаревшее и подурневшее лицо, когда на него нападали стыд и отвращение, он пытался бежать от себя, снова бросаясь в азартную игру, в сладострастия и вина. И в этом бессмысленном круговороте проходили дни, месяцы и годы.

Но наступил день, когда он очнулся, и случилось это под влиянием одного сновидения. Вечером того дня он был у Камалы, в ее прекрасном парке. Они сидели под деревьями и беседовали. Камала была настроена задумчиво, и в словах ее слышались грусть и усталость. Она просила Сиддхарту рассказать ей о Гаутаме и не могла досыта наслушаться о том, как чист был его взгляд, как тихи и прекрасны были его уста, какой добротой дышала его улыбка, каким спокойствием веяло от его поступи. Долго, побуждаемый ею, рассказывал он о Возвышенном, и наконец Камала проговорила: "Когда-нибудь и может быть скоро, и я последую за этим Буддой. Я подарю ему свой парк и сделаю своим прибежищем его учение". Вслед за тем она снова стала заигрывать с Сиддхартой, разожгла его чувственность и в любовной игре с мучительной страст-

ностью приковала к себе, — со слезами и жгучими ласками, словно на прощание хотела выжать из этого преходящего плотского наслаждения последнюю каплю сладости. Никогда еще Сиддхарта не сознавал с такой ясностью, до какой степени сладострастие родственно смерти. Потом он лежал рядом с Камалой, видел совсем близко от себя ее лицо и ясно, как никогда, читал под ее глазами и в уголках губ жестокие письма, начертанные тонкими линиями и легкими морщинками — письма, напоминавшие об осени и о старости. Да и сам он всего лишь на четвертом десятке, уже не раз замечал седину в своих черных волосах. Усталость читалась на прекрасном лице Камалы — усталость длинного пути без радостной цели, начинающееся увядание и скрытая, не высказываемая, быть может, еще даже не сознаваемая тревога: страх перед старостью, перед осенью, страх перед неизбежной смертью. Сиддхарта со вздохом попрощался с ней — и душа его была полна тоски и невысказанной тревоги.

Потом, у себя дома, Сиддхарта провел вечер в веселой компании, в обществе танцовщиц, причем держал себя по отношению к своим приятелям с видом превосходства, которое на самом деле уже ничем не оправдывалось, выпил много вина и лишь далеко за полночь удалился на покой, усталый и вместе с тем возбужденный, близкий к слезам и отчаянию. Долго и тщетно искал он сна; сердце его ныло от невыносимой тоски, и весь он был преисполнен отвращения и тошноты. Его тошнило от тепловатого противного вкуса вина, от слащавой бессмысленной музыки, от полных неги улыбок танцовщиц, от приторного аромата их волос и грудей. Но еще большее отвращение он чувствовал к самому себе, к своим благоухающим волосам, к винному запаху своего рта, к вялости и дряблости своей кожи. Подобно тому, как человек, слишком много съевший и выпивший, может освободиться от излишка лишь рвотой и, несмотря на мучительность этого средства, жаждет получить от него облегчение, так и Сиддхарта, измученный бессонницей, в невыносимом приступе отвращения, жаждал освободиться от этих привычек и наслаждений, от всей этой бессмысленной жизни, от самого себя, наконец. Только на рассвете, когда на улице, где стоял его городской дом, уже начала пробуждаться деловая жизнь, он на несколько минут впал в забытие. И в эти-то минуты ему приснился сон.

У Камалы в золотой клетке жила редкостная певчая птичка. И вот Сиддхарте приснилось, что птичка, всегда распевавшая на заре,

внезапно замолкла. Удивленный этим, он подошел к клетке и увидел, что птичка мертва и лежит, окоченелая, на полу. Он вынул ее из клетки, с минуту подержал в руке и выбросил. Но в ту же минуту страшно испугался — сердце его сжалось от боли, точно вместе с этой мертвой птичкой он отбросил от себя все ценное и хорошее.

Очнувшись, он почувствовал себя объатым глубокой печалью. Бестолково и нелепо, — думалось ему, — он провел свою жизнь: ничего живого, ничего хоть сколько-нибудь ценного, ничего такого, что стоило бы сохранить, не осталось у него. Одиноким и нищим был он, словно выброшенный на берег после кораблекрушения.

В самом мрачном настроении он отправился в принадлежавший ему парк, запер за собой ворота и сел под манговым деревом. Со смертельной тоской в сердце, с ужасом в груди сидел он, чувствуя, как что-то в нем умирает, увядает, близится к концу. Понемногу он пришел в себя и начал мысленно еще раз припоминать свой жизненный путь. Чувствовал ли он когда-нибудь счастье, испытывал ли когда-нибудь истинную радость? О, да, много раз он испытывал нечто подобное. Мальчиком, когда ему удавалось заслужить похвалы браминов за чтение наизусть священных стихов, когда он отличался в словесных состязаниях с учеными или в качестве помощника жреца при жертвоприношениях, он чувствовал в своем сердце: “Вот путь, к которому ты призван — тебя ждут боги”. Потом, юношей, когда он ставил перед собой все более и более высокую цель, что выдвигало его над толпой товарищей, когда он в муках силился познать Брахму, когда каждое вновь приобретенное знание возбуждало в нем лишь новую жажду — тогда, несмотря на жажду, на муки, он чувствовал то же самое: “Вперед! Вперед! Ты призван!” Тот же голос звучал в нем, когда он покидал свою родину и избирал жизнь саманы, когда уходил от саман к Совершенному, когда и от него уходил в Неизвестное. Но как давно уже он не слышал этого голоса! Как ровно и пустынно стлался его путь и как много долгих лет он шел по этому пути, без всякой цели, без жажды, без восхождений, довольствуясь маленькими радостями! Все эти годы он, сам того не сознавая, мечтал стать таким же, как все остальные, как все эти люди-дети, и при этом его жизнь была даже беднее и бессодержательнее, чем их жизнь, — ибо их цели, их забота его в действительности не занимали. Ведь весь этот мир людей был для него лишь игрой, комедией, зрелищем, в котором сам он участвовал лишь в качестве зрителя. Только Камала была ему

по-настоящему дорога. Но дорожит ли он ею и сейчас? Нужна ли она ему, а он ей, и теперь? Не представляют ли их отношения все ту же бесконечную игру? И стоит ли жить для этого? Нет, не стоит! Эта игра своего рода "сансара", — игра для детей, в такую игру можно, пожалуй, с удовольствием сыграть раз, другой, десять раз, но играть в нее вечно, без конца?

И тут он внезапно почувствовал, что эта игра кончена, что больше он не в состоянии продолжать ее. Дрожь пробежала по его телу, — и он ощутил, что внутри у него что-то умерло.

Весь тот день он просидел под манговым деревом, вспоминая отца, Говинду, Гаутаму. Неужели он покинул их всех лишь для того, чтобы стать каким-нибудь Камасвами? Наступила ночь, а он все еще сидел под манговым деревом. Когда, подняв глаза, он увидел первые звезды, то подумал: "А ведь я сижу под своим манговым деревом, в своем парке". Он слегка усмехнулся. Не было ли и это нелепой игрой, это обладание манговым деревом, обладание собственным парком?

Да, с этим тоже было покончено; это тоже умерло в нем. Поднявшись, он оглянулся, прощаясь с манговым деревом, прощаясь с парком. Проведя целый день без пищи, он вдруг почувствовал сильнейший голод, вспомнил о своем городском доме, о комнате и постели, о столе, уставленном явствами, но лишь улыбнулся усталой улыбкой, встряхнулся и простился со всеми этими вещами.

В ту же ночь он оставил свой сад и покинул город, чтобы никогда больше в него не возвращаться. Камасвами еще долго разыскивал его, полагая, что он попал в руки разбойников. Но Камала — та не предпринимала никаких поисков. Узнав, что Сиддхарта исчез, она даже не удивилась. Она всегда предчувствовала это. Ведь он, как был, так и остался бездомным странником. И, несмотря на горе утраты, она радовалась тому, что в тот последний раз так горячо прижимала его к сердцу, так полно чувствовала, что всецело принадлежит ему, что вся проникнута им.

Получив первое известие об исчезновении Сиддхарты, она подошла к окну, где в золотой клетке жила ее певчая птичка. Она открыла клетку, вынула певунью, выпустила ее на волю и долго смотрела ей вслед. С того дня она больше не принимала посетителей. А некоторое время спустя она почувствовала, что последнее свидание с Сиддхартой сделало ее матерью.

Сиддхарта в ту пору был уже далеко. Он шел лесами, все дальше и дальше, и с каждым днем в нем росло понимание, что он не может больше вернуться назад, что жизнь, которую он вел в течение стольких лет, кончилась навсегда — он изведал ее и пресытился ею до тошноты. Птичка, которую он видел во сне, умерла, что-то умерло в его собственном сердце. Он слишком запутался в "сансаре", со всех сторон впитывая отвращение и смерть, как губка впитывает воду — до полного насыщения. И теперь в нем уже не оставалось ничего, кроме этого предельного отвращения ко всему — ничто на свете уже не могло его прельстить, порадовать или утешить. Одно только страстное желание еще жило в нем — не думать больше о себе, успокоиться, умереть. Хоть бы гром грянул с неба и поразил его! Хоть бы тигр набросился на него! Достать бы какое-нибудь вино или яд, который приводит в бесчувственное состояние, приносит забвение и сон, но сон без пробуждения! Не было такой грязи, которой бы он себя не загрязнил, такого греха и безумия, какого бы он не совершил, такой душевной муки, какую бы он не приуготовил себе. Можно ли после этого жить? Можно ли по-прежнему дышать, чувствовать голод, есть, спать с женщиной? Неужели это бессмысленное круговращение жизни еще не закончилось для него?

Дорога меж тем привела его к той самой реке, через которую некогда, еще будучи молодым, он переправлялся на лодке перевозчика. Выйдя к реке, он нерешительно остановился. Усталость и голод одолевали его. Да и к чему идти дальше, куда, для какой цели? Нет, он больше ни к чему не стремится, он ощущает единственное, глубокое, мучительно-страстное желание — стряхнуть с себя прежний кошмар, выплюнуть выдохшееся вино, положить конец своей жалкой и позорной жизни.

У самого берега, склонившись над водой, росло старое кокосовое дерево. Сиддхарта оперся о дерево плечом, обхватил рукой ствол и загляделся в зеленые воды, безостановочно катившиеся вниз. Он глядел и глядел, и его все сильнее охватывало желание оторваться от своей опоры и беззвучно кануть в воду. Страшная пустота глядела на него из реки и такая же пустота отвечала ей в его душе. Да, он дошел до последнего предела. Ему оставалось лишь вычеркнуть себя из жизни, разбить ее неудавшуюся форму, кинуть ее под ноги издавающимся богам. Умереть, разбить форму,

которую он ненавидел... Пусть он достанется на съедение рыбам, этот пес Сиддхарта, этот безумный, пусть пожирают рыбы его мерзкое, прогнившее тело, его одряхлевшую от излишеств душу! Пусть пожирают его рыбы и крокодилы! Пусть терзают его демоны!..

С искаженным лицом поглядел он в воду и увидев там свое отражение, плюнул в него. Потом оторвал руку от ствола и слегка повернулся, чтобы прямо, во весь рост упасть в воду. Закрыв глаза, он приготовился броситься навстречу смерти.

И в этот миг из каких-то отдаленных тайников его души вырвался звук. Одно лишь слово, один-единственный слог, древнее заклинание всех браминских молитв, — священное "Ом", которое он пробормотал совершенно бессознательно про себя. И в тот самый миг, когда звук этого слова коснулся его слуха, его заснувший ум внезапно пробудился. Вся нелепость его поведения внезапно предстала перед ним. Он ужаснулся. Так вот до чего он дошел! Вот как он сбился с пути, вот до какой степени позабыл все, когда-то познанное! Как мог он искать смерти? Как могло в нем вырасти такое ребяческое желание — найти успокоение путем уничтожения тела? И внезапно то, к чему не привели все муки, все отрезвление, все отчаяние последнего времени, — само пришло к нему — в ту самую минуту, когда слово "Ом" проникло в его сознание. Он очнулся, перед ним блеснул выход из того жалкого положения, того лабиринта, в котором он блуждал.

— Ом! — прошептал он снова. — Ом!

И он вспомнил все то божественное, что успел позабыть.

Все это длилось один лишь миг, сверкнуло и исчезло, как молния. Сиддхарта опустился на землю у подошвы кокосового дерева. Сраженный усталостью, со словом "Ом" на устах, он положил голову на корни дерева и погрузился в сон.

Глубок был его сон и без всяких сновидений. Давно уже не знал он такого. Когда несколько часов спустя он проснулся, то ему показалось, что он проспал целые годы. Он слышал тихие всплески воды, но не мог дать себе отчета, что это за место и кто привел его сюда. Открыв глаза, он с удивлением увидел над собой деревья и небо и вспомнил, где он и как сюда попал. Но вспомнил не сразу. В течение некоторого времени прошедшее было как бы окутано дымкой, почему-то казалось бесконечно далеким, бесконечно различным. Он осознавал только, что с прежней жизнью (в первые минуты проснувшегося сознания эта прежняя жизнь показалась ему одним из старых, давно уже пережитых воплощений, одним из

прежних существований его теперешнего “Я”), что с прежней жизнью он покончил, что, полный отвращения и горя, он даже хотел положить конец самой жизни, но у какой-то реки, под кокосовым деревом, пришел в себя, со священным словом Ом на устах, заснул и теперь проснулся новым человеком. Тихо проговорил он снова это слово, с которым заснул, и ему показалось, что весь его продолжительный сон был не чем иным, как только длительным, сосредоточенным выговариванием — вслух и мысленно — слова Ом, погружением и полнейшим растворением в этом Ом, обозначавшем безымянное Совершенство.

Какой, однако, это был чудесный сон! Никогда после сна он не чувствовал себя до такой степени свежим, обновленным, помолодевшим. Может быть, он и в самом деле умер и родился вновь, в новой телесной оболочке? Да нет, он узнавал свою руку, свои ноги, узнавал место, где лежал, узнавал это Я в своей груди, этого Сиддхарта, своенравного, странного. Но этот Сиддхарта все же как-то переменялся, обновился; этот Сиддхарта чувствовал себя паразитически бодрым, радостным и полным интереса ко всему.

Он приподнялся и тут только увидел чужого человека, монаха в желтом одеянии, с обритой головой, сидевшего против него в позе созерцания. Он внимательно поглядел на него и вдруг узнал в этом монахе Говинду, друга своей юности, ставшего учеником Возвышенного Будды. Говинда постарел, но лицо его сохранило прежнее выражение усердия, верности, искания, нерешительности. Почувствовав его взгляд, Говинда открыл глаза, и Сиддхарта понял, что он его не узнал.

— Я спал, — сказал Сиддхарта. — Как же ты попал сюда?

— Да, ты спал, — ответил Говинда. — Не хорошо спать в тех местах, где водятся змеи и куда приходят лесные звери. А я, господин, ученик Возвышенного Гаутамы Будды, Сакия Муни, и проходил по этой дороге с толпой других монахов, когда увидел тебя лежащим в этом опасном месте. Я пытался разбудить тебя, господин, но понял, что сон твой очень глубок, и решил остаться при тебе. А потом, по-видимому, я и сам заснул, несмотря на то, что намерен был охранять твой сон. Плохо же я исполнил свою обязанность! Но теперь, раз ты проснулся, позволь мне уйти, чтобы я мог догнать своих братьев.

— Благодарю тебя, самана, за то, что ты охранял мой сон, — сказал Сиддхарта. — Благожелательные люди — ученики Возвышенного! Теперь, конечно, ты можешь уходить.

— Иду, господин. Желаю тебе доброго здоровья.

— Спасибо тебе, самана.

Говинда сделал знак прощания и проговорил:

— Прощай!

— Прощай, Говинда! — сказал в ответ Сиддхарта.

Монах замер.

— Позволь, господин, узнать — откуда тебе известно мое имя?

Сиддхарта улыбнулся:

— Я знаю тебя, Говинда, знаю с того времени, когда ты еще жил в хижине своего отца, когда мы посещали вместе школу браминов, знаю со времени наших жертвоприношений и ухода к саманам до того часа, когда в роце Джетавана ты примкнул к ученикам Возвышенного.

— Ты Сиддхарта! — громко воскликнул Говинда. — Теперь я узнаю тебя! Как я не узнал тебя тотчас же? Приветствую тебя, Сиддхарта. Велика моя радость, что я снова вижу тебя.

— И я рад встрече с тобой. Ты охранял меня во время сна, и я еще раз благодарю тебя за это, хотя и не нуждался в охране. Куда ты направляешься, друг?

— Никуда. Мы, монахи, просто странствуем, пока не наступит время дождей. Мы постоянно переходим с места на место, живем по уставу, возвещаем учение, собираем подаяния и идем дальше. Так мы живем. Но ты, Сиддхарта, куда идешь ты?

— Я, как и ты, друг мой, никуда не стремлюсь, — ответил Сиддхарта. — Я иду, куда глаза глядят. Я странствую.

— Ты говоришь, что странствуешь, — сказал Говинда. — И я верю тебе. Но прости, Сиддхарта, ты не похож на странника. На тебе платье богача, на тебе обувь знатного, и твои волосы, пахнущие ароматом благовонной воды, не могут быть волосами странника; таких волос не бывает у саманы.

— Верно дорогой. Ты наблюдателен. Но ведь я и не говорил тебе, что я самана. Я сказал лишь, что странствую. Так оно и есть: я странствую. А что касается моей обуви и одежды, то вспомни, милый: все преходяще в этом мире — преходящи, в высшей степени преходящи наши одеяния, укладка наших волос, преходящи самые волосы и тело наше. Я ношу платье богача — это ты верно заметил. Ношу потому, что сам был богачом; и причесан я, как люди, преданные наслаждениям, ибо сам был одним из них.

— А теперь, Сиддхарта, кто ты теперь?

— Не знаю, так же не знаю, как и ты. Я был богачом, а теперь перестал им быть. А чем стану завтра — не знаю.

— Ты потерял свое богатство?

— Я потерял его, или вернее — богатство потеряло меня. У меня больше нет состояния. Быстро вращается колесо перерождений, Говинда. Где сегодня Сиддхарта-брамин? Где Сиддхарта-саман? Где Сиддхарта-богач? Быстро меняется все преходящее — ты знаешь это, Говинда.

Долго глядел Говинда на друга молодости, и глубокое сомнение было в его взгляде. Потом поклонился, как кланяются знатым, и пошел своей дорогой.

С улыбкой на лице глядел ему вслед Сиддхарта. Он все еще любил его, этого верного, нерешительного, старого друга. Да и мог ли он в эту минуту, в этот чудный час после своего удивительного сна, весь проникнутый "Ом", не любить кого и что бы то ни было? В том-то именно и состояла волшебная перемена, совершившаяся в нем во время сна и благодаря слову Ом, что он любил теперь все, что он преисполнен был радостной любви ко всему, что видел. И в том-то именно — казалось ему теперь — и состояла его прежняя болезнь, что раньше он никого и ничего не мог любить.

С улыбкой на лице глядел Сиддхарта вслед уходящему монаху. Сон подкрепил его, зато голод терзал теперь сильнейшим образом — ведь он уже два дня ничего не ел, а то время, когда он был нечувствителен к голоду, давно прошло. С болью, но вместе и с улыбкой, он вспомнил о том времени. Тогда — припомнилось ему — он похвалялся перед Камалой тремя вещами, тремя благородными, все побеждающими искусствами: поститься, ждать, мыслить. То было его богатство, могущество и сила, его твердая опора. В годы молодости он изучил эти три искусства. А потом утратил их. И ради каких презренных вещей он пожертвовал ими! — ради того, что является самым преходящим — ради чувственных наслаждений, ради привольной жизни, ради богатства. Странно, в самом деле, сложилась его жизнь. Как будто он стал таким же, как все люди — как люди-дети.

Сидя под деревом он продолжал размышлять о своей судьбе. Не легко давалось ему теперь мышление; ему, в сущности, не хотелось думать; он принуждал себя к этому.

— Теперь, — размышлял он, — когда все преходящие вещи ускользнули от меня, я снова стою в мире, как стоял когда-то, ребенком — ничего не смея назвать своим, ничего не умея, ничего

не зная, ничему не научившись. Как странно! Теперь, когда молодость прошла, когда мои волосы наполовину поседели, когда убывают силы — именно теперь я, как ребенок; начинаю все сызнова. — Он снова улыбнулся. Да, странная судьба! Жизнь уже на ущербе, а он снова остался с пустыми руками. Но никакого огорчения от этого он не чувствовал — его даже смех разбирал — ему хотелось хохотать над собой, над этим странным нелепым миром!

— Твоя жизнь идет под гору, — сказал он самому себе и рассмеялся. Но тут взгляд его упал на реку, и он подумал, что ведь и река всегда течет вниз, под гору, а все же шумит и поет так весело. Он ласково улыбнулся реке. Это была та самая река, в которой он хотел утопиться — когда-то... лет сто тому назад... Или это ему только приснилось?

— Странно, в самом деле, сложилась моя жизнь, — думал он, — странными она шла зигзагами. Мальчиком я имел дело только с богами и жертвоприношениями. Юношей я предавался только аскетизму, мышлению и самопогружению, искал Брахму, почитал вечное в Атмане. Молодым человеком последовал за монахами, жил в лесу, претерпевал зной и холод, учился голодать, умерщвлять свою плоть. Потом учение великого Будды озарило меня дивным светом. Я почувствовал, как мысль о единстве мира обращается в моих жилах, точно моя собственная кровь. Но и от Будды, от его великого знания меня потянуло прочь. Я ушел и изучал у Камалы искусство любви, у Камасвами — торговлю; накоплял богатства, транжирил деньги, научился баловать свою утробу, угождать своим страстям. Много лет потерял я на то, чтобы растратить ум, разучиться мыслить, забыть единство, и не похоже ли на то, что теперь медленно, кружными путями, я вернулся к детству? Из мыслящего человека стал взрослым ребенком? И все же путь этот был хорош. Все же птичка в моей груди, оказывается, не умерла. Но что за путь, в самом деле? Через сколько глупостей, пороков, заблуждений пришлось мне пройти, сколько мерзкого, сколько разочарований и горя пришлось пережить, — и все лишь для того, чтобы начать все сызнова! Но ведь так и должно было быть. Я должен был впасть в отчаяние, должен был докатиться до безумнейшей из всех мыслей — до мысли о самоубийстве, — чтобы снова быть в состоянии принять благодать, чтобы снова услышать слово слов — Ом, чтобы снова спать и пробуждаться по-настоящему. Я должен был стать глупцом, чтобы вновь обрести в себе Атмана. Должен был грешить, чтобы начать жить сызнова. Куда же еще приведет меня

этот путь? Он нелеп, он идет зигзагами, он, быть может, даже ходит по кругу — но пусть. Я пойду по нему до конца.

Удивительно радостное чувство волновало его грудь.

— Откуда, — спрашивал он свое сердце, — откуда во мне это веселье? Уж не от долгого ли хорошего сна? Или от слова Ом, произнесенного в беспомысленности мною? А, может, оттого, что я бежал, что я, наконец, свободен и стою под небом, как дитя? О, как славно, что я бежал, что я освободился! Как чист и прекрасен воздух, как легко дышится им! Там, откуда я бежал, все пахло притираниями, пряностями, вином, изобилием, ленью. Как я ненавидел этот мир богачей, распутников, игроков! Как я ненавидел самого себя за то, что так долго оставался в этом ужасном мире! Сколько зла я сам себе причинил, как ограблял, отравлял, терзал, как состарил себя, каким стал злым! Но одно я сделал хорошо, за одно я могу похвалить себя — за то, что перестал ненавидеть и причинять зло самому себе, что покончил с той безумной и пустой жизнью. Хвала тебе, Сиддхарта — после стольких лет, проведенных самым безрассудным образом, ты снова наконец совершил нечто дельное — услышал пение птички в своей груди и последовал ее голосу!

Так он хвалил себя, радуясь своему поступку, и с любопытством прислушивался к своему желудку, ворчавшему от голода. Порядочная доля страдания и муки — чувствовал он — изжита им теперь до конца. Прежняя жизнь едва не довела его до смерти. Но теперь все обстоит отлично. Он мог бы еще долго оставаться у Камасвами, наживать деньги, расточать их, ублажать свое тело и давать душе погибать от жажды. Еще долго мог бы он прожить в этом покойном, в этом мягко высланном аду, не случись того, что случилось: не настань тот миг полнейшей безнадежности и отчаяния, тот страшный миг, когда он висел над рекой и готов был уничтожить себя. Но он преодолел это отчаяние и все-таки не поддавался ему, внутренний голос снова ожил в нем — вот что так радовало его теперь, вот чему он улыбался, вот отчего так сияло его лицо под поседевшими волосами!

— Как хорошо изведать самому все, что надо знать, — думал он. — Что мирские удовольствия и богатства не к добру — это я знал уже ребенком. Но теперь я знаю это не по наслышке, я убедился в этом собственными глазами, собственным сердцем, собственным желудком. Какое благо, что теперь я это знаю!

Долго еще размышлял он о совершившейся в нем перемене, прислушиваясь к радостно распевавшей в нем птичке. Но разве она не

умерла в нем, разве он не чувствовал ее смерти? Нет, то было что-то другое, нечто такое, что уже давно жаждало умереть. Уж не то ли самое, что он когда-то, в годы своего пламенного подвижничества, хотел в себе убить? Уж не его ли Я, то маленькое, тревожное и гордое Я, с которым он столько лет боролся и которое каждый раз заново одерживало над ним победу? То самое Я, которое после каждой попытки умерщвления снова оживало, запрещало чувствовать радость, испытывало страх? Уж не оно ли наконец умерло сегодня, вот здесь, в лесу, у этой прелестной реки? И не потому ли, что оно умерло, он чувствовал себя сегодня, как дитя, был так полон доверия, радости, так чужд страха?

Только теперь стал Сиддхарта догадываться, почему, будучи брамином и подвижником, он тщетно боролся с этим Я. В этой борьбе его чрезмерное самоистязание и усердие были только помехой. Он был тогда полон высокомерия — ведь он всегда был самый умный, самый старательный. всегда на шаг впереди всех, в нем всегда преобладало духовное начало, всегда чувствовался священник или мудрец. В это-то священничество, в это-то высокомерие и духовность и заползло его Я, там оно цепко засело и потихоньку росло, пока он воображал, что умерщвляет его постом и покаянием. Прав был тот внутренний голос, который говорил ему, что никакой учитель не приведет к искуплению. Оттого-то он и должен был уйти в мир, расточать свои силы на наслаждения и власть, на женщин и деньги, должен был стать торгашом, игроком в кости, пьяницей и корыстолюбцем, пока не умрет в нем священник и монах. Оттого-то он и должен был годами влачить это безобразное существование, с омерзением выносить пустоту и бессмысленность загубленной жизни, выносить до конца, до горького отчаяния, пока не умер в нем Сиддхарта-кутила, Сиддхарта-корыстолюбец. И он умер наконец! Теперь в нем проснулся новый Сиддхарта, но и этот Сиддхарта в свою очередь состарится, и этот когда-нибудь должен будет умереть. Бренным созданием был Сиддхарта, бренными были все создания в мире. Но сегодня этот новый Сиддхарта был молод, сегодня он был, как дитя, сегодня он полон был радости.

Такие мысли проносились в голове Сиддхарты, в то самое время, как сам он с улыбкой прислушивался к недовольству своего желудка. Весело глядел он на катящуюся реку. Никогда ни одна река не нравилась ему так, как эта, никогда голос и образ уносимый течением воды не казался ему таким прекрасным и красноречивым. Ему казалось, что река эта может сказать ему что-то

особенное, что-то такое, чего он еще не знает, но что ему необходимо узнать. В этой реке он хотел утопиться, в ней и потонул сегодня прежний, усталый, отчаявшийся Сиддхарта. Новый же Сиддхарта чувствовал глубокую любовь к этой непрерывно катящейся воде и про себя решил, что не так-то скоро уйдет от нее.

Перевозчик

— Я тут останусь, — думал он. — Это та самая река, через которую я когда-то переправился по пути к людям-детям. Тут был приветливый такой перевозчик — пойду, разыщу его. С выхода из его хижины началась тогда моя новая жизнь, теперь уже старая и отброшенная. Пусть и мой теперешний путь, предстоящая мне новая жизнь начнется на том же месте.

С нежностью глядел он на катящуюся реку, на прозрачную зелень, на хрустально-чистые линии ее загадочных очертаний. Светлые жемчужины поднимались на его глазах из глубины, тихие воздушные пузыри плавали по зеркалу воды, и в них отражалась синева неба. Тысячей глаз глядела на него река — зеленых, белых, чистых, как хрусталь, синих, как небо. Как он любил эту реку, как восхищался ею, как был ей благодарен! И голос его сердца, только что проснувшийся голос говорил ему: "Люби эту реку. Оставайся близ нее! Учись у нее"! О, да. Он будет к ней прислушиваться, будет у нее учиться. Кто поймет эту реку и ее тайны, — думалось ему, — тот поймет и многое другое, перед тем откроется много тайн, все тайны...

Из тайн же самой реки он в этот день узнал лишь одну, но она поразила его душу. Он видел: эта вода текла и текла; она текла безостановочно и все же всегда была тут, всегда во всякое время была такою же, хотя каждую минуту была новой. О, если бы постичь, раскрыть эту тайну! Он еще не понимал, не постигал этого, в нем только шевелились догадки, отдаленные воспоминания, божественные голоса...

Сиддхарта поднялся с места. Невыносимым стал терзавший его голод. С глубоким интересом пошел он далее по береговой дорожке, вверх по течению, прислушиваясь к шуму воды, прислушиваясь к ворчанию голода в своих внутренностях.

Когда он пришел к перевозу, лодка как раз готова была отчалить, и в ней стоял тот самый перевозчик, который когда-то пере-

вез через реку молодого саману. Сиддхарта узнал его, хотя и он сильно постарел.

— Ты перевезешь меня? — спросил он.

Перевозчик, удивленный тем, что такой знатный господин пришел один и пешком, принял его в свою лодку и отчалил от берега.

— Прекрасное занятие ты выбрал себе, — сказал Сиддхарта. — Чудесно, должно быть, жить всегда у этой реки.

Гребец с улыбкой качнул головой.

— Да, это чудесно! Ты верно заметил, господин. Но разве не всякая жизнь, не всякий труд прекрасен?

— Возможно. Но мне кажется завидным именно твое занятие.

— Ну, тебе оно скоро надоело бы. Такая работа не подходит для хорошо одетых людей.

Сиддхарта рассмеялся.

— Вот уже второй раз за сегодняшний день ко мне относятся с недоверием из-за моего платья. Не хочешь ли, перевозчик, принять его от меня? Оно мне надоело. К тому же у меня нет денег, чтобы заплатить тебе за перевоз.

— Господин шутит, — рассмеялся перевозчик.

— Я не шучу, друг мой. Один раз ты уже перевез меня в своей лодке через эту реку, и перевез даром. Сделай же это и сегодня и прими взамен платы мое платье. Видишь ли, я предпочел бы не уходить отсюда. И лучше всего было бы, перевозчик, если б ты дал мне какой-нибудь старый фартук и взял к себе помощником — вернее, учеником, так как мне еще нужно научиться управлять лодкой.

Долго и пылливо вглядывался перевозчик в его лицо.

— Теперь я узнаю тебя, — сказал он наконец. — Когда-то ты переночевал в моей хижине. Давно это было — пожалуй, больше двух десятков лет назад. Я тогда перевез тебя через эту реку, и мы распрощались, как добрые друзья. Помнится, ты был тогда саманой. Но вот имени твоего я не могу припомнить.

— Меня зовут Сиддхартой, и я был саманой, когда ты видел меня в последний раз.

— Добро пожаловать, Сиддхарта! Меня зовут Васудева. Ты и сегодня, надеюсь, будешь моим гостем. Проведи ночь в моей хижине и расскажи мне, откуда ты идешь и почему твое прекрасное платье так надоело тебе.

Они выехали на середину реки, и Васудева сильнее приналег на весла, чтобы справиться с течением. Спокойно работал он своими сильными руками, следя за острым концом лодки. Сиддхарта си-

дел, глядя, как он работает, и вспоминал, как уже тогда, в последний день его жизни аскета-саманы, в его сердце зародилась любовь к этому человеку. Когда они причалили к берегу, он помог перевозчику привязать лодку к колышку, после чего тот пригласил его в хижину и предложил хлеба, воды и плодов манго. Все это Сиддхарта съел с наслаждением

Потом — солнце уже близилось к закату — они сели на деревянный пенек у берега, и Сиддхарта рассказал перевозчику о своем происхождении и своей жизни — изобразив ее в том самом свете, в каком видел ее сегодня утром, в час отчаяния. До поздней ночи длился его рассказ

Васудева слушал с глубоким вниманием, с одинаковым интересом к его радостям и горестям. Он умел слушать, как редко кто умеет. Он молчал, но рассказчик все время чувствовал, как Васудева вбирает в себя его слова — тихо, откровенно, терпеливо, не упуская ни единого звука, не проявляя нетерпения, не прерывая ни похвалой, ни порицанием. Каким счастьем было исповедаться перед таким слушателем, раскрыть перед ним всю свою жизнь, все свои страдания.

К концу повествования, когда Сиддхарта заговорил о дереве на берегу реки, о своем глубоком падении, о священном слове Ом и о том, как, проснувшись, он ощутил непонятную любовь к реке, внимание перевозчика, казалось, удвоилось — он был всецело захвачен рассказом и слушал теперь с закрытыми глазами

Когда же Сиддхарта смолк, наступила продолжительная тишина. Потом Васудева сказал:

— Так я и думал! Река заговорила с тобой. Это хорошо. Это очень хорошо. Оставайся со мной, Сиддхарта. У меня когда-то была жена, ее ложе было рядом с моим. Но ее давно уже нет в живых. Я живу один. Будь теперь моим товарищем — места и пищи хватит на двоих.

— Благодарю тебя, — ответил Сиддхарта, — благодарю и принимаю твое предложение. И еще за то благодарю тебя, Васудева, что ты так хорошо слушал меня. Редко встречаются люди, умеющие слушать, а такого, как ты, слушателя, и не встретил ни разу. Этому мне тоже придется поучиться у тебя.

— Ты научишься и этому, — сказал Васудева, — но не у меня. Я научился слушать у реки; она и тебя научит этому. Река все знает, у нее всему можно научиться. Смотри, одному тебя уже научила река — стремиться вниз, спускаться, искать глубины. Богатый и

знатный Сиддхарта становится гребцом; ученый брамин Сиддхарта становится перевозчиком — ведь и это внушено тебе рекой. Она и другому тебя научит.

— В чем же это другое, Васудева? — сказал Сиддхарта после продолжительной паузы.

Васудева поднялся.

— Уже поздно, — сказал он, — пора идти спать. Я не могу тебе сказать, в чем состоит это “другое”, друг мой. Ты узнаешь это сам, а, может, и уже знаешь. Видишь ли, я не ученый, я не умею говорить, не умею размышлять. Я умею только слушать — больше я ничему не научился. Если бы я мог это объяснить другим, я, может быть, прослыл бы мудрецом. Но я только перевозчик и моя задача — перевозить людей через реку. Много народу перевез я на ту сторону, тысячи людей, но все они смотрели на мою реку, лишь как на досадную помеху. Они шли по делам или за деньгами, на свадьбы или на богомолье, река же преграждала им путь, а перевозчик на то и был надобен, чтобы побыстрее преодолеть это препятствие. Лишь немногие из этих тысяч, четверо или пятеро, перестали видеть в реке помеху — они услышали ее голос, прислушались к нему, и река и для них стала такой же священной, как для меня.

Сиддхарта остался у перевозчика. Вскоре он научился управлять лодкой, работать с Васудевой на рисовом поле, собирать дрова, обрывать плоды с банановых деревьев. Он научился делать весла, чинить лодку, плести корзины. Он радовался всякому вновь приобретенному навыку, и время пролетало для него быстро. Но еще больше, чем у Васудевы, он учился у реки. У нее он учился беспрестанно и прежде всего — слушать: прислушиваться с тихим сердцем, с раскрытой, полной ожидания душой, без увлечения, без желания, без суждения и мнения.

Его отношения с Васудевой были самые дружеские. Время от времени они обменивались несколькими словами — немногими, но глубоко продуманными. Васудева был не особенно словоохотлив. Сиддхарте редко удавалось вызвать его на разговор.

— Ты тоже узнал от реки, что время не существует? — спросил он его однажды.

Лицо Васудевы просияло.

— Да, Сиддхарта, — сказал он. — Ты хочешь сказать, что река одновременно находится в разных местах — у источника и в устье, у водопада, у перевоза, у порогов, в море, в горах — и везде в од-

но и то же время, что для нее существует лишь настоящее — ни тени прошедшего, ни тени будущего?

— Ты верно понял меня, — ответил Сиддхарта. — И когда я познал это, то оглянулся на свою жизнь и увидел, что и моя жизнь похожа на реку, что мальчика Сиддхарта отделяют от мужа Сиддхарта и старика Сиддхарта только тени, а не реальные вещи. Точно так же и прежние воплощения Сиддхарты не были прошедшим, а его смерть и возвращение к Бrame не представляют будущего. Ничего не было, ничего не будет: все есть, все имеет реальность лишь в настоящем.

Сиддхарта говорил с восторгом — снизошедшее на него откровение доставляло ему глубокое счастье. Разве всякое страдание не существовало во времени, разве все душевные терзания и тревоги не были во времени? И разве все тяжелое, все враждебное в мире не исчезало, не оказывалось побежденным, как только человек побеждал время, как только он — умом — отрешался от времени? Сиддхарта говорил с восторгом. Васудева же только выслушал его с сияющей улыбкой и молча кивнул головой. Потом провел правой рукой по плечу Сиддхарты и снова принялся за работу.

В другой раз, когда в период дождей река вздулась и шумела особенно сильно, Сиддхарта заметил:

— Не правда ли, друг, у реки много голосов, очень много? Ты не находишь, что временами в ней слышен голос царя или воина, а то голос быка или ночной птицы, а то еще голос, напоминающий крик женщины во время родов или вздохи несчастного, и еще тысячи других голосов?

— Это верно, — кивнул головой Васудева, — все голоса в мире заключены в голосе реки.

— И знаешь, — продолжал Сиддхарта, — какое слово она произносит, когда тебе удастся услышать одновременно все ее десять тысяч голосов?

Со счастливой улыбкой Васудева склонился к Сиддхарте и шепнул ему на ухо священное слово Ом. Да, именно это слово и слышал Сиддхарта в шуме реки.

И со дня на день его улыбка становилась все более похожей на улыбку перевозчика — почти такой же сияющей, такой же светящейся счастьем; как и у Васудевы, это счастье сквозило в тысяче морщинок и было таким же детским и старческим одновременно. Многие прохожие, видя обоих перевозчиков, принимали их за бра-

тьев. Часто, по вечерам, они сидели рядом на пне у берега и молча прислушивались к шуму воды, который был для них не простым шумом, а голосом жизни, голосом сущего, вечно образующегося вновь. И подчас случалось, что слушая реку, они одновременно думали об одном и том же: о недавнем разговоре, об одном из проезжих, заинтересовавшем их своей наружностью или судьбой, о смерти, о детстве, и если река говорила им что-нибудь хорошее, они оба одновременно взглядывали друг на друга с одной и той же мыслью, одинаково очастливленные, с одинаковым ответом на один и тот же вопрос.

От этого перевоза и от обоих перевозчиков исходило что-то особенное, и оно ощущалось многими. Случалось иногда, что проезжий, взглянув в лицо одного из перевозчиков, начинал вдруг рассказывать про свою жизнь, про свое горе, сознавался в содеянном зле, просил утешения и совета. Случалось, что иной просил позволения провести у них вечер, чтобы слушать реку. Случалось также, что к ним приходили любопытные, прослышавшие, что у этого перевоза живут двое мудрецов, или волшебников, или святых. Любопытные забрасывали их вопросами, но, не получая ответов, приходили к заключению, что тут нет никаких волшебников или мудрецов, а просто два приветливых старичка, по-видимому, немые, немного странные и придурковатые. И любопытные смеялись и толковали между собою о том, до чего глупы и легковверны те, которые распространяют подобные слухи.

Годы уходили, и никто их не считал. Но вот однажды пришли монахи, последователи Гаутамы Будды, и попросили перевезти их через реку. От них перевозчики узнали, что они спешат к своему великому учителю, так как распространилась весть, что Возвышенный опасно болен и скоро в последний раз умрет человеческой смертью, дабы достигнуть окончательного искупления. В скором времени прошла новая партия монахов, потом еще одна. Все они, как и большинство проезжих и странников, не говорили ни о чем ином, как о Гаутаме и его близкой кончине. И подобно тому, как при известии о военном походе или предстоящем венчании какого-нибудь царя со всех сторон стекаются люди и собираются в кучи, подобно муравьям, так, словно привлеченные чарами, стекались монахи туда, где великий Будда ждал смерти, где должно было свершиться событие неизмеримой важности, где великий Совершенный того века должен был почить в вечном блаженстве.

Много думал за это время Сиддхарта об умирающем мудреце, о великом учителе, чей голос поучал народы и пробудил сотни тысяч людей, чей голос и он когда-то слышал, на чье святое лицо и он когда-то взирал с благоговением. С хорошим чувством вспоминал он о том времени, представлял себе пройденный учителем путь к совершенству и с улыбкой вспоминал слова, с которыми он, молодой человек, обратился к Возвышенному. То были гордые, не по летам рассудительные слова, — думал он с улыбкой. Давно уже он сознавал, что ничто не разделяет его с Гаутамай, хотя учения его он так и не мог принять. Но ведь никакого вообще учения не может принять истинно ищущий, истинно желающий найти. Тот же, кто нашел, тот может признать любое учение, любой путь, любую цель — его ничто более не отделяет от тысячи других, живущих в Вечном, вдыхающих в себя Божественное.

В один из тех дней, когда так много народу совершало паломничество к умирающему Будде, к нему отправилась и Камала, когда-то прекраснейшая из куртизанок. Давно уже она оставила прежнюю жизнь. Она подарила свой сад монахам Гаутамы, приняла его учение и стала одной из тех, которые возлагали на себя заботу и попечение о странниках. Услышав о близкой смерти Гаутамы, она тотчас же вместе со своим мальчиком Сиддхартой пустилась в путь. Пешком, одетая в простое платье, она шла со своим маленьким сыном по течению реки; но вскоре мальчик утомился и проголодался; ему захотелось вернуться домой и он стал капризничать и хныкать. Камала вынуждена была часто останавливаться, чтобы дать ему отдохнуть, покормить его или пожурить. Мальчик привык настаивать на своем. Он не понимал, к чему это тяжелое и скучное паломничество в незнакомое место, к чужому человеку, который когда-то был святым, а теперь собирался умереть. Пусть себе умирает — ему-то, Сиддхарте, какое до этого дело?

Паломники были уже недалеко от перевоза Васудевы, когда маленький Сиддхарта снова заставил мать сделать привал для отдыха. Камала, впрочем, и сама уже утомилась, и в то время, как мальчик кушал банан, она опустилась на землю, полузакрыла глаза и предалась отдыху. Вдруг она испустила жалобный крик. Мальчик с испугом взглянул на мать и увидел ее побледневшее от ужаса лицо и выползавшую из-под платья после укуса маленькую черную змею.

Тотчас же оба бросились бежать по дороге, чтобы найти людей. Они уже почти достигли перевоза, когда Камала свалилась, не в си-

лах идти дальше. Мальчик стал кричать и плакать, поминутно целуя и обнимая мать; та тоже стала громко звать на помощь, пока эти крики услышал Васудева, стоявший у перевоза. Прибжевав на место, он взял женщину на руки и отнес в лодку; мальчик последовал за ним, и скоро все оказались в хижине, где у очага, разводя огонь, стоял Сиддхарта. Он поднял глаза и прежде всего увидел лицо мальчика, показавшееся ему странно знакомым, напоминающим что-то забытое. Потом увидел Камалу и тотчас узнал ее, хотя она и лежала без чувств на руках перевозчика. И тогда он понял, что этот мальчик со столь знакомым ему обликом — его родной сын, и сердце у него затрепетало в груди.

Рану обмыли, но она уже успела почернеть и кожа вздулась. Камале влили в рот лекарство, она очнулась. Она увидела, что лежит в хижине, а над ней склонился человек, который когда-то так сильно любил ее. Ей показалось, что она видит все это во сне. С улыбкой глядела она в лицо друга, но затем, придя в себя, вспомнила об укусе и с тревогой спросила о мальчике.

— Он тут, не беспокойся! — сказал Сиддхарта.

Камала взглянула ему в глаза. Она с трудом ворочала парализованным языком.

— Ты постарел, милый, — сказала она, — ты совсем седой. Но ты все же похож на того молодого саману, который когда-то почти нагишом, с запыленными ногами, пришел ко мне в сад. Ты теперьходишь на него гораздо больше, чем тогда, когда покинул меня и Камасвами. Глазами ты похож на него, Сиддхарта. Увы, и я постарела, очень постарела. Но ты все-таки узнал меня?

Сиддхарта улыбнулся:

— Я тотчас узнал тебя, Камала.

— А его ты узнал? — сказала она, указывая на мальчика. — Это твой сын.

Взор ее начал блуждать, глаза закрылись. Мальчик заплакал. Сиддхарта взял его на колени, вспомнив одну из браминских молитв, которую заучил когда-то, когда сам был маленьким мальчиком, медленно нараспев, стал произносить ее вслух. Слова будто сами собою всплывали в его памяти. Под этот напев мальчик успокоился, перестал плакать, и только изредка всхлипывая, заснул на его коленях. Сиддхарта положил его на постель Васудевы.

— Она умрет, — шепотом сказал Сиддхарта.

Васудева кивнул головой. По его лицу пробежал отблеск горевшего в очаге огня.

Еще один раз Камала пришла в сознание. Лицо ее было искажено болью. Сиддхарта читал ее страдания на губах, на побледневших щеках. Тихо читал он их, не спуская глаз, и ждал, погруженный в эти страдания. Чувствуя это, Камала глазами искала его взгляд. Уловив его, она проговорила:

— Теперь я вижу, что и глаза твои изменились, они теперь совсем иные. Почему же я однако узнаю, что ты Сиддхарта? Это ты и как будто не ты.

Сиддхарта не отвечал. Глаза его безмолвно глядели в ее глаза.

— Ты достиг своей цели? — спросила она. — Ты обрел мир?

Он улыбнулся и положил свою руку на ее руку.

— Я вижу, — сказала Камала, — что я тоже обрету мир.

— Ты обрела его, — шепотом проговорил Сиддхарта.

Камала продолжала не отрываясь, глядеть ему в глаза. Она думала о том, что вот она шла к Гаутаме, чтобы увидеть лицо Совершенного, чтобы вдохнуть исходящий от него мир, а вместо этого нашла Сиддхарта, и это так же хорошо, как если бы она видела самого Гаутаму. Она хотела сказать это Сиддхарте. Но язык уже не повиновался ей. Молча глядела она на Сиддхарта, и он видел по ее глазам, что жизнь в ней угасает. Когда взгляд ее в последний раз выразил страдание и потух, когда последняя судорога пробежала по ее телу, Сиддхарта сам закрыл ей глаза.

Долго сидел он и глядел на ее точно заснувшее лицо. Долго созерцал он ее рот, ее старый усталый рот со сжатыми губами, и вспоминал, как когда-то, в весну своей жизни, сравнил этот рот с только что раскрывшейся смоквой. Долго сидел он, читая в бледном лице, в его усталых складках, впитывая в себя черты покойной, и видел себя самого лежащим в таком же положении, таким же побелевшим и угасшим и в то же самое время видел и свое, и ее лицо молодыми, с алыми губами, с горящими глазами, и его всецело охватило чувство одновременности настоящего и прошлого, чувство вечности. Глубоко, глубже, чем когда-либо, он почувствовал в этот час неуничтожаемость всякой жизни, вечность каждого мгновения.

Когда он поднялся с места, Васудева предложил ему приготовленного им риса. Но Сиддхарта отказался. В сарае, где помещалась их коза, оба старика устроили себе постель на соломе, и Васудева лег спать. Сиддхарта же вышел и всю ночь просидел перед хижинкой,

прислушиваясь к шуму реки, окруженный волнами прошлого, сводя воедино все периоды своей жизни. Время от времени он вставал, подходил к дверям и прислушивался, спит ли мальчик.

Рано утром, еще до восхода солнца, Васудева вышел из сарая и подошел к своему другу:

— Ты не спал? — сказал он.

— Нет, Васудева. Я сидел тут и слушал реку. Многое она мне сказала, глубоко проникся я, благодаря ей, спасительной мыслью — мыслью о единстве.

— Тебя постигло горе, Сиддхарта, но я вижу — скорбь не проникла в твое сердце.

— Нет, милый, как могу я печалиться? Я, и без того богатый и счастливый, стал теперь еще богаче и счастливее. Я получил в подарок своего сына.

— И я рад появлению твоего сына. Но теперь, Сиддхарта, нам надо приняться за дело — работы много. Камала умерла на том самом ложе, на котором когда-то умерла моя жена. И костер для Камалы мы соорудим на том же холме, на котором когда-то я воздвиг костер для жены.

Пока мальчик спал, костер был готов.

Сын

Со страхом и слезами мальчик присутствовал при погребении матери. С испуганным и угрюмым видом он выслушал Сиддхарту, когда тот назвал его своим сыном и приветствовал его появление в хижине Васудевы. Целыми днями он просиживал, бледный, на могильном холме, едва дотрагиваясь до пищи, отворачивая свой взгляд от отца, закрывая для него свое сердце, всем видом своим и поведением протестуя против постигшей его судьбы.

Сиддхарта снисходительно относился ко всем этим выходкам. Он уважал его печаль. Он понимал, что он еще чужой для сына, что тот не может любить его, как отца. Но мало-помалу он стал замечать, что одиннадцатилетний мальчик — избалованный маменькин сынок, выросший в богатстве, привыкший к тонким кушаньям, к мягкой постели, к покорности слуг. Поэтому он не принуждал его ни к чему, делал за него многие работы, выбирал для него всегда самый лучший кусок, утешая себя надеждой, что понемногу, лаской и терпением приобретет его любовь.

Богатым и счастливым назвал он себя, когда нашел сына. Но

время шло, а мальчик по-прежнему оставался чуждым и мрачным, обнаруживал гордое строптивое сердце, не хотел ничего делать, был непочтителен со стариками, опустошал плодовые деревья Васудевы. И Сиддхарта начал понимать, что сын принесет ему не счастье и мир, а заботу и горе. Но он любил сына, и милее ему были забота и горе, внушаемые любовью, чем счастье и радость, но без сына.

С тех пор, как молодой Сиддхарта жил вместе с ними, оба старика поделили между собой дела. Васудева стал один справляться с перевозом, а Сиддхарта, чтобы не отлучаться от сына, принял на себя все домашние и полевые работы.

Долгое время, долгие месяцы ждал Сиддхарта, что сын, наконец, поймет его, примет его любовь, и, быть может, даже ответит взаимностью. Долгие месяцы ждал и Васудева, молчал и не вмешивался. Но однажды вечером, после того, как мальчик снова измучил отца своими капризами и упрямством, да еще нарочно разбил их единственные миски для риса, он отвел своего друга в сторону и заговорил с ним о сыне.

— Прости, — сказал он, — но моя дружба к тебе не позволяет мне больше молчать. Я вижу, что тебя мучает. Твой сын причиняет тебе заботу. Не к такой жизни, не к такому гнезду привыкла птичка. Ты отказался от города и богатства из пресыщения и отвращения, он же против воли должен был покинуть все это. Я спрашивал реку, друг мой, много раз спрашивал я ее. Но река смеется — она смеется над нами обоими, над нашей человеческой глупостью. Вода стремится к воде, и молодость тянет к молодости. Твоему сыну здесь не место — ему нужна другая почва. Спроси и ты реку, прислушайся и ты к тому, что она говорит.

С горестью взглянул Сиддхарта на морщинистое лицо друга.

— Но как я могу расстаться с ним? — сказал он тихо. — Дай мне еще сроку, Васудева. Ведь я борюсь, я всеми силами стараюсь покорить его сердце; любовью и ласковым терпением хочу я пленить его. Пусть и он со временем научится понимать реку. Ведь он тоже из числа призванных.

Улыбка Васудевы стала еще теплее.

— О, да — и он из призванных, и ему предстоит жизнь в вечности. Но знаем ли мы — ты и я — к чему именно он призван, к какому пути, к каким делам, к каким страданиям? Не мало ждет его в жизни страданий, ведь сердце у него гордое и суровое, много страданий, много ошибок, много несправедливостей выпадет на его долю, не мало грехов он еще взвалит себе на плечи. Скажи мне,

Сиддхарта, ведь ты его не воспитываешь, правда? Не неволишь, не бьешь, не наказываешь?

— Нет, Васудева.

— Знаю. Ты его не неволишь, не бьешь, не приказываешь, потому что ты знаешь, что мягкое крепче твердого, вода сильнее скалы, любовь сильнее насилия. Прекрасно, я одобряю твой образ действий. Но не ошибаешься ли ты, полагая, что ты действительно его не принуждаешь? Разве ты не налагаешь ежедневно, не подавляешь своей добротой и терпением? Разве ты не вынуждаешь этого высокомерного и избалованного мальчика жить в хижине в обществе двух стариков, питающихся бананами, считающих даже рис лакомством, в обществе людей, мысли которых не могут быть его мыслями, сердца которых стары, бьются тише и иначе, чем его сердце? Разве все это не является для него принуждением?

Пораженный Сиддхарта опустил глаза. Потом тихо проговорил:

— Что же, по-твоему, я должен сделать?

Васудева ответил:

— Отведи его обратно в город, верни в дом матери — там наверно еще остались прежние слуги. А если никого не осталось, отведи его к учителю, — не ради учения, но чтобы он попал в общество себе подобных, попал в тот круг, к которому принадлежал раньше. Тебе никогда не приходило это в голову?

— Ты видишь мое сердце насквозь, — печально произнес Сиддхарта. — Я не раз думал об этом. Но посуди — как могу я оставить его в том мире. Не станет ли он еще более своенравным, не увлечется ли наслаждениями и властью, не повторит ли он все ошибки своего отца? Кто знает, не погибнет ли он окончательно?

Еще ярче засияла улыбка перевозчика. Он ласково дотронулся до руки Сиддхарты и сказал:

— Спроси об этом у реки, друг. Послушай, как она будет смеяться над твоим вопросом. Неужели ты всерьез полагаешь, что ошибки отца могут избавить сына от подобных же ошибок? И каким способом ты можешь его уберечь? Учением, молитвой, увещаниями? Милый, неужели ты совсем позабыл поучительную историю о некоем сыне брамина, Сиддхарте, которую когда-то рассказал мне на этом самом месте? Кто уберег саману Сиддхарту от греха, от алчности и безумства? Разве уберегли его от всего этого благочестие отца, наставления учителей, его собственное знание, собственные искания? Какой отец, какой учитель мог помешать ему самому пережить свою жизнь, самому познать всю грязь, само-

му грешить, самому испытать горькую чашу и самому же выйти на дорогу? Неужели ты думаешь, что кого-нибудь может миновать эта чаша? И что таким исключением будет именно твой сыночек, — только потому что ты его любишь, потому что тебе так хотелось бы уберечь его от горя, страдания и разочарования? Да если бы ты ради него хоть десять раз претерпел смерть, тебе не удастся ни на иоту изменить ожидающей его участи.

Никогда еще Васудева не говорил так долго. Выслушав его, Сиддхарта горестно вернулся в хижину и долго не находил сна. Друг не сказал ему ничего такого, чего бы он сам не думал и не знал. Но это знание он не в состоянии был применить. Его любовь, его нежность, его страх потерять сына были сильнее знания. Никогда не случилось ему до такой степени отдавать кому-нибудь свое сердце, любить человека так слепо, с такой болью, не встречая взаимности и чувствуя себя все-таки счастливым этой любовью...

Сиддхарта не мог последовать совету друга — он не в состоянии был расстаться с сыном. И вот он позволял мальчику командовать, дерзить, вести себя непочтительно, и по-прежнему молчал и ждал, каждый день сызнава начиная немую борьбу кротости, безмолвную войну терпения. Молчал и Васудева — приветливый, всепонимающий, долготерпеливый. По части терпения оба не имели себе равных.

Однажды, когда лицо мальчика особенно сильно напомнило ему Камалу, Сиддхарта внезапно вспомнил ее слова, сказанные когда-то, в дни молодости. "Ты не способен любить", — сказала она ему — и он согласился и сравнил себя со звездой, а людей-детей — с падающими листьями. И все же в словах Камалы он почувствовал тогда упрек. В самом деле, он никогда не мог всецело, до самозабвения, отдаться другому человеку, никогда не совершал ради другого безумств любви. Он считал себя совершенно неспособным на это, и в этой-то неспособности — казалось ему тогда — и заключалось то главное различие, которое разделяло его с людьми-детьми. Но теперь, с тех пор, как у него появился сын, он и сам стал человеком-ребенком; и он страдал из-за другого человека, и он любил другого человека, весь отдаваясь этой любви, и он совершал ради нее безрассудства. Теперь и он, наконец, хоть и поздно, испытал эту самую странную, самую могучую из всех страстей, страдал от нее, страдал мучительно и все же чувствовал себя счастливым, словно в чем-то обновленным, словно чем-то обогащенным.

Конечно, он сознавал, что такая слепая любовь к сыну есть сла-

бость, обыкновенная человеческая страсть, что и она — не вполне чистый источник, мутная вода. Но вместе с тем он чувствовал, что и такая, она имеет свою ценность и даже необходима, как все вытекающее из глубины человеческого существа. Эту жажду следовало утолить, и эти страдания надо было изведать, и эти безрассудства надо было совершить.

А сын между тем заставлял его совершать их одно за другим — ухаживать за ним, смиряться перед его капризами. Этот отец не обладал ничем, что могло бы восхищать мальчика или внушать ему страх. Он был добряк, этот отец — добрый, ласковый, кроткий человек, быть может, очень благочестивый, быть может, даже святой. Но все это были такие качества, которые ничуть не пленяли мальчика. Скучно было ему в обществе этого отца, державшего его, как в плену, в своей жалкой хижине. Надоел он ему смертельно, а то, что на каждую скверную проделку он отвечал улыбкой, на каждое обидное слово — ласковым словом, на каждую злобную выходку — добротой — все это представлялось ему самой ненавистной уловкой старого ханжи. Куда приятнее было бы услышать угрозы, претерпевать наказание.

И наступил день, когда чувства молодого Сиддхарты прорвались наружу. Отец поручил ему набрать хвороста. Но мальчик не пошел, а остался в хижине. С дерзким и взбешенным видом, топнув ногой о землю, сжав кулаки, он в неистовой вспышке бросил отцу прямо в лицо всю свою ненависть и презрение.

— Сам ступай за своим хворостом! — крикнул он с яростью. — Я тебе не слуга. Я ведь знаю, почему ты меня не бьешь — ты не смеешь! Я знаю — своей кротостью ты хочешь унижить меня — это твой способ наказания. Ты хотел бы, чтобы я стал таким же, как ты — таким же смиренным и кротким. Так знай — тебе на зло я предпочту стать грабителем и разбойником и попасть в ад, чем стать таким, как ты. И ненавижу тебя. Ты не отец мне, хоть бы ты десять раз был любовником моей матери.

Гнев и горе так и душили его, вырываясь в необузданных и злобных словах, направленных против отца. Потом он выбежал из хижины и вернулся домой лишь поздно вечером.

А на другое утро он окончательно исчез. Вместе с ним исчезла и маленькая, сплетенная из двухцветной коры корзинка, в которой перевозчики хранили медные и серебряные монеты, которые получали, как плату за перевоз. Исчезла и лодка. Сиддхарта увидел ее лежащей на другом берегу. Мальчик бежал.

— Я должен пойти за ним, — сказал Сиддхарта, который после вчерашней сцены с мальчиком все еще дрожал от горя. — Ребенку нельзя идти одному через лес. Он погибнет. Мы должны соорудить плот, Васудева, чтобы переправиться через реку.

— Мы построим плот, чтобы привести обратно лодку, похищенную мальчиком, — сказал Васудева. — А за ним гоняться не следует, мой друг. Он уже не ребенок, он сам за себя постоит. Он направился в город, и он прав — не забывай этого. Он делает то, что должен был сделать ты. Он сам заботится о себе, идет своей дорогой. Ах, Сиддхарта, я вижу, что ты страдаешь, но над такими страданиями, право, следовало бы посмеяться. Да ты и сам скоро будешь смеяться над ними.

Сиддхарта ничего не ответил. Взяв в руки топор, он начал сколачивать плот из бамбука. Васудева стал помогать ему, связывая стволы сплетенной из трав бичевой. Потом они переправились на ту сторону, и так как их унесло течением, то им пришлось протащить плот вверх по берегу вручную.

— Зачем ты захватил топор? — спросил Сиддхарта.

— На случай, если весло пропало, — ответил Васудева.

Но Сиддхарта уже понял, почему его друг захватил топор. Он опасался, что мальчик забросил или сломал весло, чтобы отомстить и помешать им преследовать его. И в самом деле, в лодке весла не оказалось. Васудева показал рукой на дно лодки и взглянул на друга с улыбкой, словно говоря: "Разве ты не видишь, что говорит тебе твой сын? Разве не видишь, что он не хочет, чтобы его преследовали?" Но он не сказал этого вслух, и лишь молча принялся обтесывать новое весло. Сиддхарта же, наскоро попрощавшись с ним, бросился на поиски бежавшего.

Уже пройдя лесом значительное расстояние, Сиддхарта вдруг осознал, что его поиски напрасны. Либо мальчик далеко опередил его и теперь находится уже в городе, либо, если он все еще в лесу, будет прятаться от своего преследователя. И еще он понял, что в сущности совсем не тревожится за сына, что в глубине души знает, что тот не погиб, что ему не грозит никакая опасность. И все же он шел безостановочно — уже не для того, чтобы спасти мальчика, но просто из желания хоть раз еще повидать его. Так он дошел до самого города.

Когда поблизости от города он вышел на большую дорогу, то остановился у входа в прекрасный парк, который когда-то принадлежал Камале и где он впервые увидел ее в носилках. В душе

его ожили воспоминания о том времени; он увидел себя таким, каким стоял тогда у входа — молодым, обросшим бородой, почти ничем не прикрытым, с запыленными волосами. Долго стоял он и смотрел в открытые ворота сада, где монахи в желтых рясах расхаживали между прекрасными деревьями.

Долго стоял он так, погруженный в раздумье, созерцая картины прошлого, прислушиваясь к истории своей жизни. Долго стоял он, глядя вслед монахам, но вместо них видел молодого Сиддхарту, видел молодую Камалу, гуляющими под высокими деревьями. Он с совершенной ясностью видел самого себя, видел, как его угощала Камала, как он получил ее первый поцелуй, как он гордо и презрительно оглянулся на свое прошлое брамина, как гордо и жадно устремился в мирскую жизнь. Он вновь видел Камасвами, своих слуг, пиры, игроков в кости, музыкантов, певчую птичку Камалы в клетке, вновь переживал все это, дышал этим воздухом, а затем, снова почувствовав себя старым и утомленным, опять пережил тогдашнее отвращение и желание покончить с собой и снова познал исцеление священным словом "Ом".

Наступила ночь и Сиддхарта понял, как нелепо было желание, которое привело его сюда. Он понял, что не может ничего сделать для сына. Словно рана, горела глубоко в его сердце любовь к бежавшему, но в то же время он сознавал, что не следует растревлять эту рану, что надо дать ей распуститься в цветок и излучить из себя свет.

Но в этот час рана еще не цвела. Она еще не излучала света. И потому он оставался печальным. То желание-цель, которое привело его сюда, вослед убежавшему сыну, теперь сменилось чувством пустоты. Печально опустился он на землю, чувствуя, как что-то еще умирает в его сердце, чувствуя пустоту, не видя перед собой никакой радости, никакой цели. Так сидел он, погруженный в себя, и ждал. Этому он научился у реки: ждать, иметь терпение, прислушиваться. И вот он сидел и слушал — сидел в пыли проезжей дороги и прислушивался к своему сердцу, которое билось так устало и печально. И ждал какого-нибудь голоса. Не один час просидел он таким образом — и уже не видел никаких картин, и все глубже погружался в пустоту, не видя перед собой никакой дороги. А когда рана его начинала гореть особенно сильно, он беззвучно произносил слово "Ом" и преисполнялся этим словом. Монахи в саду увидели его, и так как он уже много часов сидел, съжившись, на одном месте и на его седых волосах накоплялась пыль,

то один из монахов вышел из сада и положил перед ним два банана. Старик даже не заметил этого.

Из этого оцепенения его пробудила чья-то рука. Она коснулась его плеча и он тотчас узнал это нежное, стыдливое прикосновение. Он поднялся и приветствовал Васудеву, который последовал за ним через лес. И когда он взглянул в приветливое лицо Васудевы, в его маленькие, словно заполненные одними улыбками морщинки, в его ясные глаза, он вдруг улыбнулся. Увидев перед собой положенные монахом бананы, он поднял их, один протянул перевозчику, а другой съел сам. После этого они с Васудевой молча отправились к перевозу. Никто не обмолвился ни словом о том, что произошло в этот день, никто не произнес имени мальчика, никто не говорил об его бегстве, никто не вспоминал про нанесенную им рану. Придя в хижину, Сиддхарта лег на свое ложе и когда Васудева через некоторое время подошел к нему, чтобы предложить чашку кокосового молока, то нашел друга погруженным в глубокий мучительный сон.

Ом

Долго еще горела рана Сиддхарты. Не раз случалось ему переправлять через реку проезжих с сыновьями или дочерьми и ни разу не случалось, чтобы он не почувствовал зависти, не подумал: "Столько людей, столько тысяч людей обладают этим сладчайшим счастьем — почему же я лишен его? Ведь и злые люди, даже воры и убийцы имеют детей, любят их, любимы ими — один лишь я лишен этого блага". Так просто, так неразумно рассуждал он теперь, до такой степени уподобился он людям-детям...

Совсем иными глазами глядел он теперь на людей — менее рассудочно, менее гордо, зато с большей теплотой, с большим интересом и сочувствием. Теперь, когда он перевозил людей обычного типа — дельцов, воинов, женщин, они уже не казались ему чуждыми, как бывало: он понимал их и сочувствовал их жизни, руководимой не мыслями и умозрениями, а инстинктами и желаниями. Он чувствовал себя таким же, как они. Уже близкий к совершенству, переживая свое последнее личное горе, он все же смотрел на этих людей, как на своих братьев. Их суетные, мелкие желания и вожеления перестали казаться ему смешными — они были ему теперь понятны, достойны любви, даже уважения. Слепая любовь матери к своему ребенку, глупая слепая гордость отца, восторга-

ющегося воображаемыми достоинствами своего сына, слепая неукротимая страсть к украшениям и жажда восхищенных мужских взоров у молодой, тщеславной женщины — все эти ребячества, все эти простые, нелепые, но необыкновенно сильные, живучие и властно требующие удовлетворения инстинкты и страсти уже не казались ему ребячеством. Он убедился, что люди живут ими, что ради них они совершают бесконечно многое — предпринимают путешествия, ведут войны, претерпевают всевозможные лишения и страдания. И он научился любить их за это. Он видел жизнь — живое, неуничтожаемое чудо, видел Брамму в каждой из человеческих страстей, в каждом человеческом поступке. Достойными любви и удивления казались ему теперь люди в своей слепой верности, слепой силе и слепом упорстве. Ничем они не стояли ниже, ни одного преимущества не имел над ними ученый и мыслитель, кроме одного-единственного: сознания, сознательной мысли об единстве всего живущего. И подчас у Сиддхарты даже возникало сомнение, действительно ли это знание, эта мысль имеют такую высокую ценность, не представляет ли и это знание одно из ребячеств мыслящих людей, — мыслящих людей-детей. Во всем прочем, на его взгляд, мирские люди стояли не ниже, а часто выше многих мудрецов, подобно тому как и животные, в своем упорном, не уклоняющемся в сторону стремлении к достижению необходимого им, подчас кажутся стоящими выше людей.

Медленно развивалось и созревало в Сиддхарте понимание, в чем состоит в сущности мудрость, в чем заключалась цель многолетних исканий. В конце концов, она сводилась лишь к некой готовности души, к ее способности, к ее тайному искусству — во всякую минуту, среди переживаний, мыслить, чувствовать, вдыхать в себя единство. Медленно, словно цветок, распускаясь в нем это сознание, и на старом детском лице Васудевы он находил отблеск его сияния: гармонию, уверенность в вечном совершенстве мира, улыбку, единство.

Но все еще горела рана в его душе — все еще с тоской и горечью вспоминал он своего сына и лелеял в сердце свою любовь и нежность, и растревлял свое горе, и совершал все безумства любви. И навеки неугасимым казалось ему это пламя.

И вот однажды, когда рана горела особенно сильно, снедаемый тоской переправился он через реку, вышел из лодки и готов был уже отправиться в город, чтобы разыскать сына. Река текла медленно и тихо — это было в сухое время года — но голос ее звучал как-

то странно, словно она смеялась. Да, несомненно, она смеялась! Звонко и явственно смеялась река над своим старым перевозчиком. Сиддхарта остановился, склонился над водой, чтобы лучше услышать, и в медленно протекавшей воде увидел свое лицо. В этом отраженном лице было нечто, напоминавшее ему о чем-то забытом. И вдруг он вспомнил: это лицо походило на другое, которое он когда-то знал, любил и вместе с тем боялся. Оно походило на лицо его отца, брамина. И Сиддхарта вспомнил, как некогда, юношей, вынудил отца отпустить его к аскетам, как он простился с ним, как ушел и никогда больше не возвращался. Не заставил ли он своего отца страдать так же, как он страдал теперь из-за собственного сына? Разве отец его не умер уже давно, в одиночестве, так больше и не увидев своего сына? Не ожидает ли и его Сиддхарта, такая же участь? Не комедия ли и это, не странная ли, не глупая ли вещь — это повторение, этот бег в роковом круге?

Река смеялась. Да, это так — все повторяется, все, что не было выстрадано до конца и искуплено. Одни и те же страдания повторяются бесконечно. И Сиддхарта снова сел в лодку и вернулся в свою хижину, вспоминая своего отца и сына, осмеянный рекой, борясь с самим собой, близкий к отчаянию и в то же самое время склонный громко хохотать над собой и всем миром. Увы, еще не зацвела его рана, еще не примирилось сердце с судьбой, еще не засияла радость победы из его страдания. Но все же в нем уже шевелилась надежда, и когда он вернулся в хижину, то почувствовал непреодолимое желание раскрыть свою душу перед Васудевой, все показать, все высказать другу, с таким совершенством умевшему слушать.

Васудева сидел в хижине и плел корзину. Он уже не работал у перевоза: его зрение ослабло, и не только зрение, но и руки. Неизменным и цветущим оставалось только ясное, исполненное благожелательности выражение его лица.

Сиддхарта подсел к старику и начал медленно рассказывать. Все, о чем они до сих пор ни разу не заговаривали, все рассказал он теперь: о том, как побежал вслед за сыном в город, о своих жгучих страданиях, о своей зависти при виде счастливых отцов, о том, что он сам сознает всю безрассудность своих желаний, и о тщетности своей борьбы с ними. Он поведал другу все — теперь он мог говорить обо всем, даже о самом мучительном. Он раскрыл перед ним свою рану, рассказал и о своем сегодняшнем бегстве, о

своей ребяческой затее отправиться в город и о том, как его высмеяла река.

И в то время, как он говорил, а Васудева спокойно слушал, Сиддхарта сильнее, чем когда-либо ощущал, как благотворно действует на него это свойственное другу умение слушать. Он чувствовал, как все его страдания, тревоги и тайная надежда переливаются в слушателя, и только последняя возвращается к нему назад. Показать такому слушателю свою рану было все равно, что купать и охлаждать ее в реке, пока жар не спадет и она не сольется с рекой.

И продолжая говорить и исповедоваться, Сиддхарта все более и более чувствовал, что тот, кто слушает его, уже не Васудева, не человек; что этот неподвижно сидящий слушатель всасывает в себя его исповедь, как всасывает дерево дождевую воду, что этот неподвижно сидящий — сама река, само божество, само вечное. И по мере того, как Сиддхарта переставал думать о себе и о своей ране, сознание происшедшей с Васудевой перемены все более овладевало им. Но чем более он чувствовал эту перемену, тем менее она его удивляла, тем яснее он сознавал, что все это совершенно естественно, что Васудева уже давно, почти всегда был таким, только он, Сиддхарта, не замечал этого, мало того, — что он и сам почти ничем не отличается от Васудевы. Он понял, что видит теперь старого Васудеву в том свете, в каком народ видит богов, и что это не может долго продолжаться. В сердце своем он уже начал прощаться с Васудевой. Но и прощаясь, он продолжал рассказывать ему о себе.

Когда он кончил свою исповедь, Васудева поднял на него свои ласковые, несколько ослабевшие глаза, и молча, без слов озарил его взглядом, полным любви, радости, понимания и знания. Он взял руку Сиддхарты, повел его к их обычному месту на берегу, сел рядом с ним и улыбнулся реке.

— Ты слышал, как она смеялась, — сказал он. — Но ты не все слышал. Давай прислушиваться вместе и ты еще многое услышишь.

Они стали слушать. Мягко звучало тысячеголосое пение. Сиддхарта глядел в воду, и в текущей воде перед ним одно за другим проходили видения: сначала показался ему его отец, одинокий, оплакивающий своего сына, потом он увидел себя, такого же одинокого, так же прикованного цепями тоски к далекому сыну. Прошел перед ним и этот сын, такой же, как он, одинокий, бурно стре-

мющийся вперед по горючей стезе своих молодых желаний — и все они, и его отец, и он, и сын его, стремились к своей цели, каждый был словно одержим ею и каждый страдал. Река пела голосом, в котором звучали страдание и страстная тоска. Со страстным нетерпением она тоже стремилась к своей цели, и такой же страстной жалобой звучал ее голос.

— Ты слышишь? — спросил немой взор Васудевы.

Сиддхарта только кивнул головой.

— Слушай лучше! — прошептал Васудева.

Сиддхарта и без того был весь внимание. Образы отца, его собственный и сына слились вместе; один за другим наплывали на них образы Камалы, Говинды и других людей, встреченных им в жизни, и все они расходились, растворялись в реке и вместе с нею, тоскуя, желая, страдая, стремились к цели. А голос реки звучал страстной тоскою, жгучей болью, неутолимимым желанием. И Сиддхарта видел, как спешила к своей цели эта река, состоявшая из него, его близких и всех когда-либо виденных им людей. Все волны и воды стремились к какой-нибудь цели — к водопаду, к озеру, к стремнину, к морю; все цели достигались, а взамен их являлись новые. Вода превращалась в пар, поднимавшийся к небу; пар становился дождем и устремлялся вниз, становился источником, ручьем, рекой и снова начинал стремиться, катиться к цели. Но вот звучащий страстным томлением голос реки изменился. Он слышался и теперь, горестный и ищущий, но уже и другие голоса присоединились к нему — голоса радости и горя, добрые и злые, смеющиеся и печальные, сотни голосов...

Сиддхарта все слушал. Теперь он весь превратился в слух. Слово пустая губка, он впитывал в себя все звуки реки. Он и раньше не раз слышал все эти многочисленные голоса, но сегодня они звучали как-то особенно. Уже он не мог больше отличить одни голоса от других — радостные от плачущих, детские от взрослых. Все сливалось теперь в одно — жалобы тоскующих и смех умудренных, крики гнева и стоны умирающих — все составляло одно, все сочеталось вместе, все переплеталось в тысячекратном сплетении. И все вместе — все голоса, все цели, все порывы и страдания, все наслаждения, все доброе и злое — все вместе взятое составляло мир. Все вместе взятое было потоком событий, было музыкой жизни. И чем внимательнее Сиддхарта прислушивался к реке, к ее тысячеголосой песне, чем меньше обращал внимания на жалобы или на смех, чем меньше уходил своим Я в один какой-либо голос, а слу-

шал их все одновременно, внимал всему и слышал единство, тем явственней эта великая песнь, распеваемая тысячами голосов, оказывалась состоящей из одного-единственного слова; и это слово было Ом.

— Слышишь? — снова спросил глазами Васудева.

Ярко сияла его улыбка; она светилась теперь над всеми морщинами его старого лица, как слово Ом — над всеми голосами реки. Ярко светилась его улыбка, когда он смотрел на друга, и так же ярко засияла теперь такая же улыбка на лице Сиддхарты. Рана его зацвела, горе стало излучать свет, его Я слилось с вечностью.

В этот час Сиддхарта перестал бороться с судьбой. Он перестал страдать. На его лице расцвела радость знания, которому уже не противится воля, которое познало совершенство, примирилось с течением событий и с потоком жизни, которое страдает и радуется вместе со всеми, отдается общему потоку, входит в единство.

Когда Васудева поднялся и, заглянув в глаза Сиддхарты, увидел в них радостный свет знания, он, в свойственной ему нежной и осторожной манере, коснулся рукой его плеча и сказал:

— Я ждал этого часа, мой милый. Теперь, когда он наступил, позволь мне уйти. Долго я ждал этого часа, долго был перевозчиком Васудевой. Теперь мне пора. Прощай, хижина, прощай, река, прощай и ты, Сиддхарта!

Сиддхарта низко склонился перед уходящим.

— Я знал, — тихо проговорил он. — Ты уходишь в леса?

— Я уйду в леса, я уйду в Единство! — сказал Васудева с сияющим лицом.

И он ушел, окруженный сиянием. А Сиддхарта провожал его глазами, с глубокой радостью и глубокой серьезностью идя ему вслед, и видел его полную мира походку, его озаренную сиянием голову, его светящуюся фигуру.

Говинда

Вместе с другими монахами Говинда коротал однажды время отдыха в парке, подаренном куртизанкой Камалой ученикам Гаутамы. Тут ему не раз довелось слышать о странном и старом перевозчике, живущем на расстоянии одного дня пути на берегу реки. Многие считали его мудрецом. И вот опять пустившись в странствие, Говинда направился к тому перевозу, чтобы познакомиться с этим удивительным человеком. Ибо хотя он всю свою жизнь про-

вел в строгом согласии с уставом. и благодаря своему возрасту и своей скромности пользовался большим уважением со стороны более молодых монахов, но в сердце его еще не улеглись искания и тревога.

Придя к реке, он попросил старика перевезти его и когда они вышли из лодки на другом берегу, сказал перевозчику: "Много добра делаешь ты нам, монахам и странникам; многих из нас ты уже перевозил. Не принадлежишь ли и ты, перевозчик, к числу ищущих истинного пути?"

На что Сиддхарта, улыбаясь своими старыми глазами, ответил:

— Ты называешь себя ищущим, почтеннейший, но ведь ты уже в преклонном возрасте и носишь одеяние монахов Гаутама.

— Да, я стар, — ответил Говинда, — но искать не переставал никогда. И не перестану — так уж видно мне суждено. И ты, сдаётся мне, искал: не скажешь ли ты мне чего-нибудь, почтеннейший?

— Что же я могу сказать тебе, достопочтенный? Разве то, что ты слишком много ищешь; из-за чрезмерного искания ты не успеваешь находить.

— Как это? — спросил Говинда.

— Если кто-нибудь слишком усердно ищет, — сказал Сиддхарта, — то глаз его становится нечувствителен ко всему, помимо того, что он разыскивает, и тогда он ничего не замечает, ничего не воспринимает, потому что мысль его всегда занята искомым, потому что у него есть цель, и он одержим этой целью. Искать — значит иметь цель. Находить же — значит: быть свободным, оставаться открытым для всяких восприятий, не иметь цели. Ты, достопочтенный, видно, и в самом деле принадлежишь к числу искателей, ибо поглощенный своей целью, не замечаешь многого, что у тебя перед глазами.

— Я не совсем понимаю тебя, — сказал Говинда, — что ты хочешь этим сказать?

— Однажды, о достопочтенный, много лет тому назад, ты уже был в этих местах. Ты увидел на берегу реки спящего человека и остался подле него, чтобы охранять его сон. Ты знал этого спящего, Говинда, а все-таки не узнал.

Изумленный, словно зачарованный, глядел монах в глаза перевозчика.

— Неужели ты Сиддхарта? — спросил он неуверенным голосом.

— Я бы и на этот раз не узнал тебя. От всего сердца приветствую

тебя, Сиддхарта. Как я рад, что вижу тебя еще раз! Ты очень изменился, друг. Так ты теперь стал перевозчиком?

С ласковой улыбкой ответил Сиддхарта:

— Да, я стал перевозчиком. Некоторым людям, Говинда, приходится часто менять свой облик, надевать всяческое платье — я из числа таких людей, милый. Добро пожаловать, Говинда, переночуй сегодня в моей хижине.

Говинда провел ночь в хижине Сиддхарты и спал на ложе, принадлежавшем Васудеве. Он осыпал друга своей молодости вопросами, и Сиддхарте пришлось рассказать ему многое из своей жизни.

На другое утро, перед тем, как пуститься снова в путь, Говинда — не без колебания — обратился к своему другу со словами:

— Прежде, чем продолжать свой путь, Сиддхарта, позволь задать тебе еще один вопрос: есть ли у тебя какое-нибудь учение? Есть ли у тебя какая-нибудь вера или знание, которым ты следуешь, которые помогают тебе жить и жить по правде?

Сиддхарта ответил:

— Ты знаешь, мой милый, что еще молодым человеком, когда мы жили у аскетов в лесу, я перестал доверять учителям и учениям и повернулся к ним спиной. Я и теперь придерживаюсь тех же взглядов. Тем не менее у меня с того времени было много учителей. Долгое время моей учительницей была одна прекрасная куртизанка. Еще были у меня учителями богатый купец и несколько игроков в кости. Однажды моим учителем был странствующий ученик Будды. Он сидел подле меня, когда я заснул в лесу во время странствия. И от него я тоже кое-чему научился и ему я тоже благодарен. Но больше всего я учился у этой реки и у моего предшественника, перевозчика Васудевы. Это был совсем простой человек, он не был мыслителем, но то, что необходимо, он знал так же хорошо, как и сам Гаутама. Он тоже был Совершенный.

— Ты, кажется, и поныне еще любишь немного насмехаться, — сказал Говинда. — Я верю тебе, Сиддхарта, и понимаю, что у тебя было много учителей. Но нет ли у тебя самого, если не учения, то хоть каких-то мыслей, каких-то откровений, которые выношены тобой одним и помогают тебе жить? Если бы ты поделился ими со мною, то порадовал бы мое сердце.

— Да, — ответил Сиддхарта, — и у меня были свои мысли, от времени до времени и мне являлись откровения. Иногда — в течение часа или целого дня — я чувствовал в себе знание, точь-в-точь, как чувствуешь жизнь в своем сердце. Разные это были мысли, но мне

трудно было бы передать их тебе. Вот, к примеру, одна из мыслей принадлежащих мне лично: мудрость непередаваема. Мудрость, которую мудрец пытается передать другому, всегда смахивает на глупость.

— Ты шутишь? — спросил Говинда.

— Я не шучу. Я говорю то, в чем убедился на деле: передать другому можно знание, но не мудрость. Мудрость можно найти, можно проводить в жизнь, ею можно руководиться, с ее помощью можно творить чудеса; но передать ее словами, научить ей другого — нельзя. Еще когда я был юношей, у меня временами мелькала эта мысль: она-то и заставила меня уйти от учителей. А вот еще одна мысль, которую ты, Говинда, примешь снова за шутку или за глупость, но которую я считаю лучшей из всех своих мыслей. Она гласит: по поводу каждой истины можно сказать нечто совершенно противоположное ей, и оно будет в той же степени верно. Дело, видишь ли, в том, что истину можно высказать, облечь в слова лишь тогда, когда она односторонняя. Односторонним является все, что мыслится умом и высказывается словами — все односторонне, все половинчато, во всем не хватает целостности, округленности, единства. Когда Возвышенный Гаутама говорил в своих проповедях о мире, то должен был делить его на Сансару и Нирвану, на призрачность и правду, на страдание и искупление. Иначе и нельзя. Нет иного способа для того, кто хочет поучать других. Но сам мир, все сущее вокруг нас и в нас самих, никогда не бывает односторонним. Никогда человек или деяние его не бывают исключительно Сансарой или исключительно Нирваной, никогда человек не бывает ни совершенным святым, ни совершенным грешником. Нам представляется так потому, что мы находимся под влиянием ложного представления, будто время есть нечто действительно существующее. Но время не существует, Говинда, я часто, очень часто убеждался в этом. А если время не есть нечто действительно существующее, то грань, по-видимому отделяющая мир от вечности, страдание от блаженства, зло от добра, тоже оказывается призрачной.

— Как так? — испуганно спросил Говинда.

— Слушай, мой милый, слушай внимательно. Грешник, вроде меня или тебя, конечно грешник и есть, но когда-нибудь он снова будет Брамой; когда-нибудь он достигнет Нирваны, будет Буддой. Так вот заметь себе: это “когда-нибудь” — всего лишь словесное представление, всего лишь обрзное выражение. Грешник не есть

человек, еще только находящийся на пути к совершенству Будды; он не находится в какой-нибудь промежуточной стадии развития, хотя наше мышление не в состоянии иначе представлять себе эти вещи. Нет, в грешнике уже теперь, уже сейчас живет будущий Будда, его будущее уже налицо. И в нем, и в тебе, и в каждом человеке ты должен почитать грядущего, возможно, скрытого Будду. Мир, друг Говинда, не есть нечто совершенное или медленно подвигающееся по пути к совершенству. Нет, мир совершенен во всякое мгновение; каждый грех уже несет в себе благодать, во всех маленьких детях уже живет старик, все новорожденные носят в себе смерть, а все умирающие — вечную жизнь. Ни один человек не в состоянии видеть, насколько другой продвинулся на своем пути; в разбойнике и игроке ждет Будда, в брамине ждет разбойник. Путем глубокого созерцания можно приобрести способность отрешаться от времени, видеть все бывшее, сущее и грядущее в жизни, как нечто одновременное, и тогда все представляется хорошим, все совершенно, все есть Брама. Оттого-то все, что существует, кажется мне хорошим: смерть, как и жизнь, грех, как и святость, ум, как и глупость — все должно быть таким, как есть. Нужно только мое согласие, моя добрая воля, мое любовное отношение — чтобы все оказалось для меня хорошим, полезным, неспособным повредить мне. На собственном теле и на собственной душе я убедился в том, что мне нужен был грех, что и сладострастие, и стремление к земным благам, и тщеславие мне нужны были в такой же степени, как и мое постыдное отчаяние, дабы наконец отказаться от противодействия миру, дабы научиться любить его таким, как он есть, не сравнивая его более с каким-то желательным, созданным моим воображением миром, с придуманным мною видом совершенства. Вот, Говинда, некоторые из мыслей, до которых я додумался.

Сиддхарта нагнул, поднял с земли камень и взвесил его в руке.

— Вот камень, — сказал он. — Через некоторое время он, может быть, превратится в прах, а из праха станет растением, животным или человеком. В прежнее время я бы сказал: “Этот камень — только камень. Он не имеет никакой ценности, он принадлежит к миру Майи. Но так как в круговороте перевоплощений он может стать человеком или духом, то я и за ним признаю ценность”. Так, вероятно, я рассуждал бы раньше. Ныне же я рассуждаю так. Этот камень есть камень; он же и животное, он же и Бог, он же и Будда. Я люблю и почитаю его не за то, что он когда-нибудь может стать

тем или другим, а за то, что он давно и всегда есть то и другое. Именно за то, что он камень, что он теперь, сегодня представляется мне камнем — именно за это я люблю его и вижу ценность и смысл в каждой из его жилок и скважин, в его желтом или сером цвете, в его твердости, в звуке, который он издает, когда я постучу в него, в сухости или влажности его поверхности. Бывают камни, которые наощупь словно масло или мыло; другие напоминают листья, третьи песок; каждый представляет что-нибудь особенное, каждый молитвенно произносит Ом на свой манер, каждый есть Брама и в то же время, в той же самой степени — камень маслянистый или сочный. И это-то именно нравится мне; это-то и кажется мне удивительным, достойным благоговения. Но довольно об этом. Слова вредят тайному смыслу. Стоит только высказать какую-нибудь мысль вслух, как она уже получает несколько иной характер, звучит немного фальшиво, немного глупо. Впрочем, и это хорошо, и это тоже нравится мне. Пусть то, что один человек считает своим сокровищем и мудростью, звучит для другого, как глупость — я и против этого ничего не имею.

Говинда безмолвно слушал его.

— Почему ты выбрал для примера камень? — спросил он наконец нерешительно, после долгого раздумья.

— Я сделал это случайно. А впрочем — я может быть, и хотел тебе показать, что я одинаково люблю и камень, и реку, и все вещи, на которые мы смотрим и от которых мы можем чему-нибудь научиться. Камень я могу любить, Говинда, так же, как дерево или кусок коры. Это вещи, а вещи можно любить. Но слова я любить не могу. Оттого-то всякие учения ничего для меня не стоят; они не обладают ни твердостью, ни мягкостью, у них нет цвета, запаха и вкуса, нет граней — они представляют собой одни лишь слова. Быть может, именно это, именно обилие слов мешало тебе обрести душевный мир. Ведь искупление и добродетель, Сансара и Нирвана — тоже одни только слова. Нет такой вещи, которую можно назвать Нирваной. Есть только слово Нирвана.

— Нирвана не одно только слово, друг мой, — заметил Говинда. — Это мысль.

— Мысль — пожалуй, — продолжал Сиддхарта. — Только признаюсь тебе, мой милый, я не вижу большого различия между мыслями и словами. Откровенно говоря, я не придаю особого значения и мыслям. Для меня важнее вещь. Здесь, на этом перевозе, например, моим предшественником и учителем был святой человек, который

много лет верил в одну только реку, другой религии у него не было. Он заметил, что река имеет голос, и стал прислушиваться к нему. Этот голос стал его учителем и наставником, сама река представлялась ему божеством. В течение многих лет он и не подозревал, что каждый ветерок, каждое облако, каждая птица или жук в такой же степени божественны, столько же знают и могут научить, как почитаемая им река. Но к тому времени, когда этот святой ушел в леса, он уже знал все, знал больше, чем я или ты, и без всякой помощи учителей и книг — только потому, что он верил в реку.

Говинда возразил:

— Но разве то, что ты называешь “вещами”, представляет что-нибудь действительно существующее, имеет реальность? Не являются ли они только обманчивыми, призрачными образами Майи? Разве твой камень, твое дерево, твоя река — реально существующие вещи?

— И это меня мало тревожит, — ответил Сиддхарта. — Пусть вещи имеют только кажущееся бытие. Но ведь в таком случае и мое бытие есть только кажущееся, значит, в том и другом случае они одинаково сродни мне. Оттого-то я и отношусь к ним с любовью и уважением. Оттого-то я и могу любить их. А вот наконец и мое учение, над которым ты наверно будешь смеяться. Любовь, Говинда, по-моему, важнее всего на свете. Познать мир, объяснить его, презирать его — все это я предоставляю великим мыслителям. Для меня же важно только одно — научиться любить мир, не презирать его, не ненавидеть, а смотреть на него, на себя и на все существа и вещи с любовью, с восторгом и уважением.

— Это я понимаю, — сказал Говинда. — Но именно это Возвышенный признал заблуждением. Он предписал нам доброжелательность, терпимость, кротость, снисходительность, но не любовь. Он запретил нам отдавать наше сердце любви к земному.

— Знаю, — сказал Сиддхарта, и улыбка засияла на его лице. — Я знаю это, Говинда. Вот мы и забрели с тобой в дебри мнений, в спор из-за слов. Не могу отрицать, мои слова о любви как будто находятся в противоречии со словами Гаутамы. Оттого я и не доверяю словам. Но это противоречие только кажущееся. Я знаю, что я совершенно согласен с Гаутамой. Возможно ли, чтобы не знал любви тот, кто познав всю бренность и ничтожность человеческого бытия, тем не менее настолько любил людей, что посвятил долгую, тяжелую жизнь исключительно тому, чтобы помочь им, просветить

их. И в нем, твоём великом учителе, дело мне милее слов, его жизнь и дела важнее речей, движение руки важнее мнений. Не в словах и мыслях я вижу его величие, а в его делах, в его жизни.

Долго молчали оба старика. Наконец, Говинда произнес с прощальным поклоном:

— Благодарю тебя, Сиддхарта, за то, что ты высказал мне некоторые из своих мыслей. Они кажутся мне несколько странными: я не все сразу и понял. Но как бы то ни было, я благодарен тебе и желаю тебе спокойных дней.

Про себя же он подумал: "Странный человек — этот Сиддхарта! Странные у него мысли, и нелепо звучит его учение. Не таково чистое учение Возвышенного. Оно яснее, чище, понятнее, в нем нет ничего странного, нелепого или смешного. Но совсем иными, не похожими на его мысли кажутся мне руки и ноги Сиддхарты, его глаза, его лоб, его дыхание, его улыбка, его поклон и походка. Ни разу с тех пор, как наш Возвышенный Гаутама ушел в Нирвану, ни разу не встречал я человека, при виде которого я бы почувствовал: вот святой. Один только Сиддхарта внушает мне такое чувство. Пусть его учение звучит странно, пусть его слова кажутся нелепыми — но его взгляд и его рука, его кожа и волосы — все в нем сияет такой чистотой, таким спокойствием, такой ясностью, кротостью и святостью, каких я не видел ни у кого из людей с тех пор, как умер последней человеческой смертью наш Возвышенный Учитель".

С такими мыслями в голове, с противоречивыми чувствами в сердце, Говинда еще раз, побуждаемый любовью, низко склонился перед спокойно сидящим Сиддхартой.

— Сиддхарта, — сказал он, — мы с тобой уже старики. Вряд ли мы еще раз увидим друг друга в этом образе. Я вижу, возлюбленный, что ты обрел покой. Я же, признаюсь, его не нашел. Скажи же мне еще одно слово, напутствуй меня чем-нибудь таким, что было бы доступно моему уму. Тяжел и мрачен по временам бывает мой путь, Сиддхарта!

Сиддхарта молчал и смотрел на него со своей всегдашней тихой улыбкой. Говинда же не спускал глаза с его лица. Он глядел на него робко, с тоской. Страдание и вечное, неудовлетворенное искание читались в его взоре.

Сиддхарта видел это и улыбался.

— Нагнись ко мне! — прошептал он на ухо Говинде. — Нагнись

ко мне! Так, еще ближе! Совсем близко! Поцелуй меня в лоб, Говинда.

Но в ту минуту, когда Говинда, изумленный и все же влекомый великой любовью и предчувствием, исполнил желание друга, в ту минуту, когда низко склонившись коснулся губами его чела, произошло нечто удивительное. Мысль его все еще была занята странными словами Сиддхарты, ум тщетно и против воли старался представить себе время несуществующим, а Сансару и Нирвану — как нечто единое, в душе его боролись некоторое презрение к словам друга с необъятной любовью и благоговением к его личности, — а с ним самим в эту минуту произошло следующее.

Лицо его друга, Сиддхарты, куда-то ступсвалось. Вместо него он увидел перед собой другие лица, множество лиц, длинный ряд, катящийся поток из сотен и тысяч лиц. Все они проходили и исчезали, и в то же время все, казалось, существовали одновременно, все непрерывно менялись и возобновлялись и тем не менее все они были Сиддхартой. Он видел перед собой голову умирающей рыбы — карпа с бесконечно-страдальчески раскрытым ртом, с угасающим взглядом — он видел лицо новорожденного ребенка, красное и сморщенное, искривленное плачем — он видел лицо убийцы, видел, как тот вонзает нож в тело человека — и тут же видел этого преступника, связанным, упавшим на колени, и рядом палача, отрубавшего ему голову одним взмахом меча. Он видел тела мужчин и женщин, обнаженные, в позах и судорогах неистовой страсти — видел распростертые трупы, безмолвные, холодные, мертвые — видел головы разных зверей: кабанов, крокодилов, слонов, быков, птиц — видел богов: Кришну, Агни. Все эти лица и фигуры он видел в тысячах сочетаний, то любящими и помогающими друг другу, то ненавидящими и уничтожающими друг друга, то вновь возрождающимися. Каждое было воплощенным стремлением к смерти, каждое было страстно мучительным признанием бренности, и ни одно однако не умирало; каждое только менялось, рождалось вновь, получало новое лицо, и все это без всякого промежутка во времени между тем и другим видом. Все эти образы и лица то находились в покое, то текли, рождая друг друга, то плыли куда-то и сливались вместе, а над всем этим потоком постоянно вздымалось что-то тонкое, бесплотное и все-таки имеющее субстанцию, словно тонкое стекло или яйцо, словно прозрачная кожа, или скорлупа, или маска из воды, и эта маска улыбалась, и этой маской было улыбающееся лицо Сиддхарты, которого он, Говинда, в эту

самую минуту касался своими губами. И эта улыбка маски, эта улыбка единства над стремительным потоком образований, эта улыбка одновременности над тысячами рождений и смертей, эта улыбка Сиддхарты была точь-в-точь такой же, как та тихая, тонкая, непроницаемая, не то благостная, не то насмешливая, мудрая, имевшая тысячи оттенков, улыбка Гаутама Будды, которую он, Говинда, сотни раз созерцал с благоговением. Так — сознавал Говинда — могут улыбаться только Совершенные.

Уже не понимая, существует ли время, продолжалось ли это созерцание один миг или целую вечность, не зная даже, существуют ли действительно Сиддхарта и Гаутама, Я и Ты, уже пронзенный насквозь божественной стрелой, очарованный и потрясенный — Говинда еще с минуту простоял, склонившись над тихим лицом Сиддхарты, которое он только что поцеловал, которое только что было ареной всевозможных образований, зарождений и существований. Теперь, после того, как под его поверхностью снова сомкнулась глубина множественности, это лицо приняло свое прежнее выражение: Сиддхарта опять улыбался — тихой, чуть заметной улыбкой, не то исполненной доброты, не то насмешливой — точь-в-точь, как улыбался тот, Возвышенный.

Низко поклонился ему Говинда. Слезы, которых он даже не чувствовал, струились по его старому лицу. Ярким пламенем горело в его сердце чувство глубочайшей любви, смиреннейшего поклонения. Низко-низко склонился он — до самой земли — перед неподвижно сидящим, чья улыбка напоминала ему все, что он когда-либо любил в своей жизни, что когда-либо в жизни было для него дорого и священо.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ОЧЕРК

... Сказал знакомый журналист: "Иерусалим разве столица Израиля? Иерусалим – это столица Палестины".

Представим гипотетическую ситуацию, в ближайшем будущем, возможно, реальную. Вы попадаете за железный занавес, и какой-нибудь незнакомый человек спрашивает, откуда вы. Если вы скажете: "Из Тель-Авива" – все ясно: вы израильтянин. А – "Из Иерусалима"? Надо слегка напрячься...

Для массового сознания Тель-Авив – синоним Израиля и на всех языках называется одинаково. Иерусалим же для каждого немного свой – Джерузале́м, Жерюзале́м, Джерузале́мма, а то и вовсе Аль-Кудс... И все же именно о нем сказано: если забуду тебя, да отсохнет моя десница, – и туда мы клянемся вернуться на будущий год.

А Тель-Авив? У него и название галутное – место сбора беженцев в Вавилонии. Мир охотно признает за нами галутную столицу Тель-Авив и галутного писателя Шолом-Алейхе́ма. Иерусалим и Библия, видно, слишком для нас хороши, их все время норовят экспроприровать в общественный фонд.

... Два рода столиц знает история. Одни естественно вырастают посреди страны и становятся центрами культурного пространства. Это случай Ки-

Дмитрий Сливняк

ДВЕ СТОЛИЦЫ

ева, Москвы, Парижа. Другие намеренно помещаются как бы на краю света, на границе Родины и Чужбины, Культуры и Природы. Они нужны для покорения и контактов. Таковы Петербург, Константинополь. Иногда у страны есть две столицы, как у России — “внутренняя” Москва и “внешний” Петербург. Похожая ситуация и у нас.

Сначала кажется, что в нашей паре столиц “внешний” именно Тель-Авив. У него космополитический средиземноморский облик, создан он для целей колонизации на безымянной земле, лежащей в стороне от исторических центров, да и название у него не отсюда. Самолеты за границу и из-за границы пролетают прямо над крышами бетонных домов, и чтобы попасть сюда из Иерусалима, нужно спуститься, то есть чуть-чуть да покинуть страну...

Но и Иерусалим, традиционная столица, казалось бы — “внутренний”, естественно выросший город, тоже лежит на границе — на линии, отделяющей благоустроенный и сравнительно безопасный Космос от пустынного каменистого Хаоса, населенного демонами мрака, морлоками, на нас работающими и на нас же нападающими. Еврею там поселиться — для одних грех, для других подвиг, в любом случае — вызов. Да и в самом Иерусалиме строительство каждого нового дома отзывается в высших международных мирах, колебля хрупкую вселенскую гармонию. Поэтому сами эти дома относятся к своему существованию крайне серьезно, крепко вбиты в землю, сделаны из нарочито тяжелого камня с неровной поверхностью и часто похожи на крепости (какая разница с Тель-Авивом, как бы парящим в воздухе на сваях!). Здесь, на этом фронте борьбы за пространство, где еврейские кварталы одерживают победу над арабскими деревнями, окружая их, как в японских шашках “го”, Тель-Авив кажется глубоким и хорошо защищенным тылом, чья принадлежность нам бесспорна.

... Израильская, да и вообще еврейская реальность похожа на известные картинки, на которые один раз посмотришь — одно увидишь, другой раз — совсем другое. Вот так же внутренняя и внешняя наши столицы меняются местами при небольшой перемене точки зрения. Кажется, причина этому — в том специфическом пути, каким евреи приобретают культурные и прочие ценности и осознают такое приобретение.

У каждого народа существуют свои излюбленные способы для этого. Грузины, например, больше на охоту ездят. Поехал легендарный царь Парнаваз на охоту — нашел клад и благодаря этому

создал государство. Вздумал охотиться Вахтанг Горгасал — нашел горячий источник, основал Тбилиси. Отправился тот же Горгасал в завоевательный поход (эквивалент охоты), во сне предстали ему иереи и объяснили, как создать грузинскую церковь. Герои Руставели тоже все время куда-то едут и ищут пропавших — как бы охотятся. Автандил за Таризелем, вместе они — за Нестан-Дареджан...

Что касается русских, то они предпочитают сидеть на месте и ждать, покуда само придет. С севера пришли к ним варяги, с юга христианство, с запада петровская цивилизация и марксизм-ленинизм. Несчастья у них тоже импортные: татарское иго, еврейское засилье... И постоянная дилемма, постоянный спор: впускать или нет, принимать или нет...

Хитрее всех устроились евреи. Они обычно делают вид, будто всего-навсего возвращаются к тому, что уже когда-то было. Что Моисей? Только-то и сделал, что вернул народ из Египта... Пророки тоже люди маленькие — возвращали людей к Богу и заодно невзначай заложили основы мировых религий. Нехемия и Эзра очередной раз вернули народ на место и попутно положили начало зданию галахического иудаизма. Вот и сейчас мы всего только возвращаемся — чего же вы от нас хотите?

Хотя мир ни во что не ставит эту маленькую еврейскую хитрость, игнорировать ее тоже нельзя, иначе мы просто ничего не поймем. Все происходящее здесь осуществляется как бы в двойной перспективе, где меняются местами "старое" и "новое", "внутреннее" и "внешнее", и двойственность эта распространяется и на все наши столицы.

Несмотря ни на что, Тель-Авиву удалось сохранить цельный облик, к тому же легко опознаваемый — из той же семьи, что Одесса, Марсель, Неаполь. Город явно лежит под знаком Меркурия, и витрине магазина там, безусловно, уделяют больше внимания, чем фасаду дома — часто обшарпанному и невыразительному... Сложнее в Иерусалиме, где двусмысленность его роли, сама по себе делающая жизнь достаточно кошмарной, осложняется тем, что город является крупнейшей в мире фабрикой Абсолюта. Жизнь перед лицом Всевышнего непроста — ходя по улицам, ездя в автобусах, торгуя, приходится все время помнить, где ты находишься и перед кем стоишь. Иерусалим всегда начеку — перед Богом и перед врагом, и улицы его заполнены людьми в черных и зеленых униформах. Все это вместе придает горо-

ду колорит надрыва и бреда — чуть-чуть замаскированный в переулках Рехавии и Тальпиота, зеленых и тихих, как садики при психбольнице, более явный в новых районах с их причудливо-странными домами, и особенно сильный в кафкианском лабиринте университета на горе Скопус (сравнить с простым и ясным университетским кампусом в Тель-Авиве!).

Даже на выходцах из России, пробывших здесь считанные годы, и на их субкультуре откладывается различие городов. Нигде, кроме Иерусалима, не найдем мы такой надрывной, свирепой ностальгии, когда в комнате с окном, вознесенным над библейским Вифлеемом, тоскуют о российских пригородных дачах. Да и само слово это — Иерусалим — в русском контексте до того нагружено высокими и торжественными ассоциациями, что бесхитростные, казалось бы, слова Михаила Генделева:

жил сочинитель и поэт
в Иерусалиме —

звучат необычайно многозначительно и с глубоким подтекстом. Тель-Авив в русских стихах тоже есть — в ироническом цикле Михаила Гробмана. Здесь город выступает в уже известной нам роли “глубокого тыла”:

Может быть, в порыве неги
Одинокая жена
Невоенному коллеге
В Тель-Авиве отдана...

или:

А сам — по-солдатски суров и красив —
Вернусь триумфально в родной Тель-Авив...

или, как в газетных текстах, в качестве персонификации Израиля:

Посреди Тель-Авива есть старый погост.
Где лежат все отцы сионизма...

Серьезных ассоциаций на русском языке это название вызвать не может — это все заради шутки, на хрена мне Тель-Авив... Попробуйте вставить Иерусалим в стихи Гробмана!

Два полюса израильского пространства, два фокуса израильской реальности явно связаны и с двумя полюсами здешней культуры: Тель-Авив олицетворяет самоощущение "мы — как все народы", похожие на других и в таком качестве принятые другими; Иерусалим — уникальность, вечную непонятость и непринятость, вечный конфликт с миром. Как бы двумя глазами смотрит Израиль на мир и на себя...

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

новая книга

НИНА ВОРОНЕЛЬ. КАССИР ВЕЧНОСТИ *(пьесы и эссе)*

380 стр.

19 долл.

...Талантливый композитор вынужден приписать свои творения вымышленному "народному гению", но вот "гений" является за славой собственной персоной...

...Кухарка, тронутая палочкой Фен, становится распорядительницей культурного ведомства, а Фен, ставшая кухаркой, оказывается лицом к лицу с похотливым кухаркиным мужем...

...Забредший на волжский дебаркадер Христос предстает перед хмельным скопищем человеческих уродцев, и они готовы распять подозрительного чужака...

И рядом с этими жуткими в своей правдивости, лишь оттененной фантастичностью, сценами советского быта — праздничная процессия Каннского фестиваля; закулисные тайны бродвейских театров; иронические портреты западных феминисток — иной мир, иные проблемы...

Эта книга — двуликий Янус, обращенный как к тем, кто ищет в литературе напряженного сюжетного драматизма, так и к тем, кто хочет с ее помощью понять окружающую новую жизнь.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Ремат-Ган, Израиль.

За четыре десятилетия своего существования Еврейскому государству пришлось пройти через пять обычных войн и войну на истощение. Последняя и шестая — это война, навязанная Израилю, — бунт арабского населения в Иудее, Самарии и полосе Газы.

Война эта — уникальный вклад мусульманского мира в развитие цивилизации и международных конфликтов, и можно не сомневаться, была бы невозможна ни в Европе, ни на американском континенте. "Пристрелка" ее была осуществлена в Тегеране в 1979 году, когда на улицы и площади иранской столицы вышли миллионные толпы поддавшихся массовой истерике подданных шахиншаха; второе испытание вышло на долю Филиппин, и третье, более стертое и размытое, до смерти напугало Москву во время событий в Ереване. Разумеется, каждый отдельный случай был вызван своими причинами и отличался от двух других, но вместе с тем, все они характеризовались одной общей чертой — готовностью крупных групп населения идти на риск и на жертвы. И если ни шах Реза Пехлеви, ни президент Маркос, ни новый советский лидер не отдали приказа стрелять по толпе, это вовсе не значит, что на чью-то долю не выпадет

Зорий Копялиович

**УРОКИ
НЕОБ'ЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ**

трагическая судьба взять на себя эту проклятую миссию.

Сейчас, после девяти лет хомейнистского засилья в Иране и целого шквала статей, комментариев и публикаций о нем, ни для кого не секрет, что шах просто растерялся. И хотя генералы и требовали от него открыть огонь, согласия они так и не получили. Шах слишком отчетливо сознавал свою зависимость от Соединенных Штатов и не тешил себя иллюзиями по поводу возможной реакции тогдашнего хозяина Белого Дома — президента Джимми Картера.

Я не знаю, была ли замешана американская секретная служба в хомейнистском перевороте, но то, что невидимая рука КГБ издала помешивала в Иране кипящий котел страстей, сомнений никаких быть не может. Москва лебезила перед шахом, но опасалась его больше, чем кого-нибудь другого. Ведь именно он обещал превратить Иран к двухтысячному году в пятую по мощи военную державу. А при том темпе индустриализации и социальных реформ, который он взял, угроза могла стать вполне реальной. Что выиграли от прихода к власти фанатичных аятолл великие державы — это уже другой вопрос. Тегеранская оплеуха, связанная с захватом американского посольства, и позорный провал акции по спасению дипломатов — еще ничто в сравнении с оглушительными стратегическими потерями — превращением такого плацдарма Вашингтона на Среднем Востоке, как Иран, в заклятого врага и варварским надрезом основной нефтяной кишки Запада в районе Персидского залива. Увы, — проигрыш Москвы несколько не меньше: вместо ориентирующегося на Запад восточного деспота, действующего все же в соответствии с рациональными мотивами, ей противостоит теперь фанатик с пещерной ментальностью, сознающий, что в его руках бикфордов шнур от самого страшного минного поля — пятидесятимиллионного арсенала советских мусульман. Не знаю, как для кого, но для автора этих строк, родившегося и выросшего в столице Азербайджана Баку, вступление советских войск в Афганистан всегда выглядело, как угрожающий жест в адрес распоясавшихся аятолл: пока это только Афганистан...

Поспешное согласие Москвы вывести оттуда свои войска и отказ от всех прежних предварительных условий — это еще одна пощечина, которую престарелый тегеранский гордец умудрился нанести издали еще одной великой державе. И послед-

ствия ее просто непредсказуемы, — но это уже тема для другой статьи и для другого разговора...

Исламский ренессанс в Иране резко изменил идеологическую карту мира. Он не просто перенес ее на пять-шесть веков назад, но и вскрыл те пласты религиозного мракобесия и дикости, которые пресыщенным либералам давно уже казались позавчерашним днем истории. И хотя непосредственная зона иранского влияния более чем ограничена, мины только начали рваться и несомненно вызовут еще колоссальные жертвы.

Можно вести академические споры на тему, является ли хомейнизм реакцией на опустошенность и бездуховность Запада или на коммунистическую экспансию, но одно несомненно: в двадцатом веке пожар религиозного фанатизма может полыхать не менее яростно и беспощадно, чем многие сотни лет назад. И это, пожалуй, самое отрезвляющее открытие, которое придется сделать цивилизации в эпоху космических полетов и генной инженерии.

Вначале мало кто заметил, что стрелки на часах истории дрогнули и пошли назад. В конце концов, приступы безумия охватывают планету не впервые. Ледяной ужас, который сковывал человечество при мысли о возможной ядерной катастрофе, носил скорее теоретический характер, поскольку в глубине души мало кто верил, просто не мог поверить, что кто-нибудь решится на гибель цивилизации в целом. Но когда на полях сражений в Персидском заливе впервые густым и плотным облаком повисли отравляющие газы, а с экранов телевизоров, как адовы видения, замелькали обожженные и лопнувшие куски кожи и кричащая от боли и ужаса человеческая плоть, наступил шок. Война эта была далеко, и от нее можно было отстраниться, выключив телевизор или перевернув газетную страницу. Однако грозная надпись на стене росла и ширилась, покуда не превратилась в кошмарную галлюцинацию: обезлюдевшие курдские села на Севере Ирака, скрюченные и расплзшиеся трупы детей и стариков. Тот, кто не был защищен броней легкомыслия и равнодушия, вдруг уловил далекий, но настойчивый сигнал смятения и тревоги: цепная реакция только начинается...

В сущности, все мы легки на внешние ассоциации, и именно поэтому не всегда улавливаем внутреннюю суть явлений. А она куда страшнее: дело даже не в освобождении от уроков истории и морали, которое несет с собой исламский экстре-

мизм, а в идейной подоплеке происходящего: убийство и война во имя Аллаха — не преступление, а святая обязанность каждого правоверного мусульманина! А смерть во имя ее — не исчезновение в мутном потоке небытия, а полная индульгенция и пригласительный билет в рай...

Здесь-то мы и подходим к тому основному и главному нерву проблемы, который может не только наэлектризовать загнивавшую фанатичным лидером толпу, но и толкнуть мать пожертвовать своим собственным ребенком. С точки зрения европейца — это безумство, трагический абсурд, взрыв пещерного подсознания, с точки же зрения глубоко верующего мусульманина — возможность стать святым. В одиннадцать лет я впервые увидел траурное шествие шиитов в день поминовения убиенного в седьмом веке халифа: ошалевшую толпу, мужчин с выбритыми головами, цепи и ножи, которыми рассекались мягкая плоть, кровь на лицах и на плечах и хриплые крики: "Шах-сей! Вах-сей!" Тот, кто погибает во время церемонии, мгновенно возносится в мягкие и скорбные руки ангелов, дабы предстать перед самим Всевышним...

Смерть во имя святости — так определяет это Коран. Недаром с таким ужасом относятся к современным янычарам Аллаха — "братьям-мусульманам" — большинство властителей мусульманских стран. Даже в фанатичном Риаде или Исламабаде хорошо понимают разницу между "светским" Исламом и исламским фундаментализмом, новое брожение которого начинает охватывать миллиардную армию поклонников Магомета. Только за несколько последних лет диктатор Сирии генерал Хафез Эль Асад вырезал более пятнадцати тысяч фанатиков в своей стране, и хотя подобного геноцида пытаются избежать в других мусульманских странах, тюрьмы Египта и Иордании, Кувейта и Ирака полны мусульманскими "камикадзе", готовыми на путешествие в иной мир.

* * *

Война, которую объявили арабы Иудеи, Самарии и полосы Газы Еврейскому государству, носит отчетливые признаки религиозного "джихада". Можно утешать себя тем, что это не так, что волнения охватили не только мусульман, но и христиан (число которых, правда, вряд ли превышает шестую или

пятью часть арабского населения Израиля), что они направляются и руководятся палестинскими террористическими организациями и вообще имеют не столько религиозный, сколько этнический характер, — но от этого ничего не изменится. Имамы в открытую призывают к мести в мечетях, подстрекатели из "исламского джихада" собираются по домам и четко распределяют роли, а матери посылают на улицы своих несовершеннолетних сыновей.

— А что если на улицы выйдут сотни тысяч? — спросил меня полгода назад, еще до начала "джихада", Абед Абурабия, преуспевающий бизнесмен из Шхема, кончивший в свое время мусульманский университет в Каире.

Я смотрел на модный, с иголки, парижский костюм, на дорогие, крокодиловой кожи, "мокасины", на белоснежный платок на голове с черными традиционными жгутами и не совсем понимал, о чем он говорит. И только улыбка, скользившая по его лицу в такт дорогим четкам, и острый, пронзительный взгляд из-под модных очков убедили меня, что мой собеседник не шутит.

- Ты помнишь, как пришел к власти имам Хомейни?

- Еще бы, — ответил я, ничего не подозревая.

- А если нечто такое случится здесь, на Западном берегу или в Газе? Если на улицы выйдут не десятки и сотни, а десятки, сотни тысяч людей? Вы будете стрелять?

Мне стало холодно, и я не нашел, что ответить. Абед Абурабия смотрел на меня сквозь дорогие очки с нескрываемым торжеством...

Так уж сложилось, что у меня есть много знакомых среди арабов Иудеи и Самарии. Людей простых и общительных, быстро забывающих об осторожности, и более интеллигентных, предпочитающих эзопов язык. И именно долгие и достаточно откровенные разговоры с ними убедили меня, что между арабо-израильским конфликтом и "палестинской проблемой", как таковой, лежит непроходимая пропасть. Для того, чтобы это понять, обратимся пусть даже к дилетантской демографии...

В Израиле, на территории меньше, чем 30 тысяч квадратных километров (вместе с Иудеей, Самарией и полосой Газы), живет около двух миллионов палестинцев, включая бывших иорданских и израильских арабов. В Иордании, чья площадь 92 тысячи квадратных километров, из 2,4 миллионов населения "па-

палестинцев" (или, если хотите, "феллахов") — свыше 60 процентов. Вместе с беженцами в Ливане, палестинским населением Соединенных Штатов, Сирии, Египта и Кувейта — это свыше 4,5 миллионов, а может быть, и больше.

Мы можем верить, что они ничем не отличаются от других арабов, что никакая это не нация и не народ и что мы сами способствовали их самоощущению как палестинцев. Но увы, то парадоксальное определение "еврея", которое дал в свое время Жан Поль Сартр (еврей — это тот, кого другие считают евреем), можно применить и к ним. Где бы они не находились, они не могут не быть палестинцами.

Первой их попыткой заявить о себе был мятеж в Иордании в сентябре 1970 года, когда террористические организации изнутри, а Сирия с севера готовились раз и навсегда покончить с "хашимитским королевством". И если бы не мгновенное и более чем решительное вмешательство Израиля, так бы и произошло. Естественно, что экстраполировать в прошлое — легкое жульничество, и все же я бы задал своим читателям вопрос: а что, если бы вместо короля Хусейна в Аммане сидел сейчас такой евнух палестинской "революции", как Арафат? Вы уверены, что было бы хуже? И что он тут же полез бы в драку?

Второй попыткой был Ливан, где они довольно быстро создали к югу от Бейрута свою пиратскую республику. Молодчики с автоматами терроризировали местное население — грабили, насиловали, убивали. За пару лет "Ближневосточная Швейцария" превратилась в простреливаемую со всех сторон и сожженную дотла зону анархии и разрухи без центрального правительства, с дезертировавшей армией и полицией и конфискованными в пользу бандитов всех мастей валютными запасами страны. На юге Ливана их называли "чумой"; при мне пресс-секретарь майора Хадада сказал однажды на более чем приличном иврите: "Это бацилла, которая еще принесет смерть всему Ближнему Востоку".

Когда сразу же после прекращения боев в июне 1982 года, группа журналистов израильского радио и телевидения была допущена в Сидон и Тир, самое большое потрясение вызвали у нас не обугленные остовы домов и тяжкий, смердящий дух пепла, а подвалы многоэтажных домов, нафаршированные оружием и взрывчаткой. Их жителям ни в случае налета, ни при артобстре-

ле негде было укрыться, — но что есть человеческая жизнь по сравнению с дорогостоящими боеприпасами? И еще одна деталь, которая преследовала меня долгие месяцы: огневая позиция у окна, к которой был привязан вместе со своим "РПГ" пятнадцатилетний "стрелок"...

Кровавую и густо исписанную страницу палестинского террора в Еврейском государстве не вырвешь из истории. Восточная жестокость ее всегда носила оттенок средневековой кровной мести и фанатизма. Но палестинцы были первыми, кто в приступе ярости и неистовства решили наказать не только евреев, но и весь мир и начали экспорт диверсий и убийств в далекую Европу и Азию (до Америки дело не дошло из чисто прагматических соображений). Их автограф ясно читался на похищениях самолетов и захватах заложников, на постыдной резне в Мюнхене и взрыве в еврейском ресторане Парижа, на драме в римском аэропорту и кровавой вакханалии в Стамбульской синагоге.

- Нас ненавидят так же, как ненавидели и ненавидят вас, — не раз и не два слышал я от арабов Рамаллы и Хеврона. — И кому как не вам, евреям, нас понять?

Однако разговор, чем вызвана эта ненависть, почему-то никогда не удавался. И только раз инженер арабской электрической компании в Восточном Иерусалиме, кончавший советский вуз, бросил мне:

- А разве ваше участие в революции в России и других странах не то же самое, что делаем сейчас мы?

- Стоп! — попытался я внести хоть какую-то ясность. — Разве участвуя в революциях, евреи пытались урвать себе территории в Советском Союзе или Польше или посягнуть на их целостность?

Но это был диалог глухих. Еврейский революционный заскок и попытка преобразовать мир (как жаль, что когда Всевышний создавал мир, при нем не было дежурного еврея — уж он бы объяснил ему в точности, как это сделать лучше!) воспринимаются на арабской улице в точном соответствии с "Протоколами Сионских мудрецов"...

Еврейскому национализму в широком плане этого слова предшествовал неудачный еврейский интернационализм. Палестинскому национализму предшествовала лишь ненависть к евреям. Но даже если бы евреев и не было, этот национализм ра-

но или поздно все равно бы появился на свет. Надо быть слепым и глухим, чтобы игнорировать бьющие наотмашь факты: в Иудее и Самарии ненавидят Иорданию точно так же, как в полосе Газы — Египет. Странников Хусейна здесь не больше десяти-пятнадцати процентов, остальные предпочитают рассказывать, как жестоко расправился "маленький король" с любой их попыткой заявить о себе еще до 1967 года. Кстати, не этой ли исконной и неизгладимой враждой к Иордании объясняется сравнительная лояльность бедуинов к Государству Израиль?

Свой длинный и кровавый счет с палестинцами есть почти у всех арабских государств. У Иордании, где палестинцев не было и нет не только в авиации или службе безопасности, но и на сколько-нибудь серьезной офицерской должности, и где охранка без суда и следствия бросает в тюрьмы сотни людей по первому подозрению. (Самый кошмарный сон хашимитского монарха — повторение событий в Иудее, Самарии и полосе Газы на восточном берегу Иордании.) У Сирии, которая держит лагеря палестинских беженцев в железном кулаке и генеральским сапогом на пять лет вышвырнула из своих пределов Арафата и его сторонников. У Египта, для которого фанатичное упорство палестинцев, — пощечина в его собственный адрес лидера арабского мира. У Ирака, приютившего заклятого врага того же Арафата Абу-Нидалья и хорошо прощупавшего "палестинский хвост" в шиитском и курдском подпольях. А отсюда недалеко до вывода: если бы не удобный фасад арабо-израильского конфликта, палестинская проблема давно превратилась бы в точное подобие курдской, от которой сейчас так жестоко страдают Ирак и Турция. Иначе говоря, — пришлось бы братьям-арабам или травить палестинцев газами и уничтожать их танками и артиллерией, или — подумать о том, что и как им дать? Правда, второй вариант куда менее вероятен...

И именно поэтому любое решение палестинской проблемы только за счет Израиля — то есть гипотетическое создание палестинского государства в Иудее, Самарии и полосе Газы, — стало бы всего лишь приглашением ко второму туру куда более жестокой и продолжительной войны. Войны, в которой посильное участие приняли бы те же великие державы — каждая на стороне своего протеже.

Вряд ли этого не понимают ученые-арабисты и всевозможные

политические советники, как в Москве, так и в Вашингтоне. Но по-видимому глобальное равновесие куда заманчивей, чем возможность еще одной локальной вспышки. Как бы ни старались в обеих этих столицах преуменьшить значение уже достигнутых результатов, они говорят сами о себе: соглашение о демонтаже ядерного оружия тактического радиуса действия в Европе немедленно ассоциируется со строгим "нейтралитетом" (продажа оружия не в счет) в Персидском заливе, а отступление советских войск из Афганистана — с ослаблением военных действий в Центральной Америке. Обратите внимание, как вяло и скучно реагировала советская печать даже на столь театральный шаг президента Рейгана, как отправка в Панаму нескольких тысяч морских пехотинцев: да разве мыслимо это было раньше? И не тайной ли договоренностью великих держав между собой объясняется столь ярое неприятие Сирией и Иорданией новых американских предложений по Ближнему Востоку, т.н. "плана Шульца"?

Когда король Иордании заявляет по американскому телевидению, что судьбу Иудеи, Самарии и полосы Газы должны решать сами палестинцы, а его спор с Израилем — всего каких-то двадцать квадратных километров в районе Мертвого моря, — это ли не животный страх перед возможными грядущими событиями? За двадцать лет, прошедших после Шестидневной войны, хашимитский монарх хорошо усвоил, что лучше Иордания в 92 тысячи квадратных километров, без Западного Берега и полосы Газы, чем Иордания с Иудеей, Самарией и полосой Газы, но без короля Хусейна...

Увы, хочет этого кто-нибудь или нет, но решить — не арабо-израильский конфликт, коему грош цена в базарный день, — а палестинскую проблему лишь жертвами со стороны Израиля, но без таковых же со стороны Иордании, а может быть, и Сирии и Ливана — невозможно! И именно четкое понимание этого факта заставляет сегодня арабов изо всех сил трубить о "конфликте суверенных государств", а не о войне границ и этнических общностей на Ближнем Востоке.

* * *

Таковы уроки Необъявленной войны. А что извлекаем из них для себя мы, жители Еврейского государства?..

Ни один народ мира не всматривается в себя с такой пристальностью и с такой болезненной ревностью, как мы, израильтяне. Никого так не трогает реакция со стороны и всевозможные пересуды, как граждан Еврейского государства. Для нас саморефлексия стала чем-то вроде второго "Я", назойливой галлюцинацией, которая сопровождает нас всюду, словно тень.

Мы все сорок лет своей новой истории пытались избавиться от роковой стигмы диаспоры, но она отомстила нам, превратившись из стигмы в национальную корону. Естественно, не "мы евреи", а "мы — израильтяне". Ведь у евреев за рубежом — какие бы они чувства к нам ни питали — свои цели и свои заботы. Бизнес или погоня за комфортом, интеллектуальные игры или планы перемены места жительства. (В Австралии, кстати, сейчас куда спокойней, чем в Соединенных Штатах или Канаде.) Евреи за рубежом — меньшинство в масштабе той страны, где они прижились; мы, израильтяне, — в масштабе всей планеты. И если им еще можно убежать на галерку и кокетничать ролью "зрителей", то мы вынуждены жить на жестоко просвечиваемой сцене и срывать более чем редкие аплодисменты, а куда чаще свист и вопли: "Долой!".

Естественно, что в любой темноте всегда найдется свой источник света. Возможно, теоретически, именно наша саморефлексия и национальный мазохизм не дают нам превратиться в двуногое стадо и голосовать за раввина Кахане, как французы голосуют за Ле Пэна. Но с другой стороны, это отравляет нам жизнь и загодя нейтрализует нашу инициативу. Ведь мы всегда должны проверять и чистить себя под "светоча цивилизации": а что на тот или иной шаг скажут за океаном? Или — а как к этому отнесутся британские газеты или французские интеллектуалы? А так как новые чудодейственные рецепты в психиатрической практике появляются крайне редко, то нас, несмотря на робкое и более чем осторожное использование традиционных средств, зачисляют в живодеры. И больше всего те, кто делает то же самое — то есть, борется с террором: возьмите, к примеру, прославленных соотечественников Текеррея и Шоу или Сервантеса!

Единственное отличие, пожалуй, — восточный орнамент, ибо в наших палестинах дипломатия отражает не норму, а патологию. Американцы познали это во Вьетнаме и Иране, русские — в Афганистане. Но еще задолго до этого дипломаты Ее Ве-

личества жаловались, что когда они слышат слово "Восток", они тут же хватаются за успокоительные таблетки.

Однако то, что мог себе позволить чиновник английской короны, не может позволить себе израильтянин: ему-то не дано, кончив выгодную колониальную службу, возвратиться восвояси и, посетив не очень Британский Музей, наслаждаться выращиванием цветов на традиционных лужайках. У него просто нет и не может быть другого дома. (Его дедушка с бабушкой на себе вкусили сладость быть пасынками.) А потому единственное, что ему остается, — это, стиснув зубы, крепиться и уповать на железные нервы.

Так мы приходим к более чем неутешительному выводу, что изменить что-то одни, если мы даже и очень рвемся к этому, мы не в состоянии. А посему мы вынуждены действовать не как апостолы мира или наставники в аристократических школах, а как поздние прохожие в мрачноватой и темной подворотне, где нож в бок или свинцовый кастет в голову — далеко не чрезвычайное происшествие.

Увы, всякий, кто когда-либо проходил через такого рода испытание, — каковы, кстати, ни были бы его взгляды и идеалы, — не может похвалиться, что вел себя, как истый джентльмен. Я прямо-таки вижу эту идиллическую картинку: тебе наносят оглушительный удар по уху, а ты, утирая кровь и поглаживая фиолетовый синяк, укоризненно заявляешь: "Пardon, но это же так негуманно!". После этого, кстати, заявлять уже будет нечего, потому что между лопаток намертво вонзится нож. (Одно из самых ярких воспоминаний моего детства — моя добрая и склонная к самоотречению еврейская тетья, директор библиотеки, встречается между избивающим свою собственную супругу соседом и его жертвой и патетически взывает: "Вася, но ты ведь книжки читаешь!", — а моя мама-адвокат грозно кричит: "Сейчас вызову милицию!" Без больницы, к сожалению, так и не обошлось.)

В таких случаях первый удар всегда может быть последним, и если сделал его не ты, он может стоить тебе жизни. И хотя я не отношусь к тем людям, которые считают, что все проблемы можно решить с помощью силы (впрочем, в юности я без ржавого куска трубы в правой брючине тоже не выходил из дома), я понимаю, что если нельзя обойтись без ее применения, то абсурдно выверять свои способы самозащиты по ду-

эльному кодексу девятнадцатого века. Это равносильно безумию или приглашению на свою собственную казнь.

* * *

Пятый месяц подряд израильское телевидение передает одни и те же кадры из Иудеи, Самарии и полосы Газы. Пятый месяц подряд улицы арабских сел и городов опалены горящими автопокрышками и остовами уже сгоревших автобусов и машин, а вслед израильским солдатам и пограничникам несутся бутылки с зажигательной смесью и шквал булыжников. Пятый месяц подряд имамы в мечетях призывают к мести, подпольные типографии печатают инструкции главарей палестинского террора, а на минаретах и проводах электропередач висят палестинские флаги. И пятый месяц подряд подстрекаемые из-за рубежа и собственной ненавистью юнцы превращают жизнь в ад и обрекают на мучения сотни тысяч людей, а разъяренные женщины осыпают силы Закона руганью и проклятиями. И этому нет конца. То, что происходит, уже не декорация национального мятежа, а норма жизни. Норма, которая в корне меняет не только ее привычный уклад, но и все былые оценки и представления.

Пусть никто не тешит себя иллюзиями, что мы не отвечаем на удар: мы отвечаем и отвечаем не менее болюно! Но мы не имели права давать втягивать себя в эту драку, даже если и знали, что сила за нами. Мы должны были прекратить ее сразу, какой бы взрыв всеобщего негодования впоследствии ни загудел бы по всему миру. Не так, разумеется, как это делал король Хусейн в Иордании или египтяне в Газе — нет-нет, совсем по-другому! А ведь у нас были и есть все законные средства, с помощью которых мы, возможно, могли бы обойтись и без вызывающих дрожь и отчаянье жертв или свести их к минимуму...

Когда арабские бензоколонки прекратили снабжать бензином и соляром жителей Иудеи, Самарии и полосы Газы, мы, заглушив идиотские ухмылки, остервенело спрашивали себя: почему только сейчас? Когда в пресловутый День Земли, а потом и в День Независимости заперли на прочный замок комендантского часа попусу Газы и закрыли выезд из Иудеи и Самарии, мы в бессильной ярости закусывали губы: почему не раньше? Когда было заявлено, что в случае надобности

будут перекрыты мосты через Иордан и местная арабская сельскохозяйственная продукция останется гнить на корню, мы не могли прийти в себя от боли: зачем ждать? Король Хусейн хвастается на американском экране, что посылает деньги "страждущим палестинцам", — и мы должны ему это разрешать? А сколько денег переводят палестинские террористы и Сирия?

Несчастье палестинцев в том, что в этой необъявленной войне они не могут победить и никогда не победят. Зато арабские страны уже извлекли из нее неоспоримый пропагандистский выигрыш, представив нас в качестве палачей, а самих себя — как радетелей "народа без земли". И в этом — наша и только наша вина. Потому что мы не смогли, не посмели перебросить пылающий мяч на территорию противника и твердо и четко провозгласить на весь мир: палестинский конфликт — это конфликт палестинцев не только с Израилем, но и с арабами, и решение его зависит от согласия на это всех сторон вместе взятых.

Когда слепой глаз телекамеры равнодушно фиксировал еврейских солдат, избивающих арабских парней, или показывал место, где были закопаны бульдозером два — давно оживших — "героя палестинской революции", каждый из нас думал, не мог не думать о том, что этого позора могло не быть. Ведь существует граница, за которой уважение человека к себе, и солдата в частности, отступить не может. И в том, что эта граница размыта и нагло подмигивает дырами в колючей проволоке — вина архитекторов нашей политики, а не кого другого. Нельзя без горечи и раздражения думать о том, что сделали эти юнцы. Но нельзя также без горечи и раздражения думать о том, что сделали им мы. Мы, которые бросили их, восемнадцати-девятнадцатилетних ребят, в змеиный клубок, дав им "мудрый" совет: ориентируйтесь по обстановке, действуйте по обстоятельствам! Какая обстановка? Какие обстоятельства? Как должен реагировать вчерашний школьник, напичканный идеалами и считающий, что он осуществляет свой национальный долг, когда его ругают последними словами, осыпают жестами, принятыми в среде уголовников, и забрасывают бутылками с зажигательной смесью и булыжниками? Стрелять? А потом идти под суд?

Все разговоры о том, что мы не были к этому готовы, —

жалкая попытка оправдаться. Потому что в основе всего лежала наша идеология, фальшиво мерцал тот нимб "либеральной оккупации", которым мы пытались окружить себя, предлагая "на вынос" одно сплошное сострадание и участие. Кого это устраивало, кроме нас самих?

Роль благородных завоевателей с треском провалилась, зал нас ошкарал и был прав. Благотетели поневоле — еврейское изобретение, и ни о чем, кроме нашего лицемерия, не свидетельствует. Если на то пошло, — чем мы тогда отличаемся от русских, "освободивших" пол-Европы и Афганистан? Мы должны были прежде всего решить для себя, что для нас Иудея, Самария и полоса Газы — ярмо на шею или, в случае потери, приглашение на национальное самоубийство? Кто согласится на "компромисс", если можно рассчитывать, что получишь все? Да и вообще — а можно ли навязать компромисс?

У нас не было и нет политической стратегии, у нас есть только временная тактика. Мы оттягиваем время, надеясь на сомнительный выигрыш, но время работает против нас. Не только с точки зрения пресловутой "демографии", но и прежде всего потому, что оно не залечивает раны, а превращает их в хронические язвы. Возьмите хотя бы лояльность израильских арабов по отношению к Еврейскому государству. Вы можете обеспечить людей хлебом и кровом, но вы не в силах дать им почувствовать себя, как дома. У дома не может быть двух хозяев, и всякий, кто пытался внушить арабским гражданам Израйля, что нет и не будет никакой разницы между ними и евреями, лгал и водил их за нос. Меньшинство — всегда меньшинство, и это его проблема, как оно приспособится к большинству.

Через сорок лет после создания государства меньшинство позволяет себе атаковать машины бутылками с зажигательной смесью и булыжниками? Выкрикивать экстремистские лозунги и вешать знамена террористической организации, основная цель которой — уничтожить это государство? Посылать делегации для выражения соболезнования по поводу смерти закланого врага страны, где они живут?

Мы не можем избавиться от арабов, как бы нам этого ни хотелось. И как бы им ни хотелось, они не могут избавиться от нас. Все разговоры о "трансфере" — бред и дешевый политический трюк, и не потому, что они негуманны, а потому

что сделать это мы практически не в состоянии, да нам и не дадут. Я бы хотел посмотреть на сорок тысяч автобусов, которые отвезут депортируемых к гостеприимно раскрытым настезь границам Иордании, Ливана и Сирии. (Это вам не десятки и не сотни подстрекателей!) И точно такой же бред — их мечты об уничтожении государства Израиль.

Нам суждено жить вместе, и это та часть национальной трагедии, которая была навязана нам племенной и этнической чересполосицей Ближнего Востока. А если так, мы должны без стыдливых жестов и экивоков сказать то, что давно должны были сказать: либо вы проявляете лояльность, либо получаете в ответ то, против чего восстаете: экономические репрессии, комендантский час, запрещение заниматься политической деятельностью. Одно дело — демонстрация или забастовка, другое — взрыв насилия. И тот, кто переходит границу -- не получает от государства того, что получает любой лояльный его гражданин: бесплатное медицинское обслуживание и обучение, пенсии и пособия по безработице, надбавку на детей и другие социальные льготы. Тот, кто видел дебош арабских студентов в кампусе Иерусалимского университета в связи с похоронами Абу Джихада, не может с этим не согласиться...

* * *

Палестинская проблема всегда была и до сих пор остается основной картой арабского мира и в междоусобных конфликтах, и в его противодействии Западу, ипостасью которого на Ближнем Востоке является в глазах арабов Израиль. Восток издавна ненавидел европейскую цивилизацию, обогнавшую и посрамившую его много поколений назад. Без Запада ему, естественно, не обойтись, но в своих зигзагах между Сциллой демократии и Харибдой коммунизма он всегда стремился извлечь выгоду и от той, и от другой, ни к одной из них особенно не приближаясь. Именно своей открытой прозападностью Израиль и мешает ему больше всего. А так как сознаться в этом вслух постыдно и может многого стоить — вылезает на свет темный джокер "народа без родины".

Палестинская проблема усиливает мусульманское единство, облагораживает фанаберическую цель "освобождения Иеруса-

лима от еретиков" и отодвигает струю чужого этнического кипятка от соседних арабских стран: в конце концов и вправду начинает казаться, что все дело действительно в упрямстве и несговорчивости евреев, хотя на самом деле, даже отдай они Арафату Западный Берег и полосу Газы, проблема не была бы решена даже частично. Но в то же время, в точном соответствии с законом сообщающихся сосудов, рост экстремизма арабского населения в нынешнем Израиле представляет более чем реальную опасность и для соседних государств. Ведь чем выше поднят один из них, тем выше уровень в другом. И если уровень фанатизма в Иудее, Самарии и полосе Газы перейдет через определенную границу, он может вызвать настоящий обвал.

Опасная игра, опасные перспективы, опасные прецеденты.

Поможет ли американо-советский аспирин ближневосточной лихорадке?

А может и вправду, безрезультатной терапии предпочесть пересадку органов? Но тогда в ней должны участвовать несколько доноров, поскольку идти на это кому-то одному — верная смерть?

А как бы к этому отнеслось мировое общественное мнение?

АМЕРИКАНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ищет недавних эмигрантов из Советского Союза,
имеющих солидный опыт работы в советских
научно-исследовательских, проектно-конструкторских
и планово-экономических организациях, а также
в различных отраслях промышленности
для подготовки обзоров о новейших достижениях
в соответствующих отраслях науки, экономики
и промышленности. Гонорары. Резюме высылать по адресу:
Delphic Associates, 7700 Leesburg Pike, No 250,
Falls Church, VA 22043

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Поначалу мы замышляли эту подборку как “круглый стол”, посвященный событиям на территориях. Русские евреи в СССР и на Западе настойчиво требовали от нас ответа на вопрос: что вы, наши соотечественники в Израиле, думаете об этих событиях? Мы обратили этот вопрос к нашим постоянным авторам в надежде получить достаточно представительный спектр ответов.

В ходе работы задуманный круглый стол превратился в заочный. Каждый из его участников высказал свои мысли перед микрофоном, независимо от других. Стиль высказывания перед микрофоном — конечно, не стиль авторской статьи, продуманной и взвешенной в каждом слове и повороте фразы. Это нужно учитывать. В данном случае каждый автор стремился донести прежде всего содержание своей мысли.

Есть общее и в этом содержании. Не сговариваясь друг с другом, все авторы нашей подборки поднялись над обычным для Израиля политизированием, не стали предлагать столь привычных для израильской и западной печати сиюминутных “решений” проблемы территорий или палестинской проблемы. Более того, оттолкнувшись от этих проблем, они поднялись над ними к более широкому вопросу: место Израиля на Ближнем Востоке, его экзистенциальная ситуация и его возможное будущее. В этом переходе к уровню, на котором злободневные проблемы становятся частными проявлениями исторических закономерностей, нашла отражение свойственная еврейской интеллигенции из СССР тяга к широкому историческому мышлению, так часто отсутствующая в израильских дискуссиях как справа, так и слева.

Насколько плодотворен такой подход и сама наша заочная дискуссия, — судить читателям.

Майя Каганская

МИФ ПРОТИВ РЕАЛЬНОСТИ

Вне всяких концепций — правых, левых, своих, чужих, — говоря просто о том, что е с т ь , приходится констатировать: есть восстание, есть кровь, есть смерть. С нами произошло то же, что происходит со всеми людьми, неважно — хорошо это или плохо: было первое потрясение, а теперь мы начинаем привыкать — каждый день убитые, но мы уже на это не реагируем... Это смерть,

но отношение к ней еврейства — особое: ведь если все люди смертны, то евреи — смертны вдвойне. Если все государства, все человеческие сообщества подвержены взрывам и дестабилизации, то Израиль более взрывоопасен, чем другие. Есть волнения в Советском Союзе, была война в Афганистане, неспокойно в Прибалтике, мусульмане режут христиан в Закавказье, но у нас — это не "где-то": у нас это — здесь и у нас это — мы. И я бы хотела взглянуть на это не с точки зрения фактов, которые всем известны (как их воспринимают — это вопрос другой), я бы хотела взглянуть не на политическую расстановку сил, а на некоторые ее исторические, психологические, моральные аспекты.

Условием сохранения морального здоровья нации или сообщества мне кажется как раз наличие того, что в современной мысли принято считать категорией отрицательной, а состояние, ею обозначаемое, — состоянием, которое должно быть преодолено для оздоровления общества или отдельного человека. Эта категория и эта ситуация называются "о т ч у ж д е н и е м". Но так же, как, по Ницше, иллюзия есть не что-то внешнее по отношению к жизни, — иллюзия есть сама жизнь, и жить можно лишь до тех пор, пока есть иллюзии, — так, на мой взгляд, отчуждение есть, в действительности, условие нормального существования. Что такое отчуждение? Это употребление л и ч н ы х м е с т о и м е н и й . Это ситуация, когда человек в своей психологической и моральной практике постоянно употребляет местоимения "мы" и "они". "Они" вторгаются в Чехословакию, "они" подавили революцию в Венгрии, "они, они, они"... "Мы" — это те, кто не вторгается в Чехословакию, н е устраивает концлагеря и так далее. "Мы" может означать любую общность — интеллигентов, евреев, любую группу, к которой м ы себя относим.

Евреи всегда были специфическим "мы". "Они" нас подавляли, "они" нас угнетали, "они" нас убивали... Такое разделение мира всегда дает "нам" чувство морального превосходства: к местоимению "мы" всегда подсоединяется существительное "жертва". Наша цивилизация обеспечивает за жертвой определенный моральный капитал. Огромный пласт европейской культуры, идущий от христианства, связан с представлением, что "нужно" быть на стороне жертв: достаточно вспомнить Симону Вайль, Генриха Белля и многих других. Эта позиция патетична, романтична, в определенных случаях почти героична, но главное — морально беспроектна. Галут веками купается в таком комфорте —

до последней минуты, когда его реально уничтожают. Я готова признать, что эта ситуация нормальна, если не считать идеологических спекуляций на ней типа той же Симоны Вайль. Ибо в принципе это идет от нормальной потребности человека отделять себя от чего-то угрожающего, злобного, дурного.

Такая ситуация чрезвычайно характерна для Израиля. Вместо того, чтобы честно признать положение принципиально безнадежным, принципиально нерешаемым (на глубинном уровне — что не исключает возможности решения и попыток решить на уровне социальном и политическом), израильтяне тоже обходят морально невыносимую проблему путем разделения мира на "мы" и "они". Это делают и левые, и правые. Зло отчуждается в самых различных обликах. Существуют группы, для которых "они" — это поселенцы, все зло идет от них "они" угрожают обществу. Какая-нибудь иная группа демонстрирует под окнами канцелярии премьера с лозунгом "Долги оккупацию". Для нее "они" — это правительство, самый легкий и самый удобный объект отчуждения. (В современных демократических обществах стало законом: если правительство не обвиняют — над ним смеются; чаще — и то, и другое вместе; правительство — нечто вроде "священного царя" в архаичных культурах, о котором писал Фрэнк: ему передавали полноту власти в начале и убивали в конце.) Израильские правые говорят, что во всем виноваты левые, израильские левые говорят, что во всем виноваты правые. Это даже не демагогия — это просто попытка каким-то образом морально устоять. Я не осуждаю такое поведение, потому что я вижу его как естественное, как неизбежное. Это такой же факт жизни, как то, что происходит на территориях.

Если же, поднявшись над разделением на "мы" и "они", задуматься над тем, что стоит за всеми этими фактами, то мы поймем, что поведение израильтян вытекает из абсолютной невозможности принять на себя — в целом, как группа, — вину и безнадежность. Иными словами, за внешним драматическим разнообразием позиций и точек зрения скрывается в действительности нечто прямо противоположное — единство. Единство отчаяния, быть может; во всяком случае — безысходность. Народ не может объявить себя виноватым целиком, до единого, и потому он дифференцируется, отталкивая эту вину от себя и перенося ее на других — внутри самого себя. В действительности, однако, он нерасчленим в этой ситуации, потому что все, ему противостоящее, противо-

стоит ему как целому, как народу, тотально и недифференцировано. Что же это такое противостоит нам, как целому, от чего мы отталкиваемся и что не хотим принять? Это — наша с м е р т ь .

Именно потому, что на подсознательном уровне Израиль это знает, он инстинктивно предпочитает внутреннюю дифференциацию, из которой растет внутривнутриполитическая борьба, ее яростная демагогия и удручающая упрощенность. И тогда каждая группа получает возможность думать, что вина за противостояние, за события на территориях, за безысходность лежит не на ней, а на д р у г и х , и если бы была принята е е идеология, угроза, идущая извне, была бы устранена. Это способ избежать осознания, что угроза связана не с той или иной идеологией, направлена не против той или иной группы израильтян, порождена не той или иной политикой, а чем-то совсем другим и потому н е у с т р а - н и м а .

Обычно ситуация описывается так: есть два народа, которые сошлись в смертельной схватке. В действительности однако в этой схватке участвуют не два народа, а две неравные части двух народов. В нашем обществе и справа, и слева говорят о "сильном Израиле", делая из этого разные выводы. Левые говорят: именно потому, что Израиль силен, что у него есть государство, что у него есть армия, чуть не самая сильная на Ближнем Востоке, — мы должны пойти на компромисс (что, кстати, предполагает, что есть вторая сторона компромисса) и тогда мы добьемся того-то и того-то. Правые тоже исходят из концепции силы и говорят: именно потому, что мы сильны и пока мы сильны, мы должны удерживать, давить, не давать, не пускать... Не то, чтобы все они были неправы, — неверна исходная предпосылка. Мы не сильны. В нашей ситуации сильная армия и уже существующее государство не есть абсолютный фактор силы. Мы — всего лишь н е б о л ь ш а я ч а с т ь е в р е й с к о г о н а р о д а , и наше существование не обеспечено, потому что еврейский народ в целом н е о т к л и к н у л с я н а с и о н и з м . Наше государство основано на идее, обращенной к народу, который на нее не откликнулся. Под нами — бездна, пустота, порожденная равнодушием нашего собственного народа. Но мало того, что мы представляем собой всего лишь треть своего народа; сам этот народ насчитывает всего тринадцать-четырнадцать миллионов человек. Что это в сравнении с цифрами, которыми оперируют сегодня подлинно-большие народы, большие этносы? Но есть второе обстоятель-

ство: что собой представляет сам этот народ? Это народ, которому всего лишь полвека тому назад был вынесен смертный приговор, так или иначе поддержанный судом присяжных всего человечества. Отменен этот приговор или только отложен — этого никто не знает. Это — наш фон. Мы — народ с коллективной смертью позади. Это наш фон, а ведь ситуация здесь такова, что решающую роль в столкновении играет именно фон, стоявший за обоими противниками. Не случайно, стоило начаться восстанию на территориях, — а я называю это восстанием, — Израиль на глазах начал превращаться в "коллективного еврея". Не буду говорить о своих чувствах — в конце концов, я не коренная израильтянка, мой Израиль — это реализованная идеологическая потребность, — но на вторую неделю событий я встретила своей подругой — молодой "саброй" (и не в первом поколении), которая рассказала мне, что ей каждую ночь снится один и тот же сон: корабли, по железной дороге (!) увозящие всех нас в Освенцим. Но ведь это значит, что в ее подсознании выплыла не только та катастрофа, которая уже произошла, но и та, возможность которой она постоянно чувствует здесь. Это та катастрофа, призрак которой все время существует в коллективном подсознании израильтян. И это то, что мы привносим в наш здешний конфликт.

Что же привносит в него наш противник? Так же, как и мы, палестинцы только часть своего этноса — стомиллионного, который проигрывает войны в современном смысле слова, но всякий раз находит новое оружие; и сегодня нашел его в исламском фундаментализме. Этот мир разделен внутренними конфликтами, — но по отношению к нам этот мир един. При такой расстановке сил говорить о нас, об Израиле, как о сильной стороне, а о них, о палестинцах, как о слабой, просто смешно. Я часто слышу разговоры, которые кажутся мне самым страшным — ибо наивность, иллюзии и сентиментальность, право же, страшнее трезвого отчаяния. Арабам, говорят мне, нужно объяснить нашу историю, наше положение, показать, что у нас нет другой земли и тому подобное. Или мне говорят: они люди — и смотрят при этом на меня так требовательно, как будто я утверждаю, что они кошки. Ну разумеется, они люди. Но мало того, что они люди. Именно потому, что они люди, их выводы могут быть неадекватны нашим ожиданиям. Нас уничтожали — значит, мы народ, принципиально уничтожаемый. Человечество уже от нас однажды отка-

залось — почему не рассчитывать, что оно откажется еще раз? Я уверена, что идеологические центры, которые, конечно же, существуют у арабов, у палестинцев, и которые разрабатывают их стратегию, всегда имеют это в виду. Они воспитывают — в себе и в мире — отношение к Израилю как к еврею. Один из иерусалимских христианских лидеров заявил недавно, что палестинцы — это Христос, распятый между народами. Это прекрасно иллюстрирует, в какой контекст вписывают эти люди наш конфликт и нас самих. На днях какая-то левая организация в Италии подожгла магазин еврейской книги. Я видела обугленные страницы и надпись: “На этих книгах кровь палестинских детей”. Те, кто совершил этот поджог, имели в виду не просто покушение на “еврейскую лавку” вообще — они вписывали свое действие в исторический контекст еврейского существования, напоминали нам — и миру — о тех временах, когда жгли еврейские книги, — а потом самих евреев — и утверждали: так было, так есть и так будет. О какой силе мы говорим?

То, что происходит в политической реальности, очень просто — происходит восстание. Палестинцы несомненно угнетены, несомненно есть оккупация, есть навязанный им режим и так далее. Но главное — не в этом. Здесь уже были чужие режимы — были англичане, были французы. Но мы — не англичане, не французы, мы — евреи, и они это знают. Чем мы утешаем себя? Что мы — часть западного мира? Мы это понимаем, вопрос — понимает ли это западный мир? Но арабы вдобавок знают еще, что мы не оказались частью западного мира во время Катастрофы. Запад отторг, изверг нас.

Израильское общество тешит себя сегодня двумя утопиями — негативной и позитивной. Негативная утопия — “трансфер”, то есть насильственное выселение палестинцев; позитивная — конфедерация (кажется, с Иорданией). Но сторонникам трансфера стоило бы серьезно обдумать моральный аспект предлагаемой ими акции. Нет, не тот, который обычно имеют в виду — реакция Запада и тому подобное. Стоит задуматься над тем, что будет представлять собой психика (не психология, а именно психика) израильтян после такого коллективного действия. Евреи, к сожалению, слишком поздно вошли в историю. Западные народы уже успели к этому времени совершить все свои героические деяния: завоевать Америку, истребить индейцев... Увы, во времена Колумба не было телевидения, — а мне бы очень хотелось увидеть

телевизионные кадры, где Кортес сжигает живьем Монтесуму. Занятно представить себе освоение американского континента в сопровождении телевизионных камер и мирового общественного мнения. Может, это было бы и хуже, а может, это было бы лучше, но — есть то, что есть: мы вошли в историю лишь в конце двадцатого века и мы вошли в нее как люди двадцатого века. И хуже того — как евреи. Осуществив трансфер, мы сами создадим для себя ситуацию, при которой отделить себя, любую группу внутри народа, как неповинную, сказать "мы" и "они" уже будет невозможно. Те, кто захочет сказать "мы", просто покинут страну. Общество рухнет. Современный еврей моральных последствий трансфера не вынесет, он не сможет найти оправдания прежде всего в своей собственной психике.

Что касается "позитивной" утопии, то дело даже не в том, что она заранее лишает нас суверенитета, независимости и проч.; я думаю, что она является прежде всего утопией. Тогда уж лучше другое, не менее позитивное решение — еще пять миллионов евреев из галута. Это изменило бы не только нашу демографию, но и нашу психологию.

Ибо на мой взгляд, самое страшное в нашей ситуации — это не арабы, это сами евреи, их психология. Взять хотя бы события в Бейте*. Я скажу страшную, быть может, вещь, но я уверена, что люди, пославшие детей в экскурсию, подсознательно знали, что кто-то из них может быть убит. И может быть, столь же подсознательно чувствовали, что так и должно быть: рядом с кровью арабских детей должна пролиться кровь детей еврейских. Дети на детей, так сказать...

В этой ситуации нам остается позиция силы — но такая, в которой военной силе отводится последнее место. Это однако тоже утопия — где взять эту силу? Можно только повторить за другими: эта сила могла бы быть подкреплена большой алией. Если Израиль — сионистское государство, государство евреев, осуществляющее историческую судьбу (или борющееся с исторической судьбой) еврейского народа, то — где еврейский народ? А если мы уже не евреи? Если Израиль — новое сообщество? Тогда нам нужно искать опору внутри себя. Мы имеем право на жизнь. Что же мо-

* Во время экскурсии поселенческой молодежи арабы Бейты забросали группу камнями, вызвав в ответ перестрелку, в результате которой погибла одна еврейская девочка и двое палестинцев. (Прим. ред.)

жет быть такой опорой? Я бы сказала: “железная стена”, о которой говорил Жаботинский. Но не в смысле политическом или военном, а прежде всего в смысле абсолютной и тотальной уверенности в своей правоте и в своем праве. Что не исключает, разумеется, ни компромиссов, ни переговоров...

Нет, это не отречение от нашего прошлого. Не мы отрекаемся от своего прошлого — еврейство отрывается от нас, от своего будущего. Мы готовы принять свое прошлое. Пусть наш “приговор” станет нашим мифом — тем мифом, в котором рождается любая история. Что ж, наш миф таков... Нужно только понять, в чем он состоит — урок Катастрофы. Один из бывших узников Освенцима сказал недавно: в лагерях была дана новая Тора, только мы ее еще не можем прочесть. Отцы-основатели сионизма всегда смотрели на будущий Израиль, как на убежище. Но сегодня нет на Земле места более опасного для евреев, чем Израиль. Значит: если речь идет о выживании еврейского народа, как высшей и абсолютной ценности, то (для нерелигиозного сознания, по крайней мере) Израиль — не нужен. Выжить можно лучше в галуте. Но может быть, речь идет о том, чтобы погибнуть с честью. На днях другой бывший узник рассказывал, что когда он посылал своего сына — уже в Израиле — на войну, он сказал ему: тебе выпала честь умереть с оружием в руках — у нас в Освенциме такой чести не было. Да, есть такая дилемма: ж и з н ь и л и ч е с т ь . Но израильское общество боится признать, что вопрос стоит именно так. Оно вспоминает о Катастрофе — и отодвигает ее. Между тем в нашей ситуации Израиль — это именно честь, а не жизнь.

Хочу еще раз вернуться к слову “миф”, к нашему еврейскому мифу. Как бы ни затаскали это слово, в нем всегда остается некий оттенок, указывающий на недоверие, неистинность, грубо говоря — неправду. Иными словами, под мифом понимают неадекватную реакцию на действительность, сходную с невротами в интерпретации Фрейда. Но наш миф, к несчастью, не таков. Антисемитизм — это миф антисемитского сознания, но реальность еврейского существования. Такую связь невозможно прервать в одностороннем порядке. В сущности усилия Израиля, и “правого” и “левого” (не считая экстремистов с той и другой стороны) направлены на преодоление нашего мифа: “левые” хотят, чтобы Израиль воспринимался как нормальное о б щ е с т в о , то есть негомогенный коллектив, в котором есть личности, партии, движения и т. п.; “правые” же хотят, чтобы Израиль воспринимался

как нормальное государство; нормальные же государства задумываются не о своем праве на существование, но об условиях — как можно более выгодных — этого необсуждаемого существования. И тот, и другой подход нормален до определенной границы, и эта граница — реальность нашего мифа: еврей как личность, не нарушая своей этнической полноценности, не может поступать, как если бы он был вообще и только личностью; еврейское государство ограничено своим эпитетом. Борьбаться с этими невозможностями — наша судьба. Себе я другой не желаю.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Новая книга

О. КУСТАРЕВ. "ВАЛЬС" (повести и рассказы)

200 стр.

Цена 14 долл.

В книге собрана художественная проза автора, обладающего насмешливым и точным взглядом, который позволяет ему запечатлеть особенности современной советской жизни.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

Я согласна с концепцией Каганской, но лишь в том смысле, что она выражает не саму ситуацию, а — к сожалению — израильское восприятие этой ситуации. Поэтому она и трагична. То, что происходит сейчас на территориях, — это война мифов. Израиль сражается там не с палестинцами и даже не с арабами, — он сражается с Катастрофой. Он воюет против врага, который вот уже сорок лет погребен в европейской земле. Он сражается с Освенцимом, он сражается с армией Гитлера, короче — он сражается с привидением, с призраком собственного уничтожения — и собственной вины. Вины за то, что народ “позволил” (любимая израильская фраза) “вести себя, как баранов, на убой”. Такую войну невозможно выиграть, потому что она ведется против собственного отражения в зеркале истории и поэтому бесконечна. Что касается арабов, то они тоже разыгрывают здесь свой миф. Для нас арабы — это отражение нашей смерти, для арабов же (тут я говорю, разумеется, с меньшей уверенностью) евреи — это призрак империализма. Мы для них — англичане, французы, европейцы, те самые, которые отняли у арабского мира его бывшее величие. Через нас они мстят Западу. И вдобавок они еще ощущают себя

Илана Гомель

ВОЙНА МИФОВ

представителями третьего мира, и Израиль в этом смысле — единственная возможность третьего мира взять реванш по отношению к Европе. В любом случае, здесь идет война двух мифов. Такую войну не может ни кончить, ни выиграть ни та, ни другая сторона. Мифы бессмертны, поэтому такая война будет продолжаться до тех пор, пока остаются живы носители этих мифов. И даже после того — потому что мифы будут вербовать для себя новых сторонников.

Поэтому на уровне метафизическом ситуация действительно трагична, действительно безысходна, действительно не имеет решения. Верно, у евреев на протяжении последних двух тысяч лет не было истории — у них была только метафизика: смертные приговоры в самых разных формах. (Может, они поэтому с такой готовностью немедленно переводят всякий разговор из плоскости реальной в метафизическую?) Евреи не жили в истории, поэтому у них нет опыта социального и политического прагматизма. У них нет ощущения того, что историю делают — у них ощущение, что она "делается", причем — "делается с ними" как с жертвами, пешками, марионетками; в любом случае: кто-то там где-то сидит и дергает невидимые нитки, а нам остается только подчиняться, остается только играть свою роль. Нам следует быть хорошими актерами, а роль — так мы считаем про себя — уже написана. Причем — трагическая роль, повторяющаяся из столетия в столетие. Уже не имеет значения, что в действительности у евреев в далеком прошлом была своя история, что они активно действовали в ней; с такого расстояния даже эта история обращается в миф, и главным в нем становится, что мы в той истории в конце концов проиграли. Бар-Кохба видится на этом расстоянии не столько как последний герой, сколько как первый в ряду обреченных, как начало вековечного мифа. Конечно, это проекция последующих трагедий назад, но это проекция, уже ставшая мифом. Мифом о еврейской обреченности. И поскольку в мифе нет времени, то Бар-Кохба в нем становится рядом с Анелевичем — руководителем восстания в Варшавском гетто.

Так пауза в истории сделала евреев рабами специфического мифа — о своей неизбежной гибели. Именно это объясняет их нынешнюю истерическую реакцию на события на территориях. Да, конечно, это ужасно, конечно, есть убитые... Но посмотрим трезво, и мы увидим: Израилю не угрожает немедленная (и даже отдаленная) гибель. Даже в случае войны с арабскими странами

Израилю не угрожает полное уничтожение. И ему, конечно же, не угрожает уничтожение от камней, которые бросают палестинцы. С точки зрения чисто исторической, то, что происходит сейчас на территориях, происходит и в Южной Африке, — но у тамошних белых это не вызывает такой апокалиптической истерики. В Южной Африке никто не говорит, что кончается мир. А в Израиле говорят. Короче — это нормальная историческая ситуация, но нам она кажется ужасной и безысходной, потому что мы видим ее в тени Освенцима, мы видим ее в тени Катастрофы, мы видим ее в тени проигранного восстания Бар-Кохбы и так далее.

Поскольку, однако, мы вернулись в историю, — а в этом весь смысл Израиля, — то ничего не поделаешь: нужно вести себя по-исторически. Если весь смысл еврейства в том, что оно живет и способно жить только в мифическом времени, значит — израильтянам нужно перестать быть евреями. Иными словами — переписать еврейский миф в терминах истории. Сегодня все реакции израильтян, — а я говорила со многими из них, — делятся на две категории. Первая — умрем с оружием в руках: реакция типа Масады, чистый ответ на Освенцим, где мы умирали без оружия; вторая — тотальное демонизирование самих себя: мы виноваты, нужно отдать все, что возможно, все, что угодно... После нападения террористов на автобус с женщинами в Негеве один из израильских писателей сказал: ну, что ж, для палестинцев террор — единственное оружие. Но обе эти реакции — две стороны одной медали. Или — осознание себя как неизбежной жертвы, или отвращение к себе, как к неизбежной жертве: значит, так нам и надо, так нам полагается. Это комплекс, типичный для выживших в Катастрофе; их психология содержит две стороны: вину за то, что выжил, и желание отомстить. Израиль, словно коллективная жертва Катастрофы, постоянно разыгрывает в своем сознании эти два варианта: его правые одержимы комплексом мщения, его левые — комплексом вины. Но они мстят на самом деле не арабам — они мстят немцам; и вина, о которой твердят левые, на самом деле не вина перед палестинцами, а вина перед погибшими евреями. Все перевернуто, обе стороны национального мифа перенесены на палестинцев, которые к нему не имеют никакого отношения. До тех пор, пока это не прекратится, мы не сможем по-настоящему вернуться в историю...

Мне кажется, что Израиль — сильное государство, в том смысле,

в каком обычно говорят о политической и военной силе. Израилю не угрожает немедленное уничтожение. А медленное угрожает всем. Беда в том, что израильтяне видят перед собой только эти две возможности, потому что в терминах мифологического сознания только эти две возможности и существуют. В таком мышлении попросту нет места для возможности прагматического выживания, которое основано на компромиссе, на переговорах, на выжидании, на лавировании, на комбинациях силы и хитрости. Странно: еврей очень хорошо знает, что он может выжить как отдельная особь, и не хочет даже думать, что он может выжить, "выкрутиться" как н а р о д . Никому не приходит в голову, что и народ может выжить, "выкрутившись", — например, начав переговоры, затягивая их, уступая, споря... Я думаю, именно поэтому в Израиле так презируют политику. Политика — это часть истории, это всегда промежуточные решения, а израильтяне, будучи евреями, жаждут решений "окончательных" — как те, которые к ним всегда применялись.

Я говорю: изуродованное сознание. Сознание, отягощенное мифом. Сознание, отвергающее нормальные пути истории, заранее готовое к своей гибели, даже не представляющее себе, что может быть что-нибудь иное. Вот прекрасный пример — Гуш-Эмуним. Казалось бы — самая активно действующая группа израильтян. А что на самом деле? Вся их активность в сущности направлена на борьбу с еврейским мифом в рамках того же еврейского мифа. Ибо там, где "избранность", там немедленно память (и действие) опять подчиняются повторяющейся схеме мифа. Люди Гуш-Эмуним подсознательно видят себя героической жертвой Амалека — или палестинцев, все равно. Они хотят овладеть землей, которая им нужна не прагматически, а — по мифу. По еврейскому мифу. По всей той совокупности представлений, которая начинается с "избранности" и "земли обетованной" и кончается неизбежной катастрофой.

То, что переживает сегодня основная масса израильтян, — это своего рода родовые муки вхождения в историю. Они должны выбрать — кто они, израильтяне или евреи. Хотят ли они, в соответствии с еврейским мифом, ждать гибели или намерены вырваться из замкнутого круга жертвоприношений. Причем, вырваться — вовсе не значит "гордо погибнуть с оружием в руках" или "стоять насмерть", ибо сами слова "погибнуть" и "насмерть" немедленно возвращают нас к прежнему мифу. Нет, вырваться — это значит

найти и другие пути, не обязательно с оружием, те пути, которыми идут другие страны.

Я вижу единственную возможность для Израиля — забыть Катастрофу, перестать видеть в ней парадигму, обязательную модель будущей еврейской судьбы, перестать думать об Израиле как компенсации за Катастрофу. Израиль — это независимое государство, даже если здесь живет всего одна треть еврейского народа. К чему считать? Ведь и палестинский народ не весь собрался на территориях, там живет лишь его малая часть. И любопытно — они в такой же двойственной ситуации, как мы: они — арабы и палестинцы, мы — евреи и израильтяне. Но они с каждым годом все больше отождествляют себя как палестинцы. Точно так же и мы должны отождествить себя как израильтяне. Что с того, что мы — не весь еврейский народ? Если мы осознаем себя израильтянами, то мы и будем "всем народом". И у нас, живущих здесь, будут точно такие же права на существование и на историю, как у всех других народов.

Преодоление мифа не означает, что мы должны закрыть глаза на реальное существование антисемитизма, на реальную опасность коллективной гибели. Угроза уничтожения существует, но это историческая, а не метафизическая реальность. Это возможность, но не судьба. Миф же означает коллективную готовность к смерти, жизнь в тени смерти, осознание себя уже призраками, случайно и незаконно уцелевшими. Такая постоянная напряженность может привести к желанию даже ускорить собственную смерть.

Не только еврейское сознание мифологично. Наши противники, быть может, еще хуже подготовлены к существованию в истории. Но речь идет о н а ш е м выживании. Нам не грозит военное уничтожение. Но нам грозит коллективное самоубийство, принесение себя в жертву на алтаре безысходности.

Мы все еще медлим вступить в историю. Мы все еще медлим проявить инициативу, искать прагматические решения, все еще застыли в апокалиптическом ожидании неизбежного ужасного конца. Потому что взять на себя инициативу — это значит запятнать чистоту нашей мифологической модели. В самом деле, что чище пепла, что чище камней Масады? Но если мы не хотим быть пеплом, то нам нужны не мифологические, а п о л и т и ч е с к и е решения. Я не знаю, какими они должны быть. Может быть, нам нужно удерживать территории силой, может быть, нужно начать переговоры, может быть, нужно организовать конфедерацию с

Иорданией и палестинцами — я не знаю, да это и неважно, на мой взгляд. Важно другое: как только мы начнем искать прагматическое решение, в рамках исторических, а не мифологических моделей, решение, которое основано на данной конкретной ситуации, а не на том, что происходило с еврейским народом на протяжении двух тысяч лет — это уже начало нашего выживания. До тех пор, пока мы будем настаивать на том, что эта ситуация должна быть рассматриваема, как некое продолжение мифической судьбы еврейского народа, — эта ситуация будет безысходной. Пока ситуация архетипична, у нее нет решения. Когда она станет восприниматься как конкретная историческая ситуация, у нее найдется решение. История для всего находит выход. Миф — нет. Миф трагичен, история прагматична. Из мифа вырваться нельзя, он цикличен и тотален. Миф аннулирует время, а история всегда идет вперед, и какое бы количество жертв она по дороге ни погребала, рано или поздно она всему находит выход. Если наши переговоры будут продолжаться пятьдесят лет, то через пятьдесят лет, даже если они ни к чему не приведут, возникнет какое-то новое решение. Может, оно нам не понравится, может, здесь будет бинациональное или тринациональное государство, а может, здесь будет Израиль от моря и до моря — неважно, но что-то здесь будет. Но если здесь будет продолжаться вневременная ситуация, столкновение двух мифов, то здесь действительно может возникнуть новый Оувенцим, который мы сами для себя и создадим.

С декабря 1987 по март 1988 года журнал поддержали пожертвованиями: доктор А. Беленький (Иерусалим) — 10 шек., И. Бар-Нави (Хайфа) — 20 шек., М. Козленко (Холон) — 15 шек., М. Краковский-Хейфец (Тель-Кабир) — 15 шек., И. Кешет (Хайфа) — 35 шек., Я. Лах (Беэр-Шева) — 18 шек., П. Семердяев (Иерусалим) — 35 шек., А. Таль (Кирият-Оно) — 35 шек., Ш. Фишер (Хайфа) — 15 шек., А. Цимиринов (Иерусалим) — 5 шек., доктор Аксельрод (Мюнхен) — 25 долл., С. Гурмарник (США) — 30 долл., В. Матлин (США) — 20 долл., Л. Шамкович (США) — 10 долл. Благодарим наших верных друзей.

Все, что касается проблематики государства Израиль и сегодняшнего этапа еврейской истории, выходит за рамки элементарных понятий справедливости. Справедливо ли китайцы выгнали гуннов из монгольских степей? Справедливо ли те разрушили Рим? К тому, что мы видим сегодня в Израиле, совершенно бессмысленно подходить с расхожими мерками справедливости-несправедливости, международного права и либерализма, потому что сами эти понятия и мерки есть результат определенного исторического развития, а не наоборот. Мы живем в ситуации установления прецедентов, на которых такие понятия основаны, и потому должны принимать факты, особенно исторические факты, как они есть. Попытка уничтожения еврейского народа в середине нашего века в Европе должна рассматриваться нами не в моральных категориях, которые кощунственны в этом контексте, а в категориях исторических: она означала, что для еврейского народа больше нет места в Европе, точнее — в той европейской цивилизации, в рамках которой он существовал около тысячи лет. Часть еврейского народа поняла этот урок, предсказанный сионистами, как ни странно.

Все, что произошло затем,

Александр Воронель

**“ЗАПАД ЕСТЬ ЗАПАД.
ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК...”**

тоже происходило в таком историческом контексте, что не может рассматриваться без высокого, почти онтологического элемента. Этот онтологический элемент кроется в том факте, что основная идея той цивилизации, которая нас, в сущности, извергла, в течение всего периода своего существования находилась в конфронтации с другой, мусульманской религиозной идеей, открыто враждебной ей. Эта конфронтация приобретала в разные времена разные формы. Одним из самых острых ее эпизодов были крестовые походы. На том этапе европейские народы могли еще рассматриваться как варварские, между тем как мусульманство было тогда более продвинуто культурно (не случайно именно соприкосновение европейцев с Востоком во времена крестовых походов обозначило начало Нового времени); и уже в те времена евреи оказались между молотом и наковальней: они в значительной мере участвовали в мусульманской культуре и первыми пострадали от крестоносцев. Они воспринимались тогда на Западе как представители Востока, с его богатством и интеллектуальной искушенностью.

Сегодня, на новом этапе этого древнего конфликта, евреи снова оказались между ними. Однако вектор истории сегодня повернулся на 180 градусов: прежняя бедная, застойная Европа стала богатой и динамичной, некогда богатый и динамичный Восток культурно регрессировал и стал застойным. Это однако не означает, что его культура стала мертвой; в ней и сегодня есть динамичные силы, и они, я полагаю, жадно стремятся присвоить достижения Европы, то есть, в сущности, стремятся к модернизации, одержимы стремлением вернуться в историю. Современный русский историк Лев Гумилев называет такие эпохи в жизни народов "пассионарными"; вполне возможно, что мы присутствуем при такой эпохе в жизни арабских народов. "Пассионарное безумие", несомненно, имеет место в нынешнем мусульманском мире: с одной стороны, оно проявляется в возрождении исламского фундаментализма, с другой — в виде (даже несколько чрезмерного) пренебрежения самими основами ислама во имя чисто материальных ценностей, как это происходит в Ираке, а раньше в Турции. Столкновение фундаменталистского Ирана с оголтело секулярным Ираком — одно из проявлений этого внутреннего развития. Развитие это противоречиво, оно может действительно вести к новому возрождению мусульманской цивилизации, а может привести к абсолютному варварству.

И вот — евреи снова оказались между двумя этими мирами, теперь уже как участники Западной цивилизации и нежеланные заморские гости на Востоке. Наверное, это не случайно — такова наша историческая роль. Ведь иудаизм является материнской религией в отношении как к христианству, так и к исламу, и обе эти религии имеют свои претензии и свой пиетет к евреям. Обе по своему враждебны евреям и одновременно испытывают по отношению к ним своеобразный комплекс неполноценности: чрезмерно их уважают и чего-то от них ждут. Ненавидят, презируют и уважают. Тот безумный, иррациональный антисемитизм, который мы время от времени видим то у арабов, то у европейцев, как раз и выдает, что от евреев ждут чего-то большего, чем от всех остальных людей. Ведь друг друга, например, арабы убивают без всякого зазрения совести. И буквально на завтра готовы целоваться друг с другом. Но нельзя себе представить, чтобы они целовались с евреями. Это никак не вмещается в рамки их психологии. Они могут мирно жить с евреями, но не могут признать еврейского приоритета ни в чем, ибо еврейский приоритет разрушает их идеологию. А согласиться на официальный мир с евреями означает для них как раз признание нашего приоритета, ибо этот мир вынужден нашим превосходством, а не их великодушием. И в этом трудность.

У Европы есть та же трудность. Ведь в сущности вся ненависть Гитлера к христианству происходила от его представления, что оно навязано германцам евреями. Сегодня тот же комплекс возник у русских расистов. Любопытно, что этот комплекс неполноценности проявляется и в филосемитизме. Сегодня христиане-филосемиты создали организацию христианских сионистов, которая недавно провела в Иерусалиме свой (второй уже) международный конгресс. В их беззаветной любви к Израилю я вижу выражение одной из двух противоречивых составляющих христианской концепции (другой составляющей которой является антисемитизм). Ведь сама идея христианского смирения требует, конечно, от христиан признания евреев.

Если вернуться к христианско-мусульманскому конфликту, в центре которого мы опять оказались, то можно утверждать, что он был неизбежен. Эти две концепции принципиально несовместимы и их конфронтация будет продолжаться еще много веков. Обе они вышли из лона иудаизма, но христианство вышло из пророческой, гилелевской ветви иудаизма, в которой преобладали

мягкость, свобода воли и, в конечном итоге, жертвенность. Мусульманство же заимствовало из того же иудаизма идею торжествующего мессии, который должен победить не духовно, с креста, а силой, реально, и создать царство Божье на земле. Но поскольку царства Божьего на земле — в духе идеалов справедливости иудаизма — мусульманам, естественно, достичь не удалось, они пошли путем упрощения своих идеалов справедливости. Христиане же, не отказываясь от этих идеалов, перенесли их на небо. Бедный христианин знает, что его положение на Земле несправедливо, но зато царство Небесное принадлежит именно ему. Бедный мусульманин вынужден считать свое положение на земле справедливым, раз у него не хватило силы стать богатым. Ибо сильному положено торжествовать. Так будет и на небе. Христианство идеологически предпочитает поражение неправде. Мусульманин ставит победу, то есть силу, в основание права.

Конечно, евреи пришли на Ближний Восток со своей мифологией, но мне кажется, что и христиане, и мусульмане игнорируют нашу мифологию. Они не интересуются нашими переживаниями, они заняты своими мифами. Для мусульман евреи — агенты христианского мира, способные подорвать основы их культуры своими культурными и политическими ценностями, которые этим основам противоречат. Для христиан, напротив, мы испорченная часть европейской цивилизации, ибо в нас есть мусульманская непримиримость мы не хотим быть жертвами, мы не хотим дать себя распять, в общем — мы нарушаем христианский идеал. Но здесь нет полной симметрии: в той мере, в какой западные христиане все же цивилизованные и разумные люди, они нас поддерживают, ибо видят нашу относительную близость к их цивилизации — наш демократизм, либерализм и так далее; все это им близко, и до тех пор, пока мы сможем это демонстрировать, нас будут поддерживать на Западе, — но тем больше именно этим мы будем провоцировать Восток, который всячески стремится втянуть нас в борьбу на своих условиях, своими методами. Нашу же собственную мифологию ни те, ни другие всерьез не принимают, считая, что мы попросту лицемеры, которые твердят о чем-то непонятном: Земля Обетованная, какие-то Исторические связи, гуманность и гражданские права. Права качают...

С точки зрения мусульманства, если мы верим в Обетование, у нас не может быть никакого гуманизма. Значит, мы просто демогаги, колонизаторы, которые притягивают Обетование, чтобы

оправдать свои дикие демократические идеи, обрекающие их на второстепенные роли (какую еще роль может играть в демократическом обществе человек, не умеющий пользоваться и не ценящий демократических механизмов самоорганизации? сравним с нашим собственным положением русских "олим". С точки зрения христианства, вера в Гражданские Права и Гуманизм должна отменить идею заселения, так как заселение требует стеснить волю других людей, не дожидаясь Божественного вмешательства и исполнения Обетования. Значит, мы опять лицемеры, колонизаторы, которые симулируют Гуманизм, чтобы оправдать свои захватнические инстинкты, диктующие нам заселение Иудеи и Самарии для эксплуатации тамошних мирных жителей. Первый официальный сионист Герцль еще не говорил об исторических связях с Землей — он был в этом отношении вполне внутри христианской традиции: он говорил только о "справедливости". С этим христиане в конце концов согласились: да, действительно справедливо дать евреям землю. Особенно, если никто на нее не претендует. Но когда евреи заговорили именно о Сионе, и тем более, когда появилась арабская проблема, христианское сознание уже засомневалось в этой справедливости.

И теперь мы подходим к реальному конфликту. Конечно, его можно рассматривать без всех этих онтологических введений, но его нельзя по-настоящему понять без них, ибо характер и цели всех участвующих в конфликте сторон совершенно различны. Когда мы, следуя за христианской Европой, приписываем арабам определенные политические цели, мы заблуждаемся: у них этих целей нет. Это ложь, которую мы внушаем сами себе и которую арабы охотно внушают европейскому миру, ибо внушение противнику иллюзий, обман противника входят в их понимание борьбы, в их идеологию и их культуру. Но обратимся однако к реальному конфликту.

Кто в него втянут? На первый взгляд, Израилю в нем противостоят в с е арабы, в с ь арабский мир. А может быть, даже весь мусульманский мир. Это выглядело бы довольно странно, если бы было действительно так. Но мы уже говорили, что на самом деле это не так: Израиль лишь потому вызвал вражду всего арабского мира, что является вершиной "европейского айсберга"; арабский мир поднялся против превосходства и внедрения европейской цивилизации в его географические пределы; именно эта угроза, а не сам по себе Израиль вызвала такое глобальное

арабское противостояние. При этом не забудем, что это противостояние амбивалентно: Восток в действительности х о ч е т этого внедрения, но — на своих условиях, с сохранением своего превосходства — как в Саудовской Аравии.

Таким образом, конфликт имеет исторический и глобальный характер; к сожалению, об этом забывают, не понимая, что нынешнее столкновение израильтян и палестинцев есть всего лишь столкновение передних рядов двух огромных армий, скрывающихся за линией фронта с обеих сторон. И в первые ряды с обеих сторон вытолкнули людей не по их воле. Но даже само это “столкновение передовых отрядов” тоже, как правило, толкуют весьма и весьма неправильно: говорят о палестинцах вообще, между тем, как палестинцы тоже не являются чем-то единым — не только с арабами, но и внутри самих себя. Эта неоднородность не имеет никакого отношения к тому, являются они народом или нет — вопрос, составляют ли палестинцы народ, меня не интересует, потому что он мне кажется нерелевантным. Национальный миф, которому всего сорок лет, не имеет никакого значения на фоне той исторической многовековой онтологии, о которой мы говорили. Вопрос не в том, есть ли палестинский народ сейчас; более важно, возникнет ли он в будущем; но это никому не известно. Впрочем, и это второстепенно; более существенно, что сама постановка вопроса: к о н ф л и к т с п а л е с т и н ц а м и , необходимость решения п а л е с т и н с к о г о вопроса — абсолютно не соответствует действительности. Ибо так называемые палестинцы содержат в действительности много разных групп, каждая из которых имеет свои особенности и свои цели. Есть значительная часть палестинцев — это крестьяне Иудеи и Самарии, — которые живут внутри архаичной феодальной структуры. С ними можно враждовать или примириться, но нужно сознавать, что их проблемы не имеют никакой связи с проблемами беженцев Газы, а значит — требуют совершенно иного решения. Проблемы беженцев — это нищета и теснота, проблема крестьян — это земля и традиция. Далее, есть группа арабских интеллигентов Иерусалима, Шхема и Хайфы, однородная независимо от политической географии: это группа высокообразованных людей, понимающих глубинный смысл всего конфликта. Как правило, это богатые люди, дети шейхов, прошедшие школу европейской культуры, которые ощущают себя законными лидерами своего мира. Наша проблема с ними состоит в том, что мы поставили их в униженное и ос-

корбительное положение. Мы не воспринимаем их лидерства, ибо оно основано на крови, роде и земле, чего для нас, привыкших к западной идее выборных лидеров, недостаточно. Я думаю, что эта группа не сговорится не только с нами, но и с Арафатом. Еще одну группу составляют арабы Израиля. Я не знаю, в какой мере они заинтересованы в нас, а в какой мы сами выталкиваем их на периферию. И наконец — та группа, быть может — самая важная, с которой мы действительно находимся в непримиримом конфликте, возникшем в результате развития государства Израиль. Вот их я, пожалуй, готов назвать палестинцами. Это группа беженцев. Они есть и в Газе, и в Шхеме, и в Ливане, и вот между ними я действительно не вижу особой разницы. В чем их особенности? Они полностью выброшены из феодальной структуры и свободны от ее табу. Они (все или почти все) получили образование, которое позволяет им считать себя, как группу, выше всех других арабов. Многие из них имеют профессиональную подготовку. Именно эта группа особенно жадно стремится к модернизации, хочет зарабатывать, делать карьеру, жить по западному образцу. Их можно — с натяжкой, конечно, — рассматривать как европеизированную прослойку, и им можно приписывать те гражданские чувства, которые обычно приписывают палестинцам вообще. Однако поскольку они все-таки арабы и находятся в контакте с уже упомянутой арабской интеллигенцией, их тянет в арабский мир и скорее всего они останутся в нем, они не станут полностью европейцами. Мысль сделать их европейцами есть только у Хабаши и это не случайно, в этом его главная слабость: он христианин, этим все сказано, лидеры его типа обречены в мусульманском мире.

Из этого расклада следует, что наши рассуждения о "территориях вообще" и "палестинцах в целом" ни к чему серьезному не могут привести. Отдать территории? Кому отдать? С кем мы хотим примириться? Если мы помиримся с одними, мы останемся смертельными врагами других. Как мы видим, есть разные группы и с каждой у нас разные конфликты. Если сегодня они выступают, как единое целое, то лишь потому, что их объединяет наша собственная глупость. Мы не сумели разделить эти группы и договориться с каждой по-своему. Но Израиль — молодое государство и политика его еще в пленках (в отличие, скажем, от британской). Не только палестинцы рассматриваются у нас как нечто единое, но за ними, в том же ряду, говорится об арабах вообще, в целом,

и начинаются поиски мира со всеми с ними разом, что наверняка превращает задачу в неразрешимую. Причем в таком подходе, когда говорят об арабах вообще, им уже никак нельзя приписывать ничего европейского, а между тем методы, какими пытаются решить этот сложный конфликт, принимаются чисто европейские: международные договоры, международные конференции и тому подобное...

Если однако видеть конфликт в его конкретности, то дело упрощается. Феодальная структура прежде всего корруптивна, поэтому политика в отношении нее должна быть направлена на подкуп. С интеллигенцией нам нечего делать: мы — непримиримые враги. Эта интеллигенция хочет жить в истории. Это законное стремление. Единственный способ помочь им в этом — выгнать их в арабские страны, где они займут желаемое место или погибнут; или дать им собственное государство. В еврейском государстве они не смогут реализовать свои стремления. Что касается газанцев, которые хотят попросту есть, то их проблему нужно решать в социально-экономическом плане. И я думаю, что пути для этого существуют. Наконец, что касается беженцев, то нам опять-таки просто нечего с ними делать. Вся их молодежь амбициозна, свободна от мусульманской покорности судьбе, общается с израильянами, и многие из них наверняка хотели бы стать израильянами, могли бы ассимилироваться в израильском обществе. Но израильское общество для этого мало, оно уже и русских, и эфиопов не может полностью ассимилировать, потому что перевалило за предел плюрализма. Вообще говоря, в дальней перспективе они могли бы ассимилироваться, но сейчас мы их обоснованно боимся и не допускаем; и вот это — наша вина, которую мы должны признать. Арабы же предлагают им более величественный путь — умереть за великое дело, и они еще настолько пленены арабской ментальностью, что этот путь для них достаточно соблазнителен. Арабский мир стремится ассимилировать их духовно, но отказывается ассимилировать их физически. Мы же должны хотеть эту группу "разбросать", превратить в обыкновенных граждан со всеми правами; когда они превратятся в таких граждан, у каждого появятся свои интересы и стремления, они перестанут быть единой группой. Но тут проблема состоит в том, что они сами этого не хотят. Никто ни разу не сказал правду, — что только силой их можно выгнать из лагерей. Они там получают пособия ООН и бесплатное образование, и все это чрез-

вычайно ценит. Неизвестно даже, сколько из них просто самозванцы, к Палестине никакого отношения не имеющие. В результате непрерывно плодится и воспроизводится эта группа революционеров и радикалов мусульманского фундаментализма и "агентура европейской ментальности" в арабском мире. Именно из ее среды выходят те арабские профессора, которые сегодня живут в США или ФРГ. Повторяю: эта группа в принципе могла бы ассимилироваться в Израиле (или вообще в западном мире, как показывает пример тех же профессоров). В. Богуславский возлагает надежды на то, что у них появится секулярный национализм, который побудит их покинуть Израиль ("22", № 57); но у них этот национализм не появляется, они либо стихийно тяготеют к арабскому миру, пытаясь его возглавить (и представляя для него страшную опасность), либо хотят просто вырваться из своего проблематического состояния чисто индивидуальным путем. Они — на распутье, и все эти двадцать лет Израиль мешал им выбрать свой путь. По отношению к Израилю они — в определенном смысле — наиболее близкая группа, но с другой стороны они же наиболее нам враждебны. Эта вражда порождена действиями той части израильского истеблишмента, которая вроде бы желала им блага, но исходила при этом из своих европейских представлений о благе и потому на самом деле толкала их назад, в арабское варварство, которое им нестерпимо. Даян запретил им политическую деятельность и все время хотел вернуть их Хуссейну. А этот вариант они ненавидят всей душой. Так же, как сегодня "иорданский вариант" Переса. Они наконец-то вырвались из прежнего положения, а мы хотим вернуть их обратно в гетто. У Хуссейна они не будут гражданами первого сорта. Поэтому у них действительно единственный путь — свое государство. Не случайно выразитель настроений этой группы Нусейба говорит, что приветствовал бы даже израильскую аннексию: она для него лучше возвращения под власть Хуссейна, который его повесит. Или аннексируйте, — говорят они, — или дайте нам собственное государство, третьего они не хотят. Поэтому наш вариант: отдать территории Иордании вместе с арабами — т а к а я ж е жестокость и несправедливость, как ими управлять. Сейчас, может быть, даже большая. Это хуже, чем несправедливость, — это предательство. Мы хотим вернуть их туда, куда они не хотят. Именно поэтому выбор между отдачей территорий или их аннексией — не имеет решения в рамках морали: о б а варианта несправедливы

и аморальны. Нравственного, с либеральной точки зрения, варианта здесь нет.

С кем же мы можем сговориться, какая группа заинтересована в мире с нами? Мы, со своей стороны, все до единого заинтересованы в мире, даже те, кто стоит за неделимый Израиль. Кто же заинтересован в мире с другой стороны и с кем мы хотим заключить мир? Разговор о том, что у нас нет партнера, более серьезен, чем думают. Иордании или Саудовской Аравии выгодно нынешнее состояние. Они наслаждаются миром. Война грозит только нам. Ведь она не начнется, если они не захотят. Они даже фактически торгуют с нами. Зачем им формальный мир, который их свяжет по рукам и ногам? Да еще даст возможность евреям беспрепятственно разъезжать по их странам. Они приезжают к нам, когда хотят. Считается, будто Хуссейн хочет мира, потому что хочет территории. Но в действительности ему не нужны эти территории, его страна все равно живет на саудовские субсидии, производительной она от присоединения территорий не станет. Египет давно уже заявил, что ему не нужна Газа. И уж точно никому не нужны опасные палестинцы. Тогда у нас остаются только три опции: все-таки как-нибудь всучить территории Иордании; отдать их палестинцам; или оставить их себе. Первая опция, как я уже сказал, безнравственна; но она еще и приведет к кровавой бойне на наших границах, которая кончится победой самых крайних элементов и в которую нам поэтому придется вмешаться; все кончится тем, что эти территории снова окажутся в наших руках. Во втором варианте возникнет конфликт между феодальной структурой и радикальными, европеизированными беженцами (сейчас вспышку этого конфликта еще сдерживает израильская администрация; но они уже и сейчас люто ненавидят друг друга); этот конфликт тоже приведет к гражданской войне, в ходе которой они обратятся к соседям, и нам опять придется их завоевать. Таким образом, куда бы мы ни кинулись, нас всюду ожидает один и тот же грандиозный вызов: необходимость освоить и ассимилировать большую арабскую группу, принять ее в какой-то форме в свои объятия. Это ужасно. Мне это безумно несимпатично. Я всей душой против наличия большой арабской группы внутри Израиля. Я не хочу с ними сливаться. Демократический, европейский характер нашего государства от этого страшно пострадает. Но я не вижу иного варианта. Есть, впрочем, еще один вариант, который, однако, не может осуществиться из-

за нашего либерализма: если бы мы осознали себя военной ордой, отделились от них железной стеной, но стеной подвижной — как только нужно, мы ее подвигаем в их сторону, в сторону их государства. Но мы на это не способны; как только мы заключим мир, наши евреи немедленно откажутся вмешиваться в их дела. Мой вариант не означает, что мы должны эти территории аннексировать вместе со всеми их жителями: в ходе реальной политической борьбы, возможно, удастся от каких-то из упомянутых групп отделаться. Ведь мы не слепые участники исторического процесса и должны бороться за наш, более европейский облик будущего. Тем, кто останется, можно предоставить гражданство, — но лишь тем, кто этого захочет. И меня не волнует, что кто-то останется израильтянином второго сорта — я уже говорил, что проблема здесь не в том, чтобы восторжествовала абстрактная справедливость или абстрактная мораль. В этом смысле меня не пугает даже идея трансфера; я не принимаю ее лишь потому, что она неосуществима технически. И в этом вся суть проблемы. Дело не в том, чего мы хотим. Надо искать, что мы можем.

Я не хочу уходить в политические детали, вроде того, аннексировать или не аннексировать территории, дать или не дать палестинцам полноправное гражданство. Вызов, стоящий перед нами, совсем не в этом. Его нужно рассматривать в том более широком онтологическом контексте, с которого я начал. Мы находимся на острие христианско-мусульманского, европейско-арабского конфликта. И до тех пор, пока мы будем ощущать себя прикованными к европейскому миру, выхода мы не найдем. Для того, чтобы принять и реализовать намеченный мною выход, нужно отказаться от многого в нашем прошлом. Мы сможем ассимилировать часть арабов только в том случае, если частично ассимилируемся среди них сами. Мы перестанем быть чистыми европейцами, мы станем промежуточной группой не в географическом или политическом смысле, а в культурно-историческом. Станем той промежуточной цивилизационной группой, которая, быть может, призвана осуществить их конечное примирение, которая, быть может, имеет поэтому большую жизнеспособность, чем обе они в отдельности. Быть может, это и есть еврейская миссия, — но тогда она заставляет понимать нашу "избранность" не в моральном, а в культурно-историческом смысле. Ведь был же когда-то иудаизм исходной колыбелью этих двух культур, которые из него произошли. И следует понимать: такой выбор не означает

измену нашему еврейству, еврейскому характеру государства. На самом деле он означает возвращение к п о д л и н н о м у е в р е й с т в у . Сегодня все мы, пришедшие из Европы, вовсе еще не евреи, мы в значительной мере еще христиане. Подлинное еврейство, еврейство для себя, всегда имело те элементы, из которого выросло и мусульманство. Сегодня оно имеет многие элементы христианства, но не имеет никаких элементов мусульманства. Даже сефарды в арабских странах больше тяготели к европейской культуре. Поэтому возвращение к подлинному еврейству означает угрозу для чересчур оголтелых европейцев среди евреев. Но оно не означает утраты еврейского характера нашего государства. Даже принятие арабов не означает такой угрозы: ведь это и м придется приспособливаться к н а ш е м у государству, не наоборот. Я не предлагаю немедленно дать им полноту гражданских прав, напротив, я за то, чтобы сколько можно — не давать. И всячески сопротивляться левантизации. Но в отдаленной перспективе я не могу не признать, что они все равно внедрятся в нашу среду. И в этой отдаленной перспективе израильтяне станут непохожими на американских евреев. Это будет другой народ.

Если же говорить о политических перспективах, то я думаю, что это нынешнее восстание явилось серьезным историческим уроком. И я надеюсь, израильские лидеры его поняли. Когда, в результате всех нынешних маневров, окончательно выяснится, что арабские лидеры не хотят решать этот вопрос, ответственное израильское правительство вынуждено будет принять закон о статусе территорий. И разработать инструкции, которые дадут палестинцам такой уровень прав, который позволит им существовать. По крайней мере, беженцам. Поскольку их не возьмет ни одна арабская страна, нам самим придется взять их на свое обеспечение; видимо — вместе с территориями — или с какой-то их частью (если Хуссейн, жаждая американской помощи, заберет другую часть вместе с ненужными нам палестинскими группами, готовыми с ним ужиться). И это будет грандиозный исторический шаг. Предпринять его должен (и может) именно Израиль. Мы сами загнали их в тупик, мы сами должны их оттуда вывести.

Конечно, мы можем — чисто технически — и дальше сохранять статус-кво; но этим мы только готовим следующий раунд борьбы. Аннексировать все территории, как призывают сторонники неделимого Израиля, тоже технически возможно; но израильское общество на это не готово, оно с этим не согласно. А поскольку

политика — искусство возможного, значит, — это невозможно. Кроме того, нам попросту нечем заселить эти территории. Ведь н о ч е в а т ь в Сануре, в этой деревне художников, недавно созданной В. Богуславским, — это не означает з а с е л я т ь территории. Нас могла бы спасти от всех проблем только большая алия из России, Европы и Америки. Тогда опасность арабизации отошла бы на задний план, а для удержания территорий появилась бы мощная моральная мотивация.

* * *

Программы всех политических партий составлены так, что на равных основаниях включают реальные условия и требования соответствующих групп населения и утопические пожелания, характеризующие только уровень наивности основателей. В жизни люди не отличают объективных закономерностей от своих пожеланий. Когда они требуют справедливости, они не учитывают, что справедливость, возможно, не в их пользу. Как сказал однажды Омар Хаиям: “Если бы небо справедливо распределяло удачу, быть может, ты бы никогда ее не дождался”. Де-Голль, уступивший в войне с Алжиром и впустивший всех желающих алжирцев во Францию, не знал, что этим он подготовил сегодняшнюю ситуацию, в которой 15 процентов проголосуют за фашизм. Так и у нас, когда Херут провозглашал свой лозунг: “Израиль в исторических границах” — вероятно, не все его члены ясно себе представляли, что они, в сущности, обрекают нас на бинациональное государство. А когда Мапам говорит о необходимости компромисса и отступления, вряд ли они понимают, что именно эти их требования исключают возможность заключить приемлемый компромисс. И участники “Мира сегодня” вряд ли осознают, что увеличивают вероятность войны. Ибо от войны нас защищает не добрая воля с обеих сторон, а трезвая оценка военной опасности, по крайней мере, с одной из них.

Когда я говорю о том, как я вижу ситуацию, я сознательно избегаю своих собственных пристрастий. Я не хочу сливаться с арабами и предпочел бы сугубо европейский облик нашей страны. Я уверен, что арабский труд подрывает трудовую мораль в нашей стране и искусственно задерживает наш технический прогресс. Я думаю, что сосуществование с арабами погружает нас

в пучину коррупции, из которой еще неизвестно, вынырнем ли. Но я не могу не видеть, что нам некуда от них деваться, и мы должны подготовиться к этому. Я не могу ощутить сочувствия ни к правым, которые призывают эту напасть на нашу голову, ни к левым, которые надеются, что закрыв глаза, мы лучше увидим наше чудесное спасение, то есть уступив арабам, удовлетворим и остановим их наступательный пыл. Я думаю, что мы должны отталкиваться от арабов настолько, насколько это возможно, но сохранить довольно здравого смысла, чтобы угадать меру возможного и не опрокинуть это море себе на голову. Всякая беда содержит и хорошую сторону. Тесное сосуществование с арабами, может быть, научит нас ценить евреев и сплотиться теснее. В конце концов, Израиль был создан и сорок лет сохранялся благодаря чуду. Я уверен, что чудо произойдет и сейчас и спасет нас. Как сказал великий математик Даламбер: "Полагаться на Божью волю — вовсе не значит строить на шатком основании".

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Вышел в свет в переводе Гиты и Мириам Бахрах роман Шолом-Алейхема "В бурю".

Стоимость книги (с пересылкой) : в Израиле — 25 шекелей, за рубежом — 18 долларов.

Заказы и чеки адресовать: Bakhrach, P. O. Box 170, Yahud, Israel.

Там же можно заказать и роман Шолом-Алейхема "Кровавая шутка" в двух томах. Стоимость каждого тома в Израиле — 25 шекелей, за рубежом — 18 долларов.

С моей точки зрения арабо-израильский конфликт представляет собой типичный пример того территориального конфликта, который является центральным как в биологической эволюции, так и в человеческой истории. Два разных народа претендуют на одну и ту же территорию. Я не говорю сейчас о том, кто прав, кто виноват — факт остается фактом: два народа претендуют на одну и ту же землю. Разумеется, непосредственные причины нынешнего обострения этого конфликта мне неизвестны. Но поводом к такому обострению может послужить что угодно. Ибо естественная эволюция конфликта шла по линии все большего нарастания национальных чувств — как со стороны евреев, так и со стороны арабов. Под национальными чувствами я понимаю ощущения типа: "это наша территория, и тот, кто на нее проник, должен быть отсюда вышвырнут". Арабы хотели бы вышвырнуть нас в море, мы хотели бы вышвырнуть их в арабские страны. Поскольку шло такое нарастание, то нынешняя вспышка волнений была, на мой взгляд, неизбежной. Она могла быть отсрочена, но никак не отменена, ибо не мог быть отменен или устранен породи-

Георгий Дризлих

АМЕРИКАНСКАЯ ОПЦИЯ

вший ее конфликт: он лежит в самой природе вещей, и я поста-
раюсь это доказать.

Можно ли сегодня вернуться к прежнему состоянию? Мне пред-
ставляется, что это абсолютно невозможно. Процесс будет про-
должаться, и если не будет найдено решение, то, с моей точки
зрения, это поведет ко все более и более крайним проявлениям
агрессивности с обеих сторон. Но существует ли такое решение
вообще? На мой взгляд, оно существует. Более того, оно вытека-
ет из самой природы конфликта. Основная идея такого реше-
ния — полное территориальное разобщение еврейского и пале-
стинского народов путем создания демократического палестин-
ского государства на территориях в обмен на переселение туда
израильских арабов. Или, используя популярные израильские
политические штампы, “штахим тмурат трансфер”.

Понятно, что реализация такого плана — дело будущего. Од-
нако, это конечная цель, программа-максимум, которую следо-
вало бы провозгласить сегодня и сегодня же начать работу по ее
осуществлению. Естественным союзником евреев в реализации
этого плана может стать арабское население Израиля, как наибо-
лее цивилизованное, наиболее привычное к демократическим
формам. Именно к нему, а не к Хуссейну или Арафату, следует
обратиться правительству Израиля, как к партнеру по переговорам,
и предложить ему на первом этапе функциональное разделение
двух народов: арабы Израиля и территорий объединяются в еди-
ный демократический палестинский анклав со своим парламен-
том, своим правительством, своим гражданством, флагом, кон-
ституцией, партиями и так далее. Таким образом на первом этапе
этот план напоминает план автономии, но с тем принципиальным
различием, что наперед провозглашается приемлемый для ара-
бов (и для Израиля) “конечный статус территорий” — независи-
мое, демократическое палестинское государство, включающее
арабов Израиля и созревающее под эгидой государства Израиль.

В конце концов, мы ведь уже создали одно государство. Так
если мы захотим — демократическое палестинское государство
тоже не окажется сказкой...

Я понимаю, что подобное предложение может показаться край-
не экстравагантным. Поэтому я считаю нужным объяснить, по-
чему я считаю его наиболее соответствующим природе конфликта.
Это требует небольшого научного отступления. Как биолог, я
убежден, что люди с точки зрения принципов организации их

жизни абсолютно ничем не отличаются от животных. Разумеется, я имею в виду фундаментальные принципы поведения и общественной организации, а не их специфические детали. Это не моя субъективная точка зрения. Я мог бы сослаться в ее подтверждение на авторитет многих крупнейших биологов.

В сущности, все мы расисты — или, если угодно смягчить — ксенофобы. Этот “врожденный” или “биологический” расизм порожден одним из главных механизмов эволюции — внутривидовой конкуренцией. В природе существует огромное количество особей одного и того же вида. Поведение каждой из них управляется инстинктами самосохранения и самовоспроизведения. Но большинство высших животных (как, кстати, и человек) живет стадами. А в стаде эти инстинкты ведут к более сложному поведению, которое не сводится к примитивному “закону джунглей” — выживанию сильнейшего индивидуума. Объединение в стадо имеет несколько селективных преимуществ. Внутривидовая борьба внутри стада резко ограничена. Это борьба за место во внутростадной иерархии, которая ведется по правилу “лежащего не бьют” и как правило не сопровождается кровопролитием. Более того, в стадной жизни возникают и такие высшие формы поведения, как взаимопомощь, альтруизм, самопожертвование и тому подобное. Все эти формы поведения направлены на главную эволюционную цель — сохранение популяции. По мере подъема по эволюционной лестнице эти сложные формы общественного поведения становятся настолько существенными, что один из исследователей приматов даже заявил, что одна обезьяна — это вообще не обезьяна, поскольку ее поведение невозможно описать вне связи с ее стаей. Обезьяна, в сущности, — это член стаи, все функции которой направлены на сохранение этой стаи.

Главной физической основой выживания стаи является принадлежащая ей территория. Эта территория обеспечивает ей питание и укрытие, то есть основные условия самосохранения и самовоспроизведения. Поэтому в ходе эволюции складывается сильнейший инстинкт охраны своей территории. Члены другой стаи, пытающиеся проникнуть на данную территорию, неизбежно рассматриваются как смертельные враги. И в том случае, когда они туда действительно проникают, обезьяна способна даже на убийство, хотя в обычных условиях это для нее крайняя редкость. Эту инстинктивную, автоматическую программу поведе-

ния можно назвать "территориальной программой". В нее входят такие своеобразные компоненты, как безусловная защита своей территории и "очистка" ее от всего "чужого", связанное с этим тончайшее различие "своего" и "чужого", непримиримая враждебность к "чужому", нарастающая по мере его проникновения в глубь охраняемой территории и спадающая по мере его удаления; на нейтральной территории обезьяны, самое большее, могут обмениваться враждебными жестами и выкриками, но никогда не станут вступать в схватку.

Эту "территориальную программу" люди унаследовали от своих животных предков в полном объеме. Уже у самых примитивных человеческих племен с едва развитым языком можно обнаружить проявления порожденного этой программой своеобразного "расизма". Эти проявления отражаются прежде всего в их языке, поскольку язык, как известно, запечатлевает содержание всей нашей психики. В этих примитивных языках самоназвание члена своего племени и слово "человек вообще", как правило, совпадают. Это означает, что тот, кто не является членом данного племени, не является с их точки зрения и человеком, поэтому его можно, например, съесть. Так появляется идеологическое оправдание каннибализма. Но разве в языке современных евреев нет слова "гой", а у русских — "нехристь", а у мусульман — "неверный", а у англичан — "блуди форинер", а у немцев в прошлом — "унтерменч", а сегодня — "ауслендер"? Я слышал о немецком мальчике, который на вопрос, сколько учеников в его классе, ответил: двадцать немцев и три ауслендера. Язык до сих пор фиксирует это неустранимое деление на "наших" и "не наших".

Второе биологическое отступление посвящено путям обмена информацией в стае обезьян. Стая построена по иерархическому принципу. Во главе стаи стоит вожак, который занял свое первое место в упорной, но не кровавой борьбе с другими самцами, занявшими, соответственно, второе, третье и так далее места. Команды вожака выполняются всеми, немедленно и беспрекословно. Команды других членов иерархии выполняются только нижестоящими. Борьба за место в иерархии ведется постоянно, и ошибка вожака, причинившего ущерб стае, может стоить ему его первого места.

Оказалось, что не только команды, но и любая другая информация движется в стае сверху вниз. Если обучить молодого сам-

ца открывать запор ящика, в который экспериментатор поместил банан, а затем поместить этот ящик на площадку, где обитает стая, то обученный молодой самец немедленно откроет ящик и извлечет банан. Но воспользоваться плодами своих знаний ему не удастся. Вожак отберет банан, съест сам или уделит своим приближенным. Если же обучить новой технике вожака, то вскоре все члены стаи научатся у него отпирать запоры ящиков с бананами. Таким образом, новая полезная информация не может стать достоянием стаи, если она добыта на нижних уровнях иерархии. Полезная информация только "спускается". Более того, всякая "спущенная" информация рассматривается как полезная. Таким образом, экспериментально установлено, что иерархическая структура стаи резко замедляет процесс приобретения новых знаний.

Способность жить и выжить в стае связана с определенными врожденными способностями, позволяющими индивидуальной обезьяне найти свою нишу в иерархии. В частности, необходимо безошибочно распознавать вышестоящих. Предполагают, что обезьяны распознают "начальство" по косвенному признаку — по возрасту. Старший по возрасту, как правило, главнее младшего. Если же обезьяна ошибется и попробует отнять банан у кого-то, стоящего выше нее хотя бы на одну ступень, она немедленно получит наказание не только от владельца банана, но и от всех вышестоящих, функция которых состоит в том, чтобы "навести порядок", чтобы в стае "было тихо". В этой ситуации провинившейся "шестерке" следует немедленно проявить покорность. Она демонстрирует это характерным и недвусмысленным жестом — поворачивается к начальству спиной и виляет задом. Предполагается даже, что красный цвет зада у некоторых обезьян является специальным усилителем сигнала повиновения. В заключение этого отступления следует сказать, что территориальные программы, оперирующие как у нестатных, так и у статных животных, приобрели у последних своеобразную "территориально-статную" форму.

Третье мое отступление касается мотивов поведения. Ни одна из многочисленных программ поведения не реализуется без соответствующего побуждения, импульса, мотива. Биология различает четыре главных мотива и миллионы второстепенных. Четыре главных мотива — это голод, секс, агрессия и страх. В отношении голода и секса все готовы признать, что это мотивы "вну-

тренинг". Это не реакция на внешний раздражитель, а импульс, идущий изнутри. Внешний раздражитель способен его только усилить. Мы хотим есть не потому, что видим пищу, и хотим совокупляться не потому, что видим самку. Есть замечательные опыты с голубями, которых долго выдерживали в отсутствии самок. Такой голубь в конце концов начинает ухаживать за тряпичной куклой, а если нет куклы, то он находит укромное место в углу клетки, где тени — какое гигантское воображение! — складываются в некое подобие самки, и там начинает расшаркиваться и ворковать. Большинство людей с трудом понимает, что агрессия и страх имеют точно такую же внутреннюю основу. Очень многие объясняют агрессию как реакцию. Это неправильно. Агрессия тоже имеет спонтанную природу. Почему же в таком случае она не привела еще к полному взаимному уничтожению? Потому что природа нашла способы направлять агрессию — в том случае, если ситуация не требует ее для сохранения жизни, — в другие каналы. У высокоразвитых животных (и, естественно, у человека) агрессия, направленная по другим каналам, превращается в источник творчества. Более того, есть очень много сложных систем поведения, в которых агрессия, переведенная на другие рельсы, устанавливает связь внутри стаи и общества, и если бы ее не было, общество или стая могли бы распасться. Иными словами, агрессия — это топливо для реализации как "расистских", так и "цивилизованных" программ.

Чем меньше у человека альтернативных путей реализовать врожденную ему агрессию, тем чаще он реализует ее в прямых формах. Чем больше эта агрессия накапливается в результате тех или иных объективных причин, тем ничтожнее повод для ее реализации. Чем выше уровень накопленной агрессии, тем легче ее разрядить на того, кто рядом с тобой, а не далеко. Все это, я полагаю, вполне очевидно. Что не всегда очевидно многим, — это врожденная, биологическая, а стало быть не у с т р а н и м а я природа всех этих явлений.

Вернемся теперь к хомо сапиенс. Трудно сомневаться в том, что мы унаследовали от братьев наших меньших и территориальную программу, и иерархическую структуру общества. Появление земледелия и животноводства резко повысило значение территории как источника выживания. Землю стали называть кормилицей. Защита своей земли и захват новых земель приобрели еще большее значение. Эту функцию взяло на себя националь-

ное государство, которое объединило с в о й великий народ на с в о е й исконной земле. Появление формул типа "православие, самодержавие и народность" иллюстрирует процесс возникновения идеологии на основе врожденных программ — территориальной и иерархической. Эти программы переходят с бессознательного на сознательный уровень, то есть осознаются и получают четкое рациональное выражение. Включенные в эту идеологию экспансионизм, милитаризм и ксенофобия имеют в своей глубокой основе территориально-стадные программы поведения.

В отличие от врожденных программ приобретенные программы поведения проделывают обратный путь. Они возникают в сознании, в форме идеологии, которая не имеет реальной основы, и зачастую носят характер утопии. Так или иначе идеология свободы, равенства и братства родилась в голове у людей и лишь затем, овладев массами, стала материальной силой*.

Идеология свободы, равенства и братства, приведшая к буржуазной революции, освободила также и информацию. Новое общество получило возможность реализовать новую полезную информацию, даже если она исходила "снизу" или "сбоку". Иными словами, информация абстрагировалась от источника внутри национального государства и получила возможность беспрепятственно пересекать национальные границы. Слом иерархической структуры и свобода информации открыли дорогу индустриальной революции. Последняя, в свою очередь, создала новые источники благосостояния, относительно независимые от территории. В связи с этим можно думать, что буржуазная революция привела к появлению программ поведения, альтернативных территориально-стадной. Эти альтернативные программы я мог бы условно назвать "технологическими".

Безусловно, территориальная программа не исчезла и не исчезнет в будущем. Она просто перестала быть доминантной. Более того, если в национальном государстве метрополии техноло-

* В распоряжении специалистов по поведению животных имеются очень убедительные данные, указывающие на возможность наследования приобретенных программ поведения. В рамках этого высказывания нет места для обсуждения этих сложных молекулярно-генетических межнизмов. Скажу только, что тот, кого мы склонны называть "глубоко порядочный человек", по-видимому часть своей порядочности получил по наследству, а соответствующее воспитание только усилило этот признак.

Гические программы занимали почетное место, то в борьбе за колонии и в них самих по-прежнему царствовала территориальная программа. Она и привела к первой мировой войне — войне за передел уже поделенного мира.

История Германии, на мой взгляд, прекрасно иллюстрирует решающую роль идеологии как победителей, так и побежденных. Авторы Версальского мира действовали исключительно в рамках территориальной программы. Наложив непомерные репарации, они в сущности пытались использовать побежденную Германию как колонию. С другой стороны, победители, сломав кайзеровскую иерархию, открыли дорогу идеологии свободы и технологической программе, которая так или иначе реализовалась в Веймарской республике. Реставрация иерархической системы в форме Третьего рейха прекрасно иллюстрирует слабость приобретенных, цивилизованных программ по сравнению с врожденными. Гитлер очень искусно использовал идеологию “крови и почвы”, “жизненного пространства”, “врагов внешних и внутренних”, “недочеловеков” и так далее, чтобы пробудить, реактивировать врожденную территориально-стадную программу, свойственную каждому человеку. Вторая мировая война является, с моей точки зрения, неизбежным следствием торжества этой программы у большинства немецкого народа.

Вдохновляющий (я не боюсь этого слова) пример торжества цивилизованной технологической программы продемонстрировали американцы по отношению к побежденным немцам и японцам. Вместо того, чтобы заставить побежденные народы служить победителю в рамках территориальной программы, они вложили массу сил и средств в создание экономической и политической инфраструктуры цивилизованного демократического общества и получили ошеломляющий результат, вполне заслуживающий определения “чуда”.

Подведем итоги. Конфликт государств с “технологической” ментальностью с государствами с “территориально-стадной” ментальностью дважды приводил к мировой войне. Послевоенное развитие Западной Германии и Японии показывает, что существует принципиальная возможность использовать агрессию, питающую территориально-стадную ментальность, в мирных, цивилизованных целях. Необходимая предпосылка для такого переключения — сокрушительное поражение народа, развязавшего войну

в рамках территориальной программы, и специальные усилия цивилизованного победителя.

Вернемся теперь к нашим еврейским делам. Я полагаю, что в свете вышесказанного сионизм можно определить как территориальную программу еврейского народа. Территория, на которую претендует еврейский народ, заселена народом с доминирующей территориально-стадной ментальностью. По определению, такой конфликт неизбежно ведет к войне, в которой военная победа евреев мало что решает. Решение, с моей точки зрения, может быть найдено только в рамках подхода, использованного американцами в Германии и Японии. Это, так сказать, "американская опция" — как с точки зрения исторического примера, так и актуального участия Америки в ее реализации.

ФОРУМ

журнал киббуцного движения "Ха-Шомер ха-Цаир"

выходит каждые два месяца на 32 страницах большого формата
знакомит читателя

- с самыми острыми проблемами Израиля
- с насущными вопросами еврейского движения в СССР
- с новостями искусства, литературы и культуры в Израиле, СССР и на Западе.

"Форум" отражает позицию левых израильских кругов, предоставляя свободную трибуну всем инакомыслящим.

Подписная цена на год — 10 шекелей. Чеки на имя: Tarbut v'chinych le-olam — высылать по адресу редакции: B. Shilkrot, kibbutz Neqba.

Я не буду заниматься обще-историческими концепциями, а попробую сказать о том, что происходит в данный момент. Естественно, придется сделать несколько предварительных замечаний.

Сегодня в Израиле можно выделить две основные точки зрения на происходящее. Правый политический лагерь утверждает, что ничего нового не произошло, ситуация, в принципе, остается прежней, а ее обострение в данный момент обусловлено некоторыми привходящими факторами, прежде всего — политической игрой сверхдержав (в данном случае — планом мирного урегулирования), которая находит поддержку среди “внутренних врагов”, каковыми являются, с точки зрения правого лагеря, израильские левые. С точки зрения левых, все кардинально изменилось; под сомнение поставлена не просто политика на территориях или внешняя политика Израиля — под сомнение поставлено даже не само существование государства (для левых оно давно поставлено под сомнение), а вся концепция сионизма.

И с моей точки зрения то, что сейчас происходит, не есть нечто принципиально новое. Это продолжение той сорокалетней — на самом деле, столетней — войны, которая ведется между Из-

Зеев Бар-Селла

**ИСЛАМСКИЙ
ФУНДАМЕНТАЛИЗМ
И
ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО**

раилем и арабами и началась еще до основания государства. Что изменилось? В действительности, изменилось только одно. До настоящего времени война велась вооруженными средствами, армия против армии. С помощью оружия арабы не добились успеха, и потому борьба приняла новые, невооруженные формы. В сущности, Израилю был брошен вызов — в свою очередь, разоружиться. Чего он, естественно, не сделал, но из-за чего каждый убитый араб теперь представляется многим израильтянам фактом, не столько обнадеживающим — убит еще один солдат противника! — сколько отягощающим еврейскую совесть.

Итак, изменились способы борьбы, изменилась тактика. Но не изменилась суть. Что же привело к новым формам борьбы? Я не думаю, что это произошло вследствие продолжающейся израильской оккупации территорий. Мне думается, это вызвано определенными процессами, происходящими среди самих арабов территорий и шире — во всем арабском мире, безотносительно к Израилю. Начало этого процесса было положено мусульманской революцией в Иране и резко возросшей после нее агрессивностью исламского фундаментализма. И то, что происходит сейчас на территориях, есть, с моей точки зрения, прежде всего — восстание палестинских арабов против существующего палестинского истеблишмента в лице ООП. Вместо него жители территорий выдвигают сегодня собственный истеблишмент, построенный на религиозном принципе, не апеллирующий к международному общественному мнению, а напротив — обращающийся, прежде всего, к ближневосточным силам. Появление этого нового руководства вызвано, во-первых, возросшей ролью религии в арабском мире и, во-вторых, усилившимся в результате этого ощущением Израиля, как инородного тела на Ближнем Востоке. Это, если угодно, почвенная революция против инородного тела — с целью его отторжения и уничтожения. То, что она продолжается под теми же лозунгами, которые ранее провозгласила ООП, можно объяснить тем, что эти лозунги уже успели завоевать популярность в определенных кругах западного общества. Между тем лозунги исламской религиозной революции, будучи поовозглашены новым палестинским истеблишментом открыто, вряд ли снизили бы такую же популярность, ибо они откровенно направлены не только против Израиля, но против Запада вообще. Использование палестинцами прежних лозунгов ООП связано и с тем, что на борьбу под этими лозунгами организация Арафата полу-

чает миллиардные средства, и новый истеблишмент не прочь перехватить эти финансовые источники.

То, что я сказал, означает, что в палестинской среде происходит новое размежевание и новый конфликт. Вообще говоря, конфликты в этой среде существовали всегда. Самым серьезным из них было противостояние городского и деревенского населения территорий; деревенские арабы Палестины на 70 процентов — не собственники, а арендаторы земли; существует и конфликт между палестинцами территорий и беженцами. Но сегодня все более острым становится религиозно-секулярный конфликт. В свое время господствующей в арабском мире была секулярная панарабистская идеология насеризма; из нее, в конце концов, и выросло современное палестинское движение с его лозунгами межарабской солидарности, с его агрессивностью и так далее. Появившаяся сейчас религиозная идеология направлена не только против Израиля, но и против своего секулярного конкурента в арабских рядах. Причем, если в борьбе с Израилем она избрала новую тактику безоружного восстания, которую можно было бы назвать гандистской, то в борьбе за влияние на палестинские массы она не брезгует вооруженным террором и убийством. Так, в Газе за последние годы были физически уничтожены сторонники прежде влиятельных коммунистов. Во время недавнего Дня Земли, отмечавшегося израильскими арабами, с трудом было предотвращено вооруженное столкновение между демонстрантами из "Исламского джихада" и демонстрантами-коммунистами. Рост популярности и массового влияния идеологии исламского фундаментализма видны и в проявлении новой палестинской программы-максимум: не только интеллигенты, но даже самые простые арабские подростки сегодня говорят уже не о "бинациональной демократической Палестине", к которой демагогически призывает Арафат, а о том, что в Палестине, после уничтожения Израиля, должно быть создано "исламское государство". Всех этих явлений не было еще несколько лет назад. Сегодня они множатся с быстротой пожара. Сектор Газы уже полностью захвачен фундаменталистами, сейчас на очереди — Иудея и Самария.

Носителями этого фундаментализма являются, прежде всего, беженцы — не случайно, основным очагом нынешних волнений является Газа, где сосредоточено много беженских лагерей; в Иудее и Самарии этот процесс еще не так силен — там он захватил

пока только жителей деревень. Именно фундаменталистская исламская деревня составляет сегодня основную и к тому же наиболее экстремистски настроенную массу участников волнений в Иудее и Самарии, между тем как молодые арабские интеллигенты (в Хайфе, например) — это, в основном, христиане (точно так же, как в Нацерете, где преобладанием арабов-христиан и объясняется все еще сохраняющееся влияние компартии; иными словами, под внешне однородным фоном “палестинской инфитады”^{*} скрывается сегодня куда более неоднородная, сложная, как никогда острая и меняющаяся расстановка сил. Нынешние волнения и порождены этими внутренними изменениями, перераспределением сил и борьбой за лидерство. В этом отношении нынешние беспорядки носят локальный и спонтанный характер, а не подготовлены и не управляются кем-то извне.

Я думаю, что рост фундаментализма в арабском мире обусловлен несколькими причинами. Был период, когда этот мир воодушевлялся лозунгами демократии и модернизации. На волне этих лозунгов, соединенных с идеологией панарабского национализма, поднялся Насер. То было время, когда все новые арабские страны тотчас объявлялись республиками. Сегодня арабский, да и весь третий мир разочаровался в западных демократических образцах. Мы видим, что арабские монархические режимы не обнаруживают никакой тенденции к распаду; мы видим возникновение новых авторитарных и деспотических режимов, но — не демократий. Революционные силы сошли на нет, им на смену — в порядке естественной реакции разочарования — пришли антизападные силы. То же самое приходится сказать и о стремлении к модернизации. Оказалось, что третий мир и в частности арабы не способны пойти по западному пути и добиться на этом пути успехов; прежде всего потому, что их идеологии, религии, ментальности чужда сама идея технического прогресса и необходимо связанного с ним индивидуального усилия. Их упор — на глубинную, внутреннюю духовность; в этом они считают себя богаче Запада. Если Восток и хочет сегодня вернуться в историю, то — не в современную, а в прежнюю, вспять, в ту историю, какой она была в XVI веке. Кстати, по календарю арабов сегодня как раз XVI век Хиджры... Сегодня главная цель третьего мира: выбросить Запад (то есть США и СССР) из своего региона; а поскольку

^{*} *Инфитада* (араб.) — восстание. (Прим. ред.)

Израиль представляется анклавом, плацдармом, форпостом этого Запада, то его, естественно, нужно уничтожить в первую очередь. В этой борьбе самой перспективной и сплачивающей идеологией, естественно, оказался исламский фундаментализм. Не случайно мы видим его подъем не только в Иране, но и в Египте, и в Сирии, и в других странах. Любопытно, что, как и в России, эта почвенная идеология зачастую выражается в "экологических", то есть охранительных формах: в Египте, например, ширится движение фундаменталистской интеллигенции и молодежи за снос Асуанской плотины. Конечно, в разных странах это происходит по-разному и на разных уровнях. Ирак, например, остается секулярным, — но только потому, наверное, что там существуют две почти равные по силе общины, суннитов и шиитов, и сдвиг руководства в сторону любой из этих сект немедленно повлек бы за собой религиозную гражданскую войну. Сирия, которая дальше всех зашла было по пути секулярной модернизации (благодаря помощи Советского Союза), сегодня оказалась в самом тяжелом экономическом положении среди всех арабских стран, что и вызывает бурный рост фундаментализма среди сирийских суннитов. В Саудовской Аравии и Кувейте так называемая "модернизация" сводится к попытке раздать часть награбленных верхушкой фантастических богатств (с целью расширить базу режима, опасяющегося угрозы фундаментализма), да к расширению образования — исламского, — направленного на решение острой задачи создания нации (опять-таки, с целью противостоять поднимающимся фундаменталистским настроениям). Следовательно, то, что происходит сейчас в палестинской среде, попросту повторяет все эти более широкие процессы, идущие во всем арабском мире, вплоть до восстания против прежнего истеблишмента. Сегодня волна революционного национализма, некогда поднятая идеологами "арабского социализма" (заметим, кстати, в основном — арабами-христианами или евреями), сменилась волной исламского фундаментализма. И эта волна захватывает гораздо более широкие слои, чем прежняя волна секулярного национализма. Подъем фундаментализма порожден, повторяю, именно неудачей арабского национализма в его попытке победить Запад западными же методами (вспомним лихорадку промышленного строительства 50-х годов в Египте и Сирии). То же происходит во всем третьем мире, который проиграл свою недавнюю попытку одним рывком догнать Запад. Догнать оказалось невозможным; у третьего мира не на-

шлось необходимых кадров, не оказалось необходимой выучки, не нашлось, наконец, мировоззрения, которое оправдывало бы стремление к техническому прогрессу. Мировоззрение третьего мира видит главную цель не в прогрессе, а в традиционных ценностях Востока — семье, религии, власти, авторитете. Такое мировоззрение не нуждается в развитии, оно исповедует консерватизм. Эта традиция, в сущности, никогда не исчезала, общество всегда оставалось неизменным. Мне кажется, что Запад сегодня и сам убедился в том, что его попытки привнесения на Восток демократических институтов и технологического прогресса обречены; Запад сегодня куда более заинтересован просто в сохранении стабильности. Но Восток агрессивен — и прежде всего в тех точках, где его традиционный образ жизни непосредственно, физически соприкасается с враждебным ему западным. Мы, Израиль, находимся как раз в одной из таких точек.

Теперь — что происходит на нашей стороне. С нашей стороны, мне кажется, все обстоит теперь более или менее хорошо. Было плохо. Было плохо, когда вышли швырять камни арабы тель-авивского пригорода Яффо, когда израильские арабы вышли на демонстрации в "День Мира". Все израильтяне, которых я знаю, и справа, и слева, были этим потрясены. Проблема отношений со "своими" арабами — одна из тех немногих израильских проблем, которая казалась уже решенной, — вдруг снова вышла наружу. Надежды на то, что израильские арабы — уже не палестинские арабы, что с ними у нас найден *modus vivendi*, все это развеялось в течение одних суток. И встал вопрос — нет, не о том, что делать дальше с арабами, а — что делать дальше с евреями? Что делать с государством?

Дело в том, что государство — это объект, который существует в двух видах. С одной стороны — на земле, в своих институтах, в промышленности, в экономике, а с другой — в сознании своих граждан. И вдруг, в течение одних суток, наше государство в сознании его граждан дало основательную трещину. Выяснилось, что проблема, которая казалась решенной сорок лет назад, была попросту загнана внутрь, преспокойно там гнила и теперь вырвалась наружу.

Очень трудно оценить ситуацию, потому что существуют очень простые ответы. Само разделение израильского общества на партии, а прежде всего — на два больших блока, правый и левый, очень затрудняет прочтение картины, потому что есть определен-

ная правда и у правых, и у левых. Впрочем, у правых этой правды, пожалуй, больше. Правые сегодня (не знаю, что будет дальше) представляют те силы, которые стремятся к выполнению ряда государственных задач, к укреплению государства, к закреплению за этим государством определенной территории, к повышению готовности защищать это государство от любого врага, внешнего или внутреннего. По сравнению с этим точка зрения левых представляется гораздо более уязвимой и в ряде случаев (очень часто) — даже антинациональной. Что бы ни говорили левые о своих истинных намерениях (например, что их главной целью является сохранение еврейского и демократического характера государства), любому поверхностному взгляду — и особенно поверхностному взгляду — совершенно очевидно, что их конкретные действия (разговоры о готовности к территориальным уступкам еще до начала всяких переговоров, пугающие напоминания о неотвратимой арабской демографической угрозе, настойчивые требования международной конференции с участием СССР и ООП и тому подобное) объективно направлены на поддержку арабской стороны в конфликте, а тем самым — на снижение готовности к сопротивлению еврейской стороны. Трезвому анализу ситуации мешает также несформированность — или только частичная сформированность — израильского государственного сознания. До сих пор здешний конфликт видится как конфликт между арабами и евреями, а не как конфликт между арабскими государствами и государством Израиль, как это есть на самом деле. Порой, говоря о “столетней войне” между арабами и евреями на территории Палестины, мы теряем конкретную историческую перспективу и понимание разницы эпох; вместо конкретного анализа фактов появляется некая мифология вековечного еврейского погрома, которого нельзя избежать. Появляется своего рода “политическое манихейство”, которое уже не видит конкретной политики, которому все представляется борьбой сил Света и сил Тьмы. Многие наши правые иррационально убеждены, что арабы — такие же мистические враги еврейства, как некогда христиане, нацисты и вообще весь мир; а многие наши левые, которые лелеют надежду на возможность некоего “морально-территориального” примирения сил тьмы и света, руководствуются, в действительности, таким же иррациональным и мистическим представлением о неизбежных “законах” еврейской истории: Эта метафизическая истерика мифологов превращается, в конце концов,

в ревизию самой целесообразности создания еврейского государства, собирания всех евреев в одном месте и так далее.

Однако, на мой взгляд, пик этой растерянности израильтян уже позади. Ужесточение как нашего общественного мнения, так и поведения израильских солдат на территориях отражает, как ни странно, определенную нормализацию. Ведь естественной, нормальной реакцией народа и должно быть: меня хотят уничтожить — я буду сопротивляться, я этого не допущу. На моей памяти это уже вторая израильская истерика; первая была после войны Судного дня; но все проходит. В конце концов, государство само по себе — это огромная символическая сила, которая способна порождать определенные факты в сознании своих граждан. И отношение израильтян к своему государству тоже, в конце концов, снизится до нормального. После первого шока и сомнения, израильтянин снова начинает понимать, что он — не в диаспоре, что он живет в совершенно ином, чем все остальные евреи, мире со своими, очень конкретными политическими проблемами, а не внутри еврейской мифологии неизбежной Катастрофы. И все это формирует у израильтянина сетку отношений ко всему окружающему. Израильтяне — сионисты в том смысле, что они сознают, что живут в еврейском государстве, имеющем основой сионистскую идеологию. Но все это — лишь символика, призванная обосновать и подкрепить совершенно иное содержание — тот факт, что они живут здесь, в Израиле, в совершенно иной реальности, нежели все остальные евреи, и с совершенно иными проблемами. И этот сионизм укрепляется самим фактом существования государства, усиливается при любой угрозе его существованию и углубляется с каждым новым годом этого существования. Можно, конечно, сказать, что это не сионизм, а попросту израильский патриотизм. Что ж, каждый человек лишь отчасти осознает реальность, в которой живет; чтобы выжить, ему нужны свои мифы, особенно нерациональные; израильтяне, которым выжить труднее, чем многим другим, нуждаются в таких мифах острее многих. Обосновывать ли свое право на эту землю "требованиями морали и справедливости", подкрепленными Катастрофой, или историко-религиозными связями с этой землей — все это равнозначные мифы полудомашнего производства: они обеспечивают нам ментальное равновесие, необходимое для жизни здесь; пройдет время, и надобность в них исчезнет, она сменится "просто жизнью здесь". Нашей истории исполнилось сорок лет; в еврейской симво-

лике это решающий срок, с этого времени все начинается (вспомним сорок лет странствий по пустыне).

Итак, события последних месяцев ничего кардинально не изменили, но многое показали. Они показали, прежде всего, что конфликт между арабами и Израилем на Ближнем Востоке, судя по всему, в ближайшее историческое время, в течение ближайших десятилетий, неразрешим. Он неразрешим путем переговоров, это совершенно очевидно: нам не с кем вести переговоры, потому что само наше существование для наших врагов является — пока еще — сомнительным. Я говорю: пока еще — потому что вижу тут важный исторический феномен, имеющий отношение не только к Израилю. Никому бы в голову не пришло разделить Германию в 1945 году на четыре зоны, если бы сама Германская империя, Второй райх, не была создана всего лишь за 75 лет до того, в 1870 году! Никто и не подумает ставить под сомнение существование Франции или Великобритании. Но то, что создано всего 75, 40 или 20 лет назад, — это еще не история, и все еще можно "переиграть". Не случайно сегодня Арафат в своих высказываниях и Горбачев в своих недосказанностях поминают 1947 год: они хотят вернуться "к началу" и "переиграть". Даже сами израильтяне не вполне еще свободны от этого ощущения неокончателности того, что произошло: во всех наших многочисленных планах "территориальных уступок" и прочих перекроек ближневосточной карты есть нечто от той же иллюзии, что можно вернуться к началу и переиграть нашу историю или отказаться от части уже пройденного исторического пути (например, после 1967 года). Палестина все еще представляется многим неким бесформенным тестом, из которого можно испечь и пирожки, и торт, а не получится — скатать его "обратно" и начать "сначала".

Во-вторых, события последних месяцев показали, что конфликт по-прежнему остается конфликтом между государством Израиль и окружающими его арабскими государствами, а не между евреями и палестинцами или Израилем и палестинцами. Его формы зависят, прежде всего, от состояния арабского мира; он может, например, стать преимущественно конфликтом между Западом и Востоком. Но главная причина неразрешимости этого конфликта, в каких бы формах он ни проявлялся, состоит именно в том, что существование Израиля не стало еще историей — не только в сознании арабов, но и в сознании израильтян, и уж в любом случае — в сознании евреев всего мира. Невозможно

представить себе высказывание какого-нибудь немца, живущего в Америке, что, мол, если Германия падет, он будет тем, кто понесет дальше знамя германского гения; но относительно Израиля американские (и советские) евреи часто высказывают такие мнения.

Наконец, мы подходим к вопросу, следует ли Израилю что-либо предпринимать, и если да, то что именно. Для этого нужно обратиться уже к чисто прагматическим корням нынешних событий. Восстание арабов на территориях (а это именно восстание) не могло бы начаться и продолжаться так долго, если бы у них не было тыла. И этот тыл — арабский мир. До тех пор, пока окружающие нас арабские государства сохраняют свою военную мощь и представляют для нас военную угрозу, арабы территорий будут ощущать себя — и будут поддержаны в этом мнении, — передовым отрядом могучей арабской армии. Вопрос об арабах на территориях решается, таким образом, за пределами территорий — он решается в отношениях между государствами, теми, которые есть или которые будут (ибо мы живем на Ближнем Востоке, и окружающий нас мир еще не устоялся). И решается не путем переговоров, ибо переговоры начинаются только после поражения одной из сторон в войне. Или тогда, когда обе стороны, в результате длительных и многократных войн, осознают, что существует некий рубеж, с которого они своего противника сдвинуть не могут. Тогда они примиряются с этим фактом и в дальнейшем ведут себя в границах собственных возможностей. Третьего не дано. Но даже эти два выхода пока не кажутся мне близкими. Чтобы добиться своих целей, Израиль должен прежде всего добиться, чтобы его борьба перестала быть отражением политики сверхдержав и стала самостоятельным и независимым действием. Ибо цель Израиля — достичь капитуляции своих противников; а сегодня, когда и они, и мы являемся клиентами сверхдержав, ни одна из которых не может потерпеть поражение, о капитуляции клиентов не может быть речи. Необходимо кардинальное изменение международной ситуации.

А до тех пор? Не знаю. Я не пророк и не сын пророка. Мой отец — полковник Генерального Штаба. И поэтому я говорю: будет война и войны. Евреи — народ, развращенный безгосударственным, внеисторическим существованием. Мы первыми из евреев вступили в реку истории. И поэтому наш исторический опыт ничтожен. Более того, мы впрыгнули сразу в XX век. И по-

тому нам никто не поможет — ни советом, ни делом. А история — дело кровавое, и льют в ней не твою кровь, а ты льешь чужую. История — это готовность убить ценой собственной смерти. Такую готовность часто называют любовью к Родине. А это всего лишь воля к Истории.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

НЕЛЛИ ГУТИНА. "ЖУРНАЛ"

Впервые в русской литературе — уникальный "Журнал" одного автора с тысячью лиц, необычное путешествие во внутренний мир писателя под руку с его героями и читателями...

260 стр.

12 долл.

Заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

У арабо-израильского конфликта есть две стороны — рациональная и иррациональная. Они не всегда, как я в конце концов пришла к выводу, противоречат друг другу. Если подходить рационально, довольно мелкий конфликт с палестинцами представляет собой часть глобального арабо-израильского конфликта. Этот конфликт с палестинцами я рассматриваю как **гражданскую войну**. Есть два народа, живущие на одной земле, претендующие на одну и ту же землю. Причем часть населения, одна из сторон, стимулируется извне, как это было в России во времена Антанты. Конечно, формально это не один народ, как обычно бывает в ситуации гражданской войны. Но по сути дела это не так уж важно.

Палестинская проблема — на самом деле не такая уж существенная — отвлекает Израиль от более серьезного — геополитического, стратегического — конфликта с Сирией, с Египтом, с Ираком. Я вижу арабо-израильский конфликт прежде всего именно как **геополитический**, как конфликт с сильными и опасными арабскими государствами. То, что существует формальный мирный договор с Египтом, не отменяет эту опасность. Речь идет о большой, перенаселенной стране, которая не имеет другого пути решения своих социальных и демографических проблем, чем путь

Нелли Гутина

ОРИЕНТАЦИЯ НА ХРАМ

войны. С другой стороны, есть очень сильная в военном отношении Сирия, питающая большие геополитические и исторические претензии империалистического толка — на Великую Сирию.

Часто говорят о каком-то “общем противостоянии” арабского мира еврейскому государству. Я в это не верю. Если бы это было так, если бы существовали те знаменитые “двадцать одна арабская страна”, которые якобы стоят против одного маленького Израиля, дела наши были бы очень плохи. Но это иллюзия. Панарабский миф, который давно изжил себя, не оправдался ни исторически, ни геополитически. На самом деле арабский мир вовсе не однороден. Сегодня Израилю противостоит не “арабский мир”, а отдельные арабские страны, каждая со своими проблемами, своими целями и своими возможностями.

Разумеется, я сейчас рассуждаю в чисто рациональных терминах. На самом деле чисто рациональных конфликтов, конечно, не существует. Но если отвлечься от иррациональных мотивов, то арабо-израильский конфликт действительно представляется чисто геополитическим и в таком плане вполне может быть решен. Например, нет никаких рациональных оснований не дать палестинцам государство на Западном берегу Иордана, поскольку геополитически оно не будет ничем иным, как бантустаном. Такое государство “не тянет” на страну с большими политическими и военными амбициями — ни географически, ни демографически, ни экономически — и не будет само по себе представлять геополитическую опасность для Израиля. Наоборот, — если оно станет буфером между Сирией и нами, то в этом будет даже стратегический выигрыш для нас. Но это осуществимо, конечно, лишь в том случае, если такое государство дадим палестинцам мы сами, в виде **протектората**. Рационально эта идея просто напрашивается. Разве в Ливане не хотели сделать что-то подобное? Создать палестинское государство израильскими руками куда легче, чем то, что замышлялось в Ливане. И куда реалистичнее, чем пытаться отдать территории с их жителями Иордании. И если даже это не решит “большого конфликта”, то во всяком случае обеспечит нам тылы, устранил враждебный плацдарм внутри Израиля и облегчит наше положение в возможной войне с арабскими странами.

Увы — это рациональное решение пресловутой “палестинской проблемы” невозможно по **иррациональным** причинам. Как и некогда в русской гражданской войне, здесь противостоят друг другу не только два политических, но и два непримиримых идеологиче-

ских лагеря. В сионистской идеологии попросту нет места для палестинской проблемы. Сионизм все еще ориентируется на решение проблемы "еврейской". А идеология палестинцев несамостоятельна. Она представляет собой жалкий плагиат сионизма и так же преувеличивает значение формальных признаков государственности. Кроме того, нужно учесть еще иррациональные психологические преграды — накопившуюся с обеих сторон ненависть.

Я говорю о палестинцах в целом, вообще, тогда как на самом деле они состоят из различных групп с разными интересами. Разумеется, можно говорить и о неоднородности палестинцев. Однако ненависть и территориальная идеология объединяют сегодня их всех. На их неоднородность делают ставку те израильтяне, которые надеются применить к разным палестинским группам принцип "разделяй и властвуй". Они рассчитывают с помощью такого разделения отделаться от "непримиримых" палестинцев, отдав их кому-нибудь в арабском мире, и включить в состав Израиля "покорных", которых надеются со временем ассимилировать. Это чисто западный путь — равноправия, гражданства, секулярной ассимиляции. Многие проблемы, в том числе и палестинскую, следует решать на совершенно ином пути: если Израиль станет другим государством, если он превратится со временем из вестернизованного государства евреев, каким является сейчас, в подлинно еврейское государство. Короче, если Израиль сам пройдет процесс девестернизации.

На сегодняшний день Израиль, напротив, видит в палестинцах, в арабах главную угрозу своим западным нормам, своей западной "демократической модели". Израиль сегодня все еще ориентирован на Запад. Наша вестернизация — это неизжитая часть нашего европейского прошлого, это результат нашей неукорененности здесь. Когда-то я думала, что нам удастся пройти процесс девестернизации именно с помощью палестинцев, с помощью арабов, путем сближения с ними. Теперь я думаю, что мы не нуждаемся для этого ни в палестинцах, ни в арабах. Мы нуждаемся всего лишь в религиозном возрождении. Мы нуждаемся в еврейском фундаментализме, которого у нас нет. Я не могу считать верующих из Меа-Шеарим фундаменталистами. Если эти люди позволяют себе ходить в одежде, свойственной еврейским местечкам Европы, в которых никогда не ходили наши патриархи, — какой это фундаментализм? Фундаментализм — это возвращение к корням, фундаменту, почве. К той религии, которая была когда-то. К библейскому мифу. Иными сло-

вами, к **ориентации на Храм**.

Сегодня только одна небольшая группка в израильском обществе всерьез говорит о восстановлении Храма, а не просто о выполнении "мицвот", — группа Саломона. Я не говорю, что нужно немедленно восстанавливать Храм. Сегодня такая затея вылилась бы в очередное телевизионное шоу. И израильтяне тотчас собрались бы вокруг этого Храма со своими мангалами, на которых стали бы жарить шашлыки. И запивать их кока-колой. Поэтому я говорю пока только об **ориентации** на Храм, то есть о воспитании, которое должно начинаться с ясельного возраста, в детском саду, в школе.

Став на этот путь, мы провозглашаем нашу особость. Ориентируясь на Храм, мы тем самым говорим себе и миру, что Израиль — вовсе не та "просвещенная западная страна", какую они хотели бы тут видеть, мы — не часть западного мира, мы другое государство, и у нас совершенно иной, **свой** путь. Мы не государство евреев, живущих по западным нормам, мы — особое, еврейское государство. Мы создали государство не для того, чтобы решить еврейскую проблему, не для того, чтобы получить флаг и парламент. Мы создали его для того, чтобы продолжать свою национально-религиозную историю, чтобы выполнить Завет, чтобы восстановить Храм. Мы вернулись именно для этого, а не для того, чтобы спастись от гонений. Мы другие, поэтому не требуйте от нас выполнения всех ваших западных норм и мерок. В том числе и по отношению к палестинцам.

Разумеется, все это невозможно осуществить сегодня. Для этого Израиль должен пройти долгий процесс укоренения и девестернизации. И здесь я вижу особую роль религиозных кругов. Наши религиозные круги не должны уклоняться от своих главных обязанностей. Сегодня они целиком погружены в свою религиозную культуру. Эта культура кабалистов и хасидов несомненно интересна, глубока, но она очень эзотерична, она недоступна массам, потому что она требует большого интеллектуального напряжения. Поэтому массам предлагается самое простое — формально выполнять "мицвот". Я вообще подозреваю, что эта одержимая ритуалом является суррогатом подлинного религиозного чувства. Я бы сказала, что в нынешнем виде наши религиозные круги — это тоже вестернизирующий элемент. Им все еще недоступен высокий стиль мышления, необходимый нашему обществу. Они представляют собой стилистический нонсенс. В самом деле, если они могут позволить себе выступать против археологических раскопок, про-

тив археологии, которая связывает нас с нашей историей, дает легитимацию нашего пребывания здесь, то они в действительности препятствуют нашему укоренению. А ведь был уже рав Кук и есть движение Гуш-Эмуним! Гуш-Эмуним это, возможно, зачатки необходимого нам национально-религиозного возрождения. Но это только начало. Нужно пойти дальше, нужно сознательно взять ориентацию на Храм.

Кое-кто опасается, что такая ориентация оттолкнет значительную часть общества, так называемых секулярных израильтян. Я думаю, что это напрасные опасения. Я верю, что подсознательно идея избранности существует и у нерелигиозных израильтян. Это часть нашего общего коллективного подсознания. Если бы этого не было, еврейский народ просто бы не сохранился. Мы пытались сублимировать это подсознательное ощущение западным способом — доказывая свою гениальность в рамках секулярного западного общества. Но это был “субститут”, суррогат, жалкая подмена истинного назначения. Наши секулярные израильтяне просто испорчены всем этим западным интеллектуальным мусором. Одни привезли в страну “штреймелех” и лапсердаки, а другие — идеи демократии, интернационализма, социализма. Пора уже все это отбросить. Я не говорю, что это нужно сделать сию минуту, насильственно, приказным порядком. Это пройдет само собой. Нужно только взять правильную ориентацию. Ориентацию на Храм. Я бы даже сказала — на монархию, в конечном счете.

Но как все это может помочь решению арабо-израильского конфликта? Кажется, что при таком развитии Израиля на первый план выйдут уже не наши геополитические, а наши **религиозные** противоречия с соседями, а эти противоречия вроде бы являются самыми глубокими, фундаментальными и следовательно — непримиримыми. Может быть, и так, и тогда мы пойдем по пути конструктивной агрессии в плане решения этого конфликта. Но с другой стороны, между исламом и иудаизмом нет таких непримиримых противоречий, как между иудаизмом и христианством. Как евреи, мы не можем принять примитивную идею, будто Христос — Сын Божий. Это регрессия к язычеству. Мы воспринимаем Бога, как абстракцию, христиане — как существо, которое способно оплодотворить женщину, Ислам никогда не выдвигал претензий, будто Магомет — Сын Божий. Аллах — един, а Магомет — всего лишь его пророк. Это упрощение иудаизма, но оно не вступает с ним в непримиримые противоречия. Ориентация на Храм позволила бы

нам открыть ворота иудаизма для мусульман, для палестинцев. Часть из них может этого захотеть. Сегодня же перед ними закрыты все двери — и в плане их собственного государства, и в плане наших западных ценностей, и в плане нашей секулярной культуры, и наконец в религиозном плане. Некоторые двери просто надо открыть. И я считаю, что самое главное — открыть именно эту, религиозную дверь, потому что она наиболее перспективна. Если мы откроем перед ними дверь нашей нынешней **секулярной** культуры, если мы будем учить их западным ценностям: флагу, парламенту, демократии, — то мы в их глазах будем **проводником западного влияния**. Я не хочу такой роли для нас на Ближнем Востоке. Если же мы откроем им дверь в нашу религию, если мы когда-нибудь начнем с ними теологический диалог, — это совсем иное дело. Даже если мы дадим палестинцам сегодня их собственное государство, мы все равно не сможем отгородиться от них — ни географически, ни регионально. Они все равно останутся частью этой земли. Мы не сможем снять с себя ответственность. Мы не можем уйти от проблем Ближнего Востока.

Но прежде чем решать региональные проблемы на таком историческом уровне, нам самим нужно укорениться в этом регионе. Дело не только в нашей вестернизации. Мы еще не стали нацией в подлинном смысле слова. Израильскому обществу, как целому, не хватает общего “зеута”, общей самоидентификации. Ведь сионизм не ставил своей задачей становление нации в Сионе. Он конечно ставил задачу создания “нового человека”, но видел в этом опять-таки решение “еврейской проблемы”. На самом деле сионизм вообще не решение чего-либо, это всего лишь **инструмент**. Инструмент для выполнения Завета. Сам того не подозревая, он собрал здесь евреев для выполнения именно этой задачи. Прав был рав Кук, который говорил, что эти секулярные идеалисты выполняли в действительности волю Божью. Сионизм ставил — и продолжает ставить — чисто **физические** задачи собирания евреев в Эрец-Исраэль. Сейчас перед нами встали исторические задачи, которые выходят за рамки сионизма. Сионизм был большим успехом. Жаль, что он не осуществился раньше. Из-за того, что мы не выполняли Завета, не возвращались на свою землю, произошла Катастрофа. Мы должны были вернуться, чтобы восстановить Храм. Только такая ориентация позволит нам создать чувство общей национальной принадлежности. Сегодня у нас его нет. Его заменяет чувство принадлежности к той или иной этнической группе, к тому или иному

политическому лагерю, к той или иной партии. Отсюда у каждой группы ощущение, что только ее идеология выражает "истинный Израиль", все остальные — враждебны "интересам нации". Поэтому у нас так остро, так лично воспринимаются все эти партийные и политические споры. На самом деле, все эти частные "принадлежности" — всего лишь суррогат истинного "зеута". Конечно, в этом спектре наших сегодняшних идеологий есть такие, которые связаны с землей Эрец-Исраэль, и я вижу в них путь к укоренению, зародыш регионального патриотизма. Подлинный патриотизм не начинает отсчет с флага и парламента, чтобы лишь потом спуститься вниз, к роду, семье, земле. Он начинается с фундаментальных, национальных и региональных ценностей, чтобы от них подняться к общечеловеческим. Но в современном Израиле задают тон такие идеологии, которые на первое место ставят именно западные формальные ценности. Они начинают отсчет с ценностей "общечеловеческих", потом "государственных", а такие фундаментальные основы существования, как земля, почва, народ, регион, — все это для них где-то на последнем месте. Такой образ мышления я называю "угандийским". Когда В. Богуславский в своей статье ("22", №57) пишет, что он приехал в Израиль потому, что в России был гражданином второго сорта, а здесь может быть полноправным гражданином своего государства, со "своим" флагом, "своим" парламентом, "своей" консервной фабрикой и так далее, мне хочется его спросить — почему не создать такое государство в Уганде? Я не принимаю такую постановку вопроса: возвращаться в Израиль только для того, чтобы добиться равных прав. Мы здесь не для того, чтобы решать проблему дискриминации. Люди, ориентированные на государство западного типа, удовлетворились бы государством евреев где угодно. Более того, — если бы им дали равные права в России, они бы этим удовлетворились, пожалуй, и там. Мы это видим сейчас на примере многих советских евреев. Борьба за права — это не стимул, это не исторично. Я бы даже сказала, что это слишком мелко. Задним числом я думаю, что когда сионизм в свое время сделал упор на создании "государства евреев", он попросту рационализировал иррациональные стремления. Это была тактика, быть может — неосознанная тактика, которая помогла части еврейского народа вернуться в Эрец-Исраэль — но в действительности совсем для другой цели. Будучи просвещенными, западными людьми, первые сионисты вынуждены были рационализировать эти стремления. Они не могли бы принять нынешние за-

дачи на нынешнем языке. У них просто был другой язык. Но теперь это уже можно понять. Нам пора уже вырасти из западных штанишек. Я думаю, впрочем, что и на Западе этот рационализм уже зашел в тупик. На Ближнем Востоке он сегодня совсем смешон. Но и на Западе наступает новый этап. Становится ясно, что не все поддается рациональной интерпретации. Нужно оставить место и для иррационального остатка, а не интерпретировать до бесконечности, как это делали некогда Фрейд и ему подобные. Невозможно проалгоритмизировать все до конца.

Но меня не очень интересуют западные проблемы. Скажу откровенно, меня даже не очень интересуют советские и западные евреи. Они композиционно не вписываются в этот сюжет. Какая-то часть из них — та, которая присоединится к нам, — выживет, остальные исчезнут. Потому что я уверена, что Бог запрограммировал еврейскую судьбу таким образом, что тот, кто отказывается выполнить Завет, в конце концов расплачивается за это Катастрофой. Те, кто не захочет присоединиться к нам, в конце концов погибнут. Но это вообще в скобках. А Запад пусть сам ищет выход из своего тупика. У нас такой выход есть. Наш фундамент, наша почва — рядом: возьми лопату и копни! Сама жизнь, ближневосточная реальность заставляют нас свернуть с привычного западного пути. Вот, недавно наш министр обороны, к ужасу Запада и западных евреев (а также части израильтян), издал приказ об избиении палестинских бунтарей на территориях. Это не был приказ теоретика, который не знает ситуацию на месте, а наши солдаты не выглядели теми, кто бездумно исполняет "глупые приказы": они били в полную силу, очень естественно, а некоторые даже перед телекамерой. А ведь когда кибуцный мальчик разгоняет толпу своих арабских сверстников, он не только освобождается от фрустраций и разряжает свои агрессивные импульсы. Он еще проходит и своеобразную школу девестернизации. Такой мальчик бьет своего сверстника **вопреки** всему тому, что ему преподносили в кибуце. **вопреки** всем тем "высшим ценностям", которые стали его "алтер-эго" — и тем самым он конструктивно разрешает конфликт со своим кибуцным воспитанием. Это конфликт, но это плодотворный конфликт. Растет поколение израильтян, которым становятся безразличны "универсальные" западные ценности, которые демонстрируют всему миру, что им плевать, как о них думают, что о них думают или что это некрасиво с точки зрения так называемой демократии. В ходе этого конфликта оно становится другим. Завтра

оно осознает свой особый путь. Человек западного типа, так называемый "цивилизованный европеец" не способен встать на этот путь, потому что у него слишком сильны "сдерживающие моменты" христианской **жертвенной** морали. Пора понять, что наш здешний конфликт **несовместим** с западными нормами. Чем резче жизнь наталкивает нас на это противоречие, тем лучше. Тем быстрее мы отделаемся от нашей затянувшейся вестернизации. Все уже понимают, что мы не можем оставаться до бесконечности одновременно демократическим государством и еврейским государством. И я уверена, что наш единственный выход — стать именно еврейским государством, даже если на это потребуются столетия.

Сегодня мы в самом начале этого процесса, мы еще дети. Мы ввязем в мелком конфликте с палестинцами, который заслоняет от нас наши дальние перспективы и подлинные задачи. Сегодня в этом конфликте со стороны палестинцев тоже вышло на авансцену новое поколение — более жесткое, нетерпимое, не склонное к компромиссам поколение лагерей. Их отличие от нового поколения израильтян, я бы сказала даже — их беда в том, что за ними нет такого мифа, который был бы сравним с библейским мифом евреев. Все, что у них есть, — это поверхностный, **секулярный** миф о нации и территории, плагиат сионизма западного образца. В арабском мире вообще плохо с мифами. Единственная мусульманская страна, которая всерьез интересуется своей древней историей, стремится восстановить свои древние границы — это Сирия. За ней есть свой миф, но даже этот миф лишен той глубины и уникальности, которую придает библейскому мифу идея еврейской избранности. А уж с палестинцами дело вообще плохо. В столкновении глубинных мифов их вообще нет, им нет места. В таком столкновении их **секулярный миф**, в отличие от сионизма, вообще не может реализоваться. Поэтому единственная их надежда его реализовать — это, как ни удивительно, — мы, Израиль. Но мы, повторяю, можем дать им не более, чем бантустан. А это — не историческое решение. С этим не войдешь в историю. Это всего лишь западная игра, в которую можно поиграть какое-то время. Но потом обнаружится, что у них нет миссии, что они не в счет. Они не могут "присоединиться" к мифу об "арабской нации", потому что это сегодня пустой миф. Им нет места и в новой сирийской мифологии. Короче, они нигде. Они — тень сионизма. Я бы на их месте присоединилась к израильтянам. После того, как они поиграют в свою "государственную игру", они вполне могут присоединиться к нам, к нашей библейской

мифологии, потому что у них есть зачатки ощущения, что они — дети этой земли, что в их жилах течет библейская кровь. Об этой возможности уже говорил в своей книге ("Сосна и олива") Израиль Шамир. Многие видят в палестинцах обарабившихся евреев древней Палестины. Есть основания сомневаться в том, что депортация евреев из Палестины при римлянах была такой уж полной. Но даже если она была полной — это неважно. Не так уж важно, насколько достоверно такие связи подтверждены археологически, — намного важнее, если так думают сами палестинцы. Если они сами придут к выводу, что они близки нам генетически, то что еще будет нас разделять? Религия? Но и тут нет серьезного противоречия. Тот же Шамир прекрасно сказал, что восстановление Храма вовсе не означает обязательного уничтожения мечети Эль-Акса. Как бы то ни было, только библейский миф может дать палестинцам их исторический шанс.

Конечно, я не разделяю тот конкретный вид, который эта утопия принимает у Шамира. Чтобы "вернуться к оливе" не обязательно перенимать образ жизни палестинских феллахов. Отказаться от излишнего урбанизма и других зол современной западной цивилизации возможно и в рамках еврейской религии. Еврейская религия, с одной стороны, не противоречит прогрессу. Она вполне совместима с наукой и технологией. Технология — это тоже часть освящаемой иудаизмом природы, только созданная человеком. А с другой стороны, в иудаизме есть положительные экологические ограничения: суббота, год "шмиты" и т.п. Иудаизм ориентирован на мир, сочетающий технический прогресс с разумным экологическим поведением. Поэтому "ориентация на Храм" означает одновременно и особое отношение к месту, к природе, к окружающей среде. Такая ориентация помогла бы нам отказаться от излишеств прогресса, от его продуктов распада — и физических, и духовных. С высоты Храма, — а это высокий стиль, — вы соответственно относитесь и к своей земле, и к своему окружению. Вы не строите этих нелепых жилых массивов с бесконечными солнечными обогревателями на крышах. Просвещенное теократическое государство — а только у нас и только здесь есть шанс создать такое — способно более успешно решить экологические проблемы, чем демократия западного типа с ее неперемнной ориентацией на сверхпотребление. Если бы наши религиозные круги были по-настоящему религиозны, экологические ограничения были бы строже. Можно и даже необходимо уже сегодня расширить понятие кошерности:

важно не только **как умерщвляется** животное, не менее важно — не оплодотворять его искусственным путем, не кормить его искусственным кормом; важен способ обработки и хранения продуктов; важно, какие удобрения использованы для обработки почвы и многое другое, что до сих пор не оговорено в Галахе. Но зато там сказано совершенно ясно — хотя наши верующие спокойно закрывают на это глаза, — что сверхпотребление противоречит Закону; и поскольку экологическая проблема — результат сверхпотребления в первую очередь, то религиозный фундаментализм будет обязан решить и экологическую проблему. Как, впрочем, и всевозможные другие проблемы нашего народа. Включая палестинскую.

Палестинцы являются побочным продуктом нашей истории (что не является для них унижительным, потому что христианство — это тоже побочный продукт нашей истории: неясно, является ли Христос сыном Бога, но то, что он сын еврейского народа, — несомненно). То, что палестинская проблема — побочный продукт нашего исторического существования, не отменяет необходимости решить ее — в соответствии с **традициями региона**, нашими **геополитическими интересами** и — **библейскими нормами**. История непредсказуема, поэтому неизвестно, по какому пути пойдет это решение. Можно создать палестинское государство, если это будет служить нашим интересам; можно осуществить трансфер, что не противоречит Танаху; можно открыть ворота фундаменталистского иудаизма и для них. Как сказал покойный Пьер Джумайель, на Ближнем Востоке всегда один народ лишний, кого-то всегда изгоняют, “трансферируют”, а то и уничтожают. Если мы пришли сюда, потому что это поближе, чем Уганда, то мы всего лишь неумелые оккупанты, и настанет и наш черед отсюда уйти. Если же впереди маячит Храм, то с нами Бог. Главное — самим определить свой путь, а кого при этом оттеснить на обочину, и кому “дать тремп” — это уже не столь существенно. Просвещенное теократическое государство (или государство, тяготеющее к таковому) соотносится с текстом Священного Писания, а не с текстом утренней газеты.

ПОЛЕМИКА

"Государство Израиль против Ивана Демьянюка". Приговор: виновен. Он — Иван Грозный из Треблинки, совершивший то, о чем человек не может подумать без ужаса и отвращения. Не должно жить такому. Он должен быть осужден на смерть.

Но целое государство?.. Против одного подонка?..

Волею судеб Катастрофа не коснулась непосредственно Государства евреев. Но она преследует его вот уже сорок лет. Похоже, она его настигла. И суд над Демьянюком — не единственное, но самое свежее тому свидетельство.

Государство Израиль, возникшее как **альтернатива** Катастрофе и, по крайней мере вначале, как попытка преодоления последствий Катастрофы, с годами совершило эволюцию, превратившую его из альтернативы в **тьнь** Катастрофы. Постепенно память о Катастрофе перестала быть памятью. Она стала **идеологией** Еврейского государства и **оправданием** его существования. Как-то незаметно оказалось, что государство Израиль возникло **из** Катастрофы и именно **ей** обязаны евреи своей государственностью. И непрестанное напоминание о Катастрофе стало **заклинани-**

Бен-Барух

ТЕНЬ

ем непрестанной угрозы возвращения к Катастрофе и потери государственности. Постепенно память о Катастрофе превратилась в **религиозное служение**, в государственный **культ**, пренебрежение которым грозит чуть не основам государства.

Мало того. Государство Израиль приняло на себя роль апостола культа Катастрофы среди других народов, ее священника, собирающего с народов положенную **десятину**. И горе тем, кто отказывается эту десятину платить! Но что еще хуже, народы, замороженные мрачным культом, признают за государством Израиль это апостольство и священство, и значит, низвержение культа Катастрофы, которое последует в недалеком будущем, сделает государство Израиль предметом **религиозной** ненависти тех самых народов, которые сегодня особенно ревностно участвуют в возглавляемом им служении.

Так духовная слепота вождей государства Израиль последовательно ведет к тому, что большая фантазия нескольких маньяков немецкого происхождения, фантазия, породившая чудовищную форму, лишенную какого бы то ни было духовного содержания, **наполняется** содержанием и становится реальным, уже не фантастическим, поводом к **мистической** ненависти по отношению к Еврейскому государству и к евреям вообще. Есть в этом нечто от греческой трагедии...

Греческая трагедия показала, что кратчайшим и вернейшим путем исполнения предначертаний судьбы является **сопротивление** человека каждому пункту предначертания.

Суеверные греки не сделали из этого откровения простейшего вывода, а именно: **вера** человека в предначертание толкает его на борьбу с ним, вера человека сообщает предначертанию ту энергию, благодаря которой только и возможно осуществление рока.

Продолжая борьбу с **побежденным** нацистским лжепророчеством, государство Израиль **сообщает ему жизненную силу** и незаметно **воспринимает его черты**. К Катастрофе взывают вожди государства, чтобы оправдать **суеверную** ненависть к палестинским арабам, не имеющую ничего общего с враждебностью к врагу. Катастрофой оправдывают они политику: "весь мир против нас", — не замечая, что действительной, а не декларативной стороной этой политики является: "мы против всего мира", — то есть именно то, что вменяли евреям идеологи нацизма. Безопасностью государства, которому угрожает новая

Катастрофа, оправдывают они давление на политику **дружественных** государств, давление, результатом которого может быть только растущее антиеврейское возмущение, постепенно перерастающее в признание правоты тех, кто **вменял** евреям стремление к мировому господству. И пусть не только евреи давят на чужую политику. Но только евреи **оправдывают** свое давление каким-то мистическим исключительным **правом**, приобретенным **благодаря** Катастрофе. И если любое давление вызывает возмущение, то давление по мистическим мотивам вызывает мистическое возмущение. Взрыв такого мистического возмущения может возникнуть от любой искры. Например, от казни Ивана Демьянюка.

Если суд над Эйхманом прошел с триумфом, то это оттого, что именно тогда культ Катастрофы переживал расцвет. Сейчас он в начале упадка, и суд над Демьянюком может лишь ускорить упадок. А Демьянюк, отождествление которого с Иваном из Трешлики основано на свидетельских показаниях **евреев** и только евреев, легко может превратиться в невинную христианскую жертву. Ибо **поверить** в его невинность гораздо легче, чем убедить в его виновности. Таким образом, кровавый навет наполнится свежим и уже несомненным содержанием. А если кто-то в этом сомневается, пусть представит ситуацию, когда еврея осудили бы на смерть на основании свидетельств гоев, не скрывающих своей ненависти к нему. И пусть встанет еврей, который **поверил** бы такому свидетельству, каким бы убедительным оно ни было.

Но слепые вожди государства Израиль вызывают к жизни не только кровавый навет. Они вызывают к жизни Нюрнбергский закон, посвященный исключительно евреям, приняв и применяя на практике закон о преступлениях против евреев **исключительно**. Так преступление отдельной личности против отдельных личностей (хотя бы и очень многих) другой национальности становится **мистическим** преступлением **одного** подсудимого против целого **народа**.

Кто такой Демьянюк, что целый народ требует его к ответу? Сверхчеловек?! Так мистика нацизма нашла себе запазданный отклик в мистике Катастрофы, ставшей религией государства Израиль.

Идеологи нацизма намеренно старались придать обыкновенной уголовщине демонические черты, умножая **количество** преступлений. В смысле качества они ничего не изменили: безжалостность, садизм и вероломство известны человечеству испокон веков. Нацизм пытался заморозить самого себя и остальное человечество **магией числа** преступлений. Нацизм пал. Его вожди и идеологи, потеряв магический ореол, оказались заурядными маньяками. А нацистская магия числа преступлений перешла в культ Катастрофы, превратившись в магию числа жертв. И число жертв стало ритуальным заклинанием культа Катастрофы.

Список элементов нацистского культа, преобразованных в культ Катастрофы, можно продолжать еще и еще. Но худшее наследие нацизма для евреев — это роль **сверхжертвы**, которую культ Катастрофы воспринял из нацистского культа мирового господства.

Ведь по иудео-христианской мистике, вывернутой наизнанку нацизмом, сверхжертва потому и становится жертвой, что является претендентом на мировое господство. Именно так понимали идеологи нацизма роль еврейства. (В отличие от идеологов христианства, которые не видели в еврействе сверхжертву и не ставили себе цель его уничтожить, а только заставить, хотя бы посредством грубой силы, поверить в сверхжертву Иисуса Христа.)

Какая злая ирония, что государство Израиль, вслед за нацизмом, признало еврейство сверхжертвой нацизма и тех народов, которые с ним сотрудничали, и следовательно, претендентом на мировое господство! Даже не будучи осознана, эта претензия проявляется в безоговорочном признании правоты всех претензий еврейского народа, а также всеобщей вины народов перед евреями. Изобретенная нацистами мистическая сверхвина евреев перед человечеством превратилась в мистическую сверхвину человечества перед евреями. Нацистская мистика стала мистикой Катастрофы, всего лишь переменяя полюса: сверхправота нацистов превратилась в сверхправоту евреев, а сверхвина евреев перешла на **неевреев**. Но ведь сверхправота вызывает ненависть не меньшую, если не бóльшую, чем сверхвина. Поэтому именно культ Катастрофы является угрозой повторения Катастрофы.

Впрочем, угроза эта отнюдь не небесного свойства. Она —

следствие духовной тупости и суеверия обыкновенных людей, которые сами выдумывают культы, сами в них верят и сами находят оправдание своим суевериям.

Если бы множество людей не поверили в нацистский бред, не было бы чудовищных жертв (и не только еврейских) второй мировой войны. И если не положить конец разрушительному культу Катастрофы, ужасы мировой войны могут повториться.

Массовая мистика тем и опасна, что концентрирует волю огромного числа людей на достижении **одной, фантастической** цели. Цель эта **никогда** не может быть достигнута, и потому вся накопленная энергия разряжается на самих людей, сея смерть и разрушение. Мудрые вожди не делают мистику достоянием масс. А вожди, лишенные мудрости, сами оказываются рабами той или иной мистики. И чем меньше личная духовность таких вождей, тем больше их тяга к мистическим символам и магическому действу. Ибо с помощью мистики и магии они **компенсируют** свое убожество и оправдывают свое патологическое стремление к власти.

Масса же ведет себя подобно параллельным элементам электрического контура: ее сопротивление нагнетаемому вождями напряжению падает с увеличением количества элементов и оказывается меньше любого из них в отдельности. Таким образом, один человек может овладеть волей огромного числа людей даже легче, чем волей отдельного человека, при условии, что ему удастся "замкнуть" всех и каждого на некую сверхидею. А удастся это тогда, когда многие теряют уверенность в себе лично и проецируют потерянную уверенность на вождя, который тоже в себе не уверен, но компенсирует личную неуверенность мистической сверхуверенностью в своей **исторической миссии**. Весь секрет в том, чтобы эта сверхуверенность была абсолютно искренней, а потому **заразительной**.

Сверхуверенность рождается из многих неуверенностей. И сверхправота — из многих неправд.

Довольно для человека быть просто правым и просто уверенным в себе — без мистических преувеличений.

В случае культа Катастрофы, не сама Катастрофа является преувеличением. Ее исторические масштабы, как бы велики они ни были, определены временем, местом и числом. Преувеличением является разрушение ее исторических границ, пе-

ренос события за его исторический предел.

История — это память. Но довольно, если память является памятью, и нельзя смешивать **память** о прошедшем с **событиями** настоящего. И кто, живя в государстве Израиль, продолжает видеть народ Израиля за колючей проволокой лагерей смерти, а народы мира — потенциальными наследниками нацистских палачей, тот, сам того не ведая, создает условия для возрождения лагерей смерти и **толкает** народы на соучастие в их построении.

Катастрофа **не должна** повториться. Но она **может** повториться, если ее **повторять как мистерию**.

Чтобы Катастрофа не повторилась, необходимо, наконец, перестать в ней участвовать.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ

"ПО ТУ СТОРОНУ УСПЕХА"

Книга известного ученого и публициста. Первая часть представляет собой аутентичный самиздатский материал о возрождении еврейского национального сознания в России, вторая часть рассказывает о встрече с политической действительностью современного Израиля.

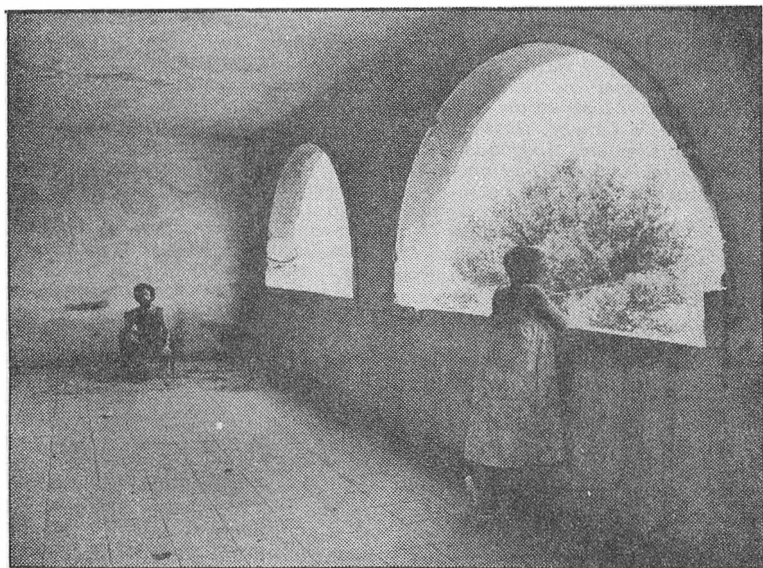
300 стр.

16 долларов

МАСТЕРСКАЯ

Рафаил Блехман

САНУР



Григорий Виницкий. Санур

В пятидесяти с лишним километрах от побережья, прямо на восток от Нетани, в нескольких километрах от арабского Шхема. Таковы "геополитические" (как любят выражаться некоторые) координаты Санура. Название это в последние месяцы все чаще стало звучать в разговорах русских евреев в Израиле, а буквально недавно — и на страницах израильской печати.

Санур (точнее было бы писать и произносить: Са-Нур — что, как утверждают, значит "вознеси свет") — бывшая полицейская станция турецких и британских времен, затем — несостоявшееся шомронское поселение, ныне — поселение еврейских художников из России.

Идея собрать выходцев из России в одном поселении, поселке, даже городе давно гуляет в нашей среде, чуть не с первых дней большой алии из СССР. Энтузиазм этой идеи казался, что стоит собрать пару тысяч (в самых фантастических мечтах — пару десятков тысяч) русско-еврейских интеллигентов в одном месте, как место это немедленно станет культурным, духовным, общественным и прочая центром израильской жизни. Русская алия “себя покажет”, и вот тогда уж окончательно станет ясно, чего она стоит...

“Русская алия” почему-то собирается в кучу не захотела. История провалившись попыток такого рода, наверняка, еще найдет какого-нибудь своего исследователя из местных социологов с психологическим уклоном. Оставим ему гадать, почему спустя столько лет эта идея возродилась в виде Санура; с нас достаточно самого факта: Санур — неожиданный на фоне нашей устоявшейся жизни всплеск почти комсомольского энтузиазма, помноженный на трезвый и профессиональный подход к делу. Может быть, это объясняется особенностями его инициаторов.

Анна Хирам и Виктор Богуславский были создателями “русского гарина” в Эль-Кане; после его распада стали создателями “русского гарина” в Баркане; и именно они стали теперь “первопроходцами” еще одного поселения — в Сануре. Возможно, они относятся к тому типу людей, которым заставаться противопоказано: характер вечно толкает их дальше. Как бы то ни было, они привнесли в создание Санура не только необходимый каждой идее энтузиазм, но и не менее необходимый ей опыт. Они не просто “кинули ключ”, но сначала нашли подходящее и пустующее место, “проветилировали” настроения в поселенческом отделе Сохнута, в руководстве поселенческого движения Гуш-Эмуним, в правлении “Совета Иуды, Шомрона и Газы”, нашли покровителей, удачно выбрали время, когда новые поселения создаются со скрипом, если вообще, а какая-то демонстрация поселенческой активности необходима. В итоге группе был отдан санурский участок, поставлены семейные “караваны” для жилья, обеспечена вода, электричество, газ, охрана, обещана кое-какая — пусть мизерная, но для начала решающая — финансовая поддержка.

Замысел Санура отличается даже от преобладающих ныне поселений “общежитий” (которые сами так разительно отличаются от поселений-хозяйств ранних сионистских времен). В Сануре художники могут жить сколько угодно и когда угодно: кто в “караванах”, кто — со временем — в собственных домах, кто — со временем — в гостинице. Кто месяцами, кто неделями, кто — только нвезжая на уик-энд. К услугам каждого — своя студия и великолепный общий пленэр, к услугам всех вместе — двухэтажное здание бывшего полицейского участка, словно специально вымечтанное для такого поселения: с большим (как раз для выставок и конференций) залом и очаровательными внутренними двориками, со множеством помещений под студии, клуб, гостиничные номера, магазины; ну, и конечно, уже совсем для всех — хозяев и гостей — потрясающий пейзаж Шомрона, его зеленые холмы с разбросанными по ним арабскими деревнями, с сврой лентой дороги и огромным, как небо, покоем. Такая вот идиллия... Для гостей здесь еще навалом романтики, особенно по вечерам, когда засыпают холмы и дорожки, перестают кричать муэдзины, на землю спускается сумрак с его загадочными огнями и наступает время сладких мечтаний о несвершившемся и несвершенном. А для зарубежных гостей Санур — еще и экзотическая возможность промчаться по дорогам Шомрона, увидеть (а это, говорят, лучше, чем услышать или прочесть) пресловутые “территории” и пресловутые “поселения”, а заодно завистливо вздохнуть, глядя на бородатых русских художников: устроились же люди! А то и пожить рядом с ними пару-другую деньков. А может, и порисовать. Снять студию, снять комнату, пожить в земле предков, привезти на берега Гудзона свои израильские этюды и продать их сентиментальным тамошним евреям...

Иными словами, жизнь в Сануре призвана идеальным образом обеспечить так называемое удовлетворение как индивидуалистских потребно-

стей, так и коллективистских сантиментов: посидеть у костра, потравить байки, опрокинуть чарку вредного зелья, на скорую руку решить пару-другую мировых вопросов. И разойтись по студиям для серьезной работы.

Намерения создателей Санура диктуются богатейшими возможностями найденного ими места. Конечно, в эти намерения входит сознательное желание поставить еще одну еврейскую "точку" на карте Шомрон; но просто еще одной "точкой" они не исчерпываются. В Сануре можно жить и работать; можно регулярно проводить выставки; можно встречаться с приезжающими в Израиль деятелями зарубежного искусства и культуры; можно создать литературно-общественный центр; можно, как я уже сказал, сдавать внаем студии и выставочный зал западным художникам; можно гарантировать несколько дней "райской" гостиничной жизни любителям природы, экзотики и тишины; можно принимать все экскурсии по Израилю (утвердив Санур на их обязательном маршруте); можно собирать конференции и дискуссионные клубы; можно... Можно очень много; потенциал Санура огромен. Реальность каждого из этих планов зависит, разумеется, от обстоятельств. Первым из "обстоятельств", как всегда, являются деньги. Времена сейчас экономные, а тех ста тысяч, которые выделил Сохнут, хватало только на косметический ремонт. Второе обстоятельство связано, как всегда, с людьми. Коллектив основателей насчитывает около десяти человек, точнее — десяти семей; все вместе они пока собираются разве что на уик-энд; тогда же в Санур съезжаются многочисленные друзья и гости. Но желающих присоединиться к санурцам пока не так уж много; да и возможности обеспечить этих желающих жильем пока невелики. Обстоятельство третье не зависит ни от людей, ни от денег: это просто наши нынешние израильские обстоятельства. Добраться до Санура — от побережья ли, из Иерусалима — занимает примерно час; дорога идет еблизы арабских сел; в нынешние жаркие времена не все решаются на такое путешествие, а уж тем более — регулярное. И хотя опыт самих санурцев убедительно показывает, насколько это безопасно, но не каждый чувствует себя первопроходцем. Тем более, что далеко не каждый — художник... По всему по этому Сануру, видимо, предстоит достаточно медленный и трудный рост. Хватит ли энтузиазма, сил и согласия у его основателей? Будем надеяться, что хватит. Будем надеяться, что новосозданная Федерация сионистов России (кстати, давнее начинание того же Богуславского) поймет, что, взяв Санур под свое крыло, она разом повысит и свой престиж, и свой кредит доверия. Будем надеяться, что Сохнут, Гуш-Эмуним и кто еще там уразумеют, что сегодня у них нет более эффектного и выигрышного начинания, чем Санур с его мирной, общекультурной и всем симпатичной программой. Будем надеяться...

А пока... А пока произошло торжественное явление Санура народу. В его выставочном зале состоялась выставка работ его основателей. Не будучи художественным критиком, не берусь оценивать ее художественное значение, но общественное было замечено всей израильской печатью, не только на русском языке. Основатели ходили именниками, гости, как положено, съезжались, официальные лица, как положено, произносили речи и давали обещания, двери всех семейных "караванов" по этому случаю были открытыми, и кое из каких даже доносилось всеелое коллективное пение а-капелла насчет шумливого камыша. Словом, несостоящий, по всем статьям праздник — в пятидесяти с лишним километрах от побережья, прямо на восток от Нетании, в нескольких километрах от арабского Шхема, в поселении русских художников. Запомните это слово — Санур... Мало ли что...

ЛЮДИ И КНИГИ

Яков Ашкенази

ИСПОВЕДЬ РОМАНТИКА

Он одноглаз. Его лоб перерезает черная повязка. Из-за повязки лицо его перекошено. Он знает об этом, но не хочет заменить повязку вставным глазом.

Глаз ему выбили в бою, когда он был юношей. Эта повязка — свидетельство боевой раны. Он гордится ею, и ему не нужен элегантный протез, который сделал бы его похожим на других.

Мальчишки гордятся царапинами, шрамами и синяками, полученными в драках. А повзрослев, гордятся боевыми ранами. У взрослых мужчин это — признак остаточной юношеской романтики.

Откуда у него романтический настрой, романтическое умонастроение, мироощущение романтика? Романтическим было время его юности. Его окружали и воспитывали романтики. Кто же, как не романтик, халуц?

* * *

Форма книги Моше Даяна* необычна для русского читателя. Но она не удивит читателя, знакомого с традиционной еврейской письменностью. Моше Даян пересказывает библейские истории, снабжая их своими пояснениями, то есть как бы комментирует Библию. Так и следует одно за другим: например, история Авраама, а за нею — современная автору жизнь кибуца Дгания. И так далее.

В своем "реальном комментарии к Библии" Моше Даян рассказывает о себе, о природе Эрец-Исраэль, о своем участии в событиях, происходивших вокруг него, и о своем отношении к этим событиям. Он уроженец Эрец-Исраэль, и потому его комментарий автобиографичен.

Английский офицер Вингейт водил "ночные роты", сверяясь с Библией как с путеводителем и как с учебником военной тактики. Моше Даян, солдат Пальмаха, родился на этой земле, и герои Библии были его прямыми предками. А библейская история была для Даяна историей его народа, национальной историей. Библейская история была частью биографии Моше Даяна. Частью его биографии и взаимоотношения с Библией, что подтверждается названием книги, и взаимоотношения со страной, где библейские события происходили. Итак, перед нами — автобиографическая книга Моше Даяна.

* *Моше Даян, Жить с Библией, "Библиотека "Алия" ", 1986, перевод Н. Бартмана, редактор А. Гинзай.*

* * *

Невнимательным наблюдателям казалось, что евреи равнодушны к природе. Живя в болотистом Полесье, например, евреи молились о дожде в самое дождливое время, и молились о росе, когда еще не таяли снега.

Реальными природными явлениями были для евреев природные явления, обозначенные в Библии, то есть природные явления Эрец-Исраэль. И к ним они не были равнодушны. Евреи были народом Библии не в переносном смысле, а буквально. Они жили в Библии, в перипетиях ее событий, в Эрец-Исраэль, которая только и была для них подлинной Страной. (Это "литературное" бытие также весьма романтический способ существования!) Окружающие события и явления окружающей природы существовали для них постольку, поскольку существовали. Пророки называли Эрец-Исраэль святой землей, "адмат ха-кодеш", в отличие от любой другой земли, земли нечистой, "адама тмеа". Еврейский календарь и молитвенные формулы предполагают, что местом пребывания еврейского народа всегда остается "земля, текущая молоком и медом", "земля вожделенная", "краса всех земель" — Эрец-Исраэль. Законоучители рассматривали еврейскую жизнь за пределами Эрец-Исраэль лишь как систему, сохраняющую воспоминания о полноте жизни в Эрец-Исраэль.

* * *

Еврейско-русские первопоселенцы и халуцы понимали Библию как модификацию Эрец-Исраэль, а Эрец-Исраэль — как модификацию Библии; вполне в духе романтической концепции, объяснявшей природу как некую субстанцию, находящуюся в постоянном динамическом развитии, в бесконечном самораскрытии. В девятисотые — десятые годы до русско-еврейской провинции добрались семена романтических мечтаний, поверий, устремлений, романтических порывов. Там, в черте оседлости Западного края и Юга России привились и идеи писателя-романтика Теодора Герцля, венгерского еврея, воспитанного на немецкой культуре. Появилось вполне осознанное ощущение и уверенность (равная в той ситуации знанию!), что все романтические устремления и народнические пожелания осуществимы на нашей (это подчеркивалось!) земле.

Какие там капитаны Мариэтты, Буссенары и прочие приключенцы-авторы колониальных романов! То, все описанное, происходило на каких-то чужих землях, а вот это будет происходить — и вот уже происходит! — на н а ш е й земле!

* * *

Романтизм, перенесенный в политику, превращается в революционные восстания и в концепцию "блут унд боден". Сионизм и есть освободительное, революционное движение, а от "блут унд боден" спасла евреев Библия и еврейское отношение к Библии.

* * *

Моше Даян воспитан на библейской истории и любви к Эрец-Исраэль, библейской земле. Его воспитательницей была некоторое время поэтесса Рахель. И она, и родители Даяна, и их друзья испытывали поэтические ощущения и романтические восторги по поводу образа жизни, который характеризуется тем, что "как вольность, весел их ночлег и мирный сон под небесами". Но на самом-то деле, восхищение цыганским ли, пастушеским ли образом жизни было в значительной мере связано у европейцев с Библией, с восхищением добрыми, старыми, патриархальными временами. Здесь же лежал их социальный идеал.

Моше Даян углубляется в почву и проникает в ее эритроциты и лейкоциты как истый романтик. Но в почве он обнаруживает ханаанейские фигурки языческих божков. А в своих красных и белых шариках — любовь к ханаанеям. "Ханаанеи не были для меня чужими. Я считал, что можно было жить с ними бок о бок и поддерживать добрососедские отношения, наподобие тех, какие были у нас с арабами из Маалула и Яффы и с бедуинским племенем Эль-Мазариб, которое обитало за Тель-Шомроном".

Проблемы же чистоты крови и расы его не волнуют и волновать не могут. Евреи, вышедшие из Египта за Моисеем, состояли не только из потомков Якова-Исраэля; о длительном процессе породнения с ханаанеями и идумеями также известно из истории, то есть из Библии.

* * *

Читая Даяна, припоминаешь расхожее суждение: "Библия создала еврея национального, Талмуд позволил еврею стать универсальным". Возвращение в Страну и взгляд на Библию как на национальную историю вновь превратили еврея-универсалиста в еврея национального. Такими — национально мыслящими и чувствующими — воспитывали своих детей отцы-основатели. Рожденные в Стране жили в ней, узнавали ее и ощущали так, что вот именно их отцов отсюда некогда изгнали. И они наконец вернулись. И обнаружили Страну, в которой началась, на некоторое время прервалась и вновь возродилась их национальная история. С того самого дня, когда их изгнали. А куда подевались "промежуточные" два тысячелетия?

* * *

В Стране все хорошо или, в крайнем случае, замечательно и примечательно, потому только, что это — в Стране. Коровы во времена отрочества Моше Даяна были "уродливые твари на коротких ногах, с крошечными осяцами. У этих коров не было ни малейшего шанса получить приз "королев молока" на выставке. Но находить пропитание на полях Ханаана они умели". Плохие коровы, но коровы наши! Местные! Коровы Эрец-Исраэля! Какое значение имеет, что дело коров давать молоко, а не добывать пропитание? Пусть они не дают молоко! Но все равно они прекрасны, потому что они — наши коровы!

Наше чувство земли и причастности к этой земле сходно с таким же

чувством арабов-соседей. Даже в бедуинах-разбойниках мы найдем кое-что симпатичное, хотя они нападают на нас, грабят и убивают (см. истории на стр. 63–64, 98–100, 113–117 и т. д.). Это наша земля, и мы приходим к арабам иначе, чем приходили к ним французские, английские и тому подобные герои колониальных романов. И как замечательно, что у нас есть своя национальная история, которая связана с этой землей! Хорошо в степи скакать, вольным воздухом дышать! Лучше прерий ...пардон! ...лучше Эмек-Изреель места в мире не найти!

Этот библейский романтизм есть составная черта мировоззрения первого поколения сабр. Он привит им отцами, рожденными в галуте, испытавшими влияние европейского романтизма. Библейский романтизм, как видим, лучше всего зреет на библейской земле.

* * *

Эта концепция несколько изменила и отношения с Библией. Читатель обратит внимание, что чувство композиции заставило Даяна группировать свои воспоминания-комментарии так, что они как бы повторяют стадии жизни и развития народа в библейской Эрец-Исраэль. Эпоха патриархов совпадает у Даяна с детством и отрочеством героя-автора, которые прошли в кибуце и были наполнены земледельческим трудом. Автор минует историю Иосифа, потому что пришлось бы рассказывать о галуте. И тогда период перед завоеванием Независимости совмещается в книге с рассказом об исходе. Юность и молодость пришлись на период борьбы за Независимость, и здесь хорошо поговорить о войнах Иегошуа Бин-Нуна и эпохи Судей. И так далее и тому подобно происходит некоторое смещение: не современные события суть отражения событий библейских, но события библейские комментируют современную автору жизнь евреев в Эрец-Исраэль.

* * *

Все попытки учителя Мешулама "доказать, что аналогии между тем, что происходило во времена патриархов, и тем, что происходит в наше время, недопустимы, оказались безуспешными". Внушенный (конформистский? романтический?) взгляд на вещи и явления требовал не замечать реальности во имя торжества идеала: "Покинуть Страну? Детям Яакова, родившимся в Стране? Неудивительно, что они стали рабами! Подделом им!" — думает мальчик.

* * *

Аналогии же такие: Моисей пришел "с кличем свободы на устах, вселить новый дух, распрямить их спины, согнувшиеся под бременем рабства, и возродить надежду". Для тогдашних молодых евреев, пишет Даян, Бен-Гурион был Моисеем "времени возрождения еврейского народа и возвращения его на землю свою". Так толкует Библию Моше Даян и рассказывает: "Бен-Гурион безраздельно отдался служению своему народу, никогда

не делая ему уступок. Он никогда не потакал его слабостям, никогда не поступался своими принципами. "Я не знаю, чего хочет народ, — сказал он мне однажды, — но я думаю, что знаю, что полезно ему". " Это была эпоха, когда руководители, не сомневаясь, знали, точно знали, что полезно народу!

А вот и выражение бунта против такого принципа. Моше Даян убежден, что его герой, его Моисей — Бен-Гурион "не считал, что побуждать народ делать необходимое следовало только административным путем". На этом противоборстве выросла та составная черта мировоззрения первых сабр, которую позже назвали израильским демократизмом.

* * *

Увлечение археологией выдает нам еще одну существенную черту мировоззрения Моше Даяна. Его интерес к эпохе Иегошуа Бин-Нун — интерес археологический? Или интерес солдата? Он родился и вырос в этой стране и жил здесь всю жизнь. Он воспринимает Страну и все, что на ней, и все, что в ней, как часть самого себя. Его восхищает ханаанская культовая скульптура особенно. Он с детства покорен природой Эрец-Исраэль. Если б не наш просвещенный век — стал бы он язычником? Во всяком случае, его любовь к Ханаану, к Эрец-Исраэль во многом чувственна. Может быть, это даже объяснит нам причину того, что евреи долго не могли отстать от язычества?

* * *

Из вышесказанного следует также, что "Библиотека "Алия" подарила читателю полезную и интересную книгу. Лишь объективности ради скажем, что перевод показался нам несколько суховатым. И мы заметили две-три описки, которые отметим как курьез: под дождем он (герой), конечно, вымок, а не "вымочился" (стр. 100), и в полевой бинокль смотрят с к в о з ь линзы, а не ч е р е з них (стр. 157). Говорим же мы об этом только для полноты картины, а не в укор переводчику, редактору и издательству. Они хорошо поработали, чтобы дать русскоязычному читателю в Израиле и за рубежом увлекательное и поучительное произведение.

ПО ПОВОДУ...

... полемики А. Гордона, М. Хейфеца и В. Богуславского по палестинскому вопросу в "22", № 56.

Читатель уже знает из статьи М. Хейфеца, что я физик, а не психолог. Поэтому я, естественно, не знаю, что случилось с М. Хейфецом при чтении моей статьи "Легенды и мифы Ближнего Востока", отчего он впал в менторский тон, отчего изрек столько казенных фраз, почему позволил себе столько личных выпадов против меня, почему так мало писал по сути моей статьи. Но главное — почему ученый-историк М. Хейфец, взявшись писать критическую статью по незнакомому ему, как оказалось, национальному вопросу, так плохо подготовился к своей задаче, допустил столько ошибок и неточностей (даже краткий их перечень занял бы слишком много места для краткого отклика)?

Статья М. Хейфеца так мало касается сути моей статьи, что я с трудом нашел у него возражение, на которое стоит отвечать всерьез. "...Современная наука, — пишет он, — считает, что е д и н с т в е н н ы м признаком, обязательным для национального существования этноса, является его самосознание". Даже без "современной науки" я бы согласился с М. Хейфецом. Однако из одной и той же посылки можно, как видно, сделать разные выводы, основанные не только на теории национального вопроса, но и на его практике. Суть этого различия я и постараюсь объяснить.

Мне близка мысль М. Хейфеца о том, что тяжесть нашего положения обусловлена дефицитом национального самосознания евреев галута, большинство которых не желает репатрироваться в Израиль. Однако дело не только в этом, но и в инфляции национального самосознания израильтян, того самого, которое, по "современной науке", является "единственным признаком национального существования этноса". Следовательно, когда в самосознании появляется доминанта "самоедства", это может быть вполне объективным (то есть "научным") фактором ослабления позиции израильских евреев. Инфляция национального самосознания части израильтян, сопровождающаяся их отступлением перед "палестинским народом", не обязательно связана с демографической проблемой — сорок лет назад, скажем, израильтян было куда меньше и они были куда слабее в военном отношении, чем сегодня. Ситуация ухудшилась с превращением сионизма из мифа в реальность. С сионизмом произошло то, что происходит со многими осуществившимися идеями: он стал статичным, идеологически пассивным и дал чужим мифам формировать действительность. Пока сионизм был безумной идеей, он был способен создавать реальность. Однако уже давно на Ближнем Востоке идет борьба двух национальных самосознаний — арабского и еврейского, в которой арабское самосознание ведет. Оно дает национальный ответ на национальный вопрос. Будучи не в состоянии одолеть Израиль силой оружия, арабы придумали очень национальный палестинский миф, в который поверили сами и в который успешно заставляют верить других. Еврейское же самосознание в ответ на свой на-

циональный вопрос задает многочисленные вопросы и вызывает ту неуверенность в своей правоте, которую хорошо ощущают арабы и неарабы и которую они воспринимают как слабость позиции израильтян. Наши левые приводят доказательства реальности "палестинского народа", одно из которых использовал М. Хейфец: "...ни под каким микроскопом вы не найдете этнической разницы между костариканцем и никарагуанцем!" А раз нет этнической разницы, скажем, между йеменцами и палестинцами, значит, последние имеют, по М. Хейфецу, такое же право на самоопределение, как йеменцы. Здесь стоит процитировать рекомендованную М. Хейфецом статью В. Жаботинского: "Политическая наивность еврея баснословно и невероятна: он не понимает того простого правила, что никогда нельзя "идти навстречу" тому, кто не хочет идти навстречу тебе". Но дело не только в политической наивности, а и в том, что аналогия М. Хейфеца неточна с точки зрения "современной науки" о самосознании. Ведь все зависит от того, в чьих руках микроскоп (это же не физика). Если бы микроскоп был в руках индейцев, истребляемых латиноамериканцами, то они бы увидели, что образование последнего латиноамериканского (аналога "палестинского") народа окончательно лишает их земли и права на самоопределение. Разумеется, динамика образования латиноамериканских и арабских народов различна (поэтому аналогия М. Хейфеца бессодержательна). Но главная неточность состоит в том, что М. Хейфец обращает внимание только на результат — много арабских, много латиноамериканских народов — и игнорирует такой "научный" фактор, как самосознание индейцев. А ведь индейцы противились сегодняшним латиноамериканцам, которых М. Хейфец упоминает, как оправданно возмущающихся еврейскими националистами. Самоопределение йеменского народа (даже двух), в отличие от самоопределения палестинцев, не угрожает нашему существованию. Таким образом, для нашего самосознания есть большая разница между йеменцами и палестинцами. Если не поможет палестинский миф, арабы могут додуматься и до "галилейского народа". Об этом я писал в "Круге" (№ 459, 1986). Так что, когда М. Хейфец пишет: "Но ведь на самом-то деле ничего особо нелепого в создании "галилейского государства" нет", он спорит не со мной.

Другие народы идут на большие уступки арабскому национализму. Только ли по гуманным соображениям? Едва ли. Есть много других более веских причин, не имеющих прямого отношения к теории национального вопроса: нефть, важное стратегическое положение арабов, рынки сбыта и страх Запада перед энергичным выражением арабского самосознания — террором. Только недавно канадское правительство отказалось выдать Израилю арабского террориста из-за того, что "арабские экстремисты могут подвергнуть опасности жизнь канадских граждан". Поэтому неуспех теорий еврейских националистов, вопреки М. Хейфецу, нужно искать не в слабости их аргументов, то есть не в теории национального вопроса, а в практике национального ответа, который куда мощней у арабов и который вдобавок усиливается заинтересованностью в них Запада и Востока. В диалоге, который сочиняет М. Хейфец, чтобы поставить под сомнение мои доводы против международной конференции, реплики великих держав

пишет теоретик М. Хейфец. Практика же в течение двадцати последних лет такова, что в Совете Безопасности ООН сторонница "профранцузской линии" Франция (не говоря уже об СССР и Китае) регулярно голосует против Израиля.

Слегка перефразируя концовку статьи М. Хейфеца, хочу заметить, что от наших историков, взявшихся писать критические статьи по малознакомому им вопросу, "мы ждем такого же напряжения умственных сил, какое ощущается в процессе их профессиональных занятий". Иначе можно оказаться по ту сторону национального вопроса.

Александр Гордон (Хайфа)

Несколько фраз в объяснение своей позиции. Разумеется, я понимаю, что другие народы поддерживают арабов не только из гуманных соображений. Я только хотел напомнить, что не нужно облегчать им принятие антиизраильской позиции нашими собственными ошибками и предельно неумелой пропагандой в духе "мифического палестинского народа", которая, повторяю, на самом деле только оскорбляет большинство современных народов мира, при этом ровно ничего, кроме неприятностей, не принося Израилю.

А. Гордон сокрушается, почему я мало пишу о "сути" его статьи. Объясняю. Я возражаю ему не по сути, а — как бы это выразиться? — с эстетических позиций, что ли. А. Гордон пишет на уровне многих израильских политических журналистов. Политические журналисты не ищут истину — они ее уже "знают", факты и доказательства обрубаются ими в соответствии с их концепциями. Люди, воспитанные в советской ментальности, охотно подхватывают этот здешний стиль — он им с детства привычен. Нужно только сменить "цвет знамени", что относительно нетрудно, а вот самое сложное — способ работы, навыки мышления — можно оставить советскими, то есть в духе Ури Авнери или Аарона Папо, Рони Мило или нашего Израиля Шамира. И будешь здесь на месте, к тому же — дешевой ценой.

От думающих людей я жду большего. Израиль страдает не столько от недостатка патриотизма, о чем сокрушается А. Гордон, — он страдает от той политизации жизни, когда истинная общественная ситуация сознательно прячется от глаз нации во имя выгод тех или иных общественных групп. Израиль страдает от поверхностности своих политических деятелей, от их трусости перед инстинктами толпы, то есть от тех самых бед, от которых уже больше всего пострадали окружающие нас арабские народы.

Самое легкое — опуститься до уровня противника. Там он нас и ждал! Не следует забывать — евреи трижды проиграли свою страну, и каждый раз это бывало, когда к власти приходили пылкие, искренние, мужественные патриоты, сокрушившие "врагов народа". Впрочем, еще совсем недавно национал-предателями звали Бен-Гуриона, Моше Шарета и даже Менахема Бегина...

Михаил Хейфец (Иерусалим)

И. Либлер правильно подметил переходность нашего времени. В течение двадцати лет отказное движение, никак не окрашенное идеологически, представляло советских евреев перед еврейством и миром. Теперь происходит то, на что так надеялись и чего так боялись многие: старые отказники с их опытом, идеями, связями уезжают — и уезжают один за другим. Старый отказ стремительно исчезает. Кто же займет его место? С кем иметь дело еврейству мира? Неужели евреи России снова превратятся в евреев молчания?!

Статья И. Либлера — голос растерянности, ищущий ответа на этот действительно серьезный вопрос. И. Либлер считает, что основное внимание надо обращать сейчас на небольшие религиозные группы "баалей тшува" (вернувшихся к вере), ибо именно они являются теми, кто остается здесь ведущей силой советского еврейства.

Что же дает взгляд изнутри на то, что сейчас происходит с советскими евреями? Начнем с отказа. Похоже, что этот институт пока не подлежит упразднению. Уезжает лишь верхний слой, а тем временем накапливается новый отказ. Совсем "свежие" отказники уже подпирают тех, кто недавно еще числился в "молодых", а те, в свою очередь, на глазах формируют новую элиту отказного движения. Похоже, что этот процесс будет продолжаться достаточно долго — по крайней мере, до тех пор, пока в СССР не будет решена проблема выезда из страны в целом, а не только для евреев. В перспективе этого пока не видно. Перспектива же еврейской эмиграции довольно понятна. Она безусловно будет продолжаться, и для этого есть немало объективных причин. Кроме тех, которые действовали до сих пор, новым эмиграционным стимулом становится усиливающийся общественный антисемитизм, принимающий уродливые радикальные формы. Новая советская политика и рост антисемитизма выдвигают проблему еврейского национального существования в СССР, известную в прошлые годы как "проблема еврейской культуры", на одно из первых мест.

Евреи еще долго будут жить здесь и в немалом количестве. Для этого они должны будут добиваться минимальных условий развития своего национального наследия и возможности объединения на базе национальной культуры и неотложных требований сегодняшнего дня, в частности борьбы с антисемитизмом, пресечения антисемитизма.

Каково место советских "баалей тшува" в этой картине? Численность их сравнительно невелика; советское еврейство вообще наиболее секуляризовано среди всех еврейских общин мира. Старые религиозные традиции были радикально прерваны в предшествующие десятилетия. В количественном отношении не более 5 процентов советских еврейских семейств имеет какое-либо отношение к религиозной традиции. Действительно, влияние движения тшувы на отказ в последние годы усилилось, — подобно тому, как в мире вообще наблюдается усиление религии. Но освобождение от отказа не прошло мимо "баалей тшува", оно задело эти группы в такой же мере, как другие, лишив их многих лидеров, выехавших в Израиль. Более того, если в предшествующие годы среди "баалей тшува" существовали разные группы, с достаточно различными платформами и способами

реакции на окружающий мир, то теперь оставшиеся “баалей тшува” представлены почти исключительно ортодоксальными группами радикального хасидского и агудистского толка. Влияние их очень невелико и часто может быть расценено как отрицательное, то есть, скорее, отталкивающее от еврейства тех советских евреев, которые тяготеют к своему национальному наследию. Радикальность, обскурантизм и неофитство никак не могут стать той основой, вокруг которой будет спланиваться советское еврейство в критическое для него время.

СССР — галутная страна. Опыт истории показал, что в последние века религиозная жизнь в галуте объединяет евреев на основе свободы и плюрализма. Свобода религиозных объединений в Советском Союзе — вопрос сложный, подвергающийся в настоящее время критической переоценке, но в любом случае пока еще далекий от разрешения. Плюрализма же в религиозном иудаизме у нас сейчас нет. Причины тому объективные. Конечно, можно надеяться, что рано или поздно они исчезнут и тогда нынешние небольшие группы радикалов не смогут претендовать на единственное представительство от лица всех религиозных евреев страны. Пока же этого не произошло, очевидно, что существующая сегодня в СССР группа “баалей тшува”, в массе состоящая из тех же отказников, никак не может рассматриваться как единственная надежда тех, кто принимает близко к сердцу судьбы советского еврейства.

Проблемы евреев СССР состоят из трех составляющих: национальное существование в советских условиях; свобода репатриации и эмиграции; и противостояние антисемитизму. Каждая из этих проблем многолика, каждая складывается из разных течений и каждая порождает своих участников и своих лидеров. Религиозные евреи пока еще немногочисленны, и светские евреи в равной мере принимают участие в решении еврейских проблем. Разделение советского еврейства на религиозное и светское, которое предлагает провести И. Либлер (усматривая в первых носителей “истинно еврейского духа”), непродуктивно и может оказаться глубоко ошибочным в специфических условиях СССР.

Михаил Членов (Москва)

Михаил Членов — историк и этнограф, автор ряда научных работ, активист еврейского движения в СССР с начала 70-х годов, организатор историко-культурных семинаров и других общественных мероприятий в отъезде.

Статья И. Либлера мне в целом понравилась. Автор достаточно точно понимает сложившуюся в СССР ситуацию; предлагаемый им путь борьбы за советское еврейство можно, с некоторыми оговорками, считать вполне логичным. Попробую теперь расшифровать слово “оговорки”.

Я не могу полностью согласиться с утверждением И. Либлера, будто на смену секулярным активистам пришли религиозные. Это не так просто, не так “черно-бело”. Хотя безусловно процент религиозных людей среди активистов алии вырос, это объясняется, я думаю, вполне естественным развитием. Это столь же естественный процесс, как то, что активисты 80-х годов

больше знают о еврейской культуре или лучше разговаривают на иврите, чем активисты 70-х. Тут нет ничего обидного для прежних активистов — они были первые, они прокладывали путь, и без них наш “отказ” не был бы таким, как сейчас. Это именно они дали активистам 80-х годов плеяду учителей иврита, так что нынешние активисты получили возможность изучать еврейскую культуру и язык на достаточно хорошей основе. То же самое можно сказать и о религии. На протяжении всех этих лет отказа движение созревало, приближалось к еврейским истокам; естественно, появились люди, которые заинтересовались религией всерьез, их стало больше, и многие из них, что тоже вполне естественно, стали активистами алии. Но я по-прежнему не верю, что религия, как таковая, может стать сегодня серьезным средством привлечения широких масс ассимилированных советских евреев. Я не верю, что она может служить п е р в ы м шагом привлечения к еврейству людей, отравленных постоянной атеистической пропагандой. Как ни больно мне, религиозному еврею, это говорить, но надо быть честным и признать этот факт. Приход к иудаизму — это постепенный процесс, и начинаться он должен н е с р е л и г и и , а с к у л ь т у р ы . Какими бы религиозными ни были новые активисты, им все равно придется идти старыми путями. Человека, который впервые осознал, что он еврей, нельзя усаживать сразу же за комментарии Раши — ему следует сначала рассказать о Шестидневной войне, об “Экзодусе”, о кибуцах, об Израиле. И лишь затем уже можно попытаться объяснить ему, что такое иудаизм, кто такие Раши и Рамбам. Это некий долгий процесс, и лицо алии не изменится в один миг: не станут все советские евреи “вдруг” религиозными, не наденут они все до единого черные шляпы и не двинутся дружными рядами в Израиль. Нельзя все так упрощать.

Но говоря о культуре, следует, мне кажется, подчеркнуть еще одно обстоятельство. Не следует впадать в крайность и принимать “гласность” за гласность. Такая ложная предпосылка ведет к ошибочному выводу, будто сейчас не только нужно, но и можно развивать официальную еврейскую культуру в СССР. Не просто легализовать преподавание иврита (чего действительно следует добиваться), а — открывать новые синагоги, выпускать газету на иврите и т. д. Такая “культура” годится разве что для официальных выставок и пресс-конференций с иностранными журналистами. Нам же нужно развивать ту культуру, которая возникла в рамках движения за алию. Нельзя отрывать культуру от этого движения, словно выезд — это одно, а культура — нечто другое. Я не говорю, будто И. Либлер полностью становится на эту позицию, но в его статье нечто подобное проскальзывает, и поэтому моя последняя “оговорка” касается именно того, что, призывая к развитию еврейской культуры, нужно четко и реалистически понимать, о к а к о й культуре мы говорим. Судя по моей личной беседе с И. Либлером, он этот вопрос понимает правильно.

Юрий Эдельштейн (Иерусалим)

Юрий Эдельштейн — в прошлом активист алии, преподаватель иврита, узник Сиона; в Израиле с осени 1987 года.

Поскольку мир, как известно, устроен по принципу "мера за меру", я представляю, как все эти чиновники ввалятся однажды ко мне в кабинет, руки трясутся, в глазах надежда, а я как рявкну: "Согласно очереди!"

Лебезя выйдут, ловя мой взгляд, будто я благодетель. А какой я благодетель? — "Следующий! Фамилия?" — "Майор запаса". — "Зачем?" — "Документы принес". — "Куда?" — В мир иной, в юдоль печали". — "Тогда почему в вызове не майор, а денщик? Достанешь новый — приходи". — "Да где я его, новый?" — "Пошел, денщик, вон! Следующий!" — "Здравствуйте". — "Куда?" — "Туда". — "Родственники есть?" — "Где?" — "Там". — "Есть". — "Близкие?" — "Дядя". — "А тетя?" — "Пока болеет". — "Доблеет — оформляй анкету. Но отпускаем только к прапрадедушкам. Следующий! Специальность?" — "Начальник". — "Чего?" — "Виз и регистраций". — "Секретность?" — "Форма нуль". — "А ну брысь к нулям отсюда! Через сорок лет, умоешься — переподавай. Следующий! Справка с работы?" — "Извольте-с". — "Почему вместо печати оттиск зада? Чей зад?" — "Мой". — "Кто оттиснул?" — "Еврейский отдел". — "А ты, пугало, кто?" — "Шеф отдела". — "Национальность?" — "Шифр А, дробь один". — "Разрешение от бывшей бабы, ее бывшего первого мужа из другого отдела, их детей от соседей, от прохожих и от детей прохожих! Пшел!" — "Да у меня и бабы отродясь..." — "Заведи! Следующий". — "Министр по хлопку". — Хлоп. "А ты-то зачем?" — "Жить надоело". — "А то, что обратно нельзя, знаешь?" — "Знаю". — "А то, что..." — "Знаю". — "Тогда зачем?" — "Имею

Реувен Пятигорский

**ОРГАНИЗАЦИЯ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
БИРОБИДЖАНА**

(московские
фельетоны)

право?!” — “А слева не хочешь? Вон отсюда. Следующий! Профессия?” — “Лидер”. — “Чего?” — “Всего”. — “Зачем?” — “Затем”. — “Отказано до конца цивилизации! Вот улучшим отношения с Марсом, тогда. А пока привет супруге”. — “Она уже. Соедините, пожалуйста”. — “У нас не телефонная станция. Еще спасибо скажешь, что не пустили. От ваших жалоба, что и в стене не без червей. Иди, дыши народным кислородом, пока бесплатно даем”.

Завоют чиновники: “Мы уж и ленточки заказали. Отпусти, миленька-ай, на успокоение”. — “Нет мотивов. Одна какафония!” — С той стороны запрос: “Почему люк захлопнулся?” — А я на них — цыц: “Желающих нет. Кто хотел, тот уже, остальные жизнелюбы и оптимисты”. — Впрочем...

Впрочем, пока я сижу здесь и фантазирую, я злой, а так, конечно же, отпущу. И туда, и обратно. У меня доброе сердце. Можете хоть завтра. Можете хоть через сто лет. Виза бессрочная. Можно вообще без визы. На таможене не раздевают, внутрь пальцев не суют, ваньком не обзывают. Пишите письма — не вскрываем. Звоните — не подслушиваем, не поднюживаем. Ведем себя как люди. Об ваш саван не сморкаемся. Вы хоть понимаете, что это значит — “как люди”?

Купите меня!

Если вы меня спрашиваете, что я думаю о положении, в котором находятся евреи, желающие выехать из Советского Союза, то я отвечаю, что представляю себе такую картину. Вот я стою на высоком помосте, и вот ко мне подходят два вполне приличного вида джентльмена, один со значком Ленина на пиджаке, другой с сигарой в зубах.

Тот, что со значком, показывает на меня и говорит:

— Еврей. Могу дешево уступить сто или двести тысяч штук. Склонен к интеллигентности, социально активен, предприимчив, быстро обучаем, необидчив. В нефтедолларах отдам по цене шестидесяти баррелей за штуку.

Тот, что с сигарой, щупает мне плечи, рассматривает зубы, наконец отвечает:

— Дорого. Могу взять по цене десяти баррелей за штуку.

— Всего десяти? Да ведь он знает мои государственные секреты!

— Я тоже знаю ваши секреты. Кто их не знает?

— Ладно, пятьдесят. Берите, а не то я начну его мучить. Вам его не жалко? Имейте сердце!

— Жалко. Но дорого. Даю двадцать и ни граммом мазута больше.

— Сорок! Это последняя цена. Могу скинуть до тридцати пяти, но тогда откажитесь от стратегической инициативы.

— Ни за что! Двадцать пять вместе с инициативой и отказом от ракет средней громкости в Европе. За тишину надо платить.

— Извините, но еще семь лет назад вы соглашались на сорок.

— А теперь не соглашаюсь! Впрочем за сто штук в неделю я готов платить по тридцать. Но прибавьте к ним пару штук поизвестней.

— О'кей, — говорит тот, что без сигары. — Сто по тридцать и еще пару по сорок каждую неделю. А теперь прошу сюда...

И они отходят, но тот, что без значка, задерживается на секунду и, как бы извиняясь передо мной, разводит руками:

— А что я могу еще сделать, друг мой?

В то время как его партнер по торговым переговорам уже начал новый раунд:

— Готов уступить оставшихся политических заключенных... по амнистии... оптом... по цене... но с выездом...

Их голоса смолкают в общем гуле невольничьего рынка, а я остаюсь на своем помосте. Высоко в небе над моей головой летят птицы.

Вот, что я себе представляю, если вам об этом интересно.

Переговоры в низах

В подвале нашего дома встретились два кота. Один белый, холеный, другой рыжий, с боевой отметиной на ухе.

— Ну что? — спросил белый кот. — Будем разоружаться?

— С удовольствием, — ответил рыжий. — Я обязуюсь подпилить когти, подтупить зубы, выдрать себе полхвоста и уменьшить наполовину число боевых усов.

— Я тоже. Но как мы будем проводить проверку?

— На честное слово! Даю честное кошачье, что буду орать на тебя чуть тише, перестану строить тебе засады у печной трубы на чердаке и, главное, прекращу обхаживать твоих кошек!

— Отлично. Я вижу по твоим глазам, что ты честный парень. А теперь — о правах мышей.

— Предоставляю им полные права! Закрываю политические мышеловки и объявляю свободу питания.

— Великолепно! Я рад, что ты решил стать цивилизованным котом. За это я тебе подарю два батона колбасы, головку сыра и банку сметаны.

Коты пожали друг другу лапы, выпили по глоточку валерьянки в знак вечной дружбы и разошлись.

Ничего не знаю о белом коте. Но мы, мыши, не очень-то доверяем рыжему. Сейчас он закусит подаренной колбасой, распустит усы и начнет за нами охоту. Вы слышите? — “Где здесь противники разрядки? Сейчас я вам покажу свободу мышинной эмиграции”.

Что ни говорите, обидно быть маленькой безропотной мышью, судьба которой зависит от какого-то бандитского рыжего кота. У людей, говорят, совсем по-другому. Ими никто не распоряжается.

Право на конференцию

— Не понимаю, почему ты против того, чтобы провести всемирный съезд кулинаров на нашей кухне? — спросил я своего соседа по квартире, гурмана с внешностью дистрофика.

— На нашей кухне крысы подошли с голоду, — ответил гурман. — Чем ты собираешься кормить своих кулинаров на прощальном банкете?

— Чепуха, — возразил я. — Океанологи съезжаются в Монголию, хотя там не то, что океана, озера приличного нет. Было одно озеро, но его верблюды выпили раньше, чем туда пришли монголы. Мне евреи рассказы-

вали. Ты знаешь, сколько от Монголии до океана?.. Исследователи-полярники получили приглашение провести симпозиум на Мадагаскаре. Ты знаешь, сколько от Мадагаскара до ближайшего полюса? Я уже видел красочный буклет-приглашение с чернокожим Амундсеном на обложке: стоит в кухлянке посреди льдины, банан в руке, зубы до ушей. Кого смущают противоречия в наш век? Главное, это внутреннее содержание. Специалисты по геологии Луны уже пять лет проводят семинар в Калифорнии. Ты знаешь, сколько от Калифорнии до Луны? Советский Союз предложил провести международную конференцию по правам человека. Ты знаешь?.. Ничего ты не знаешь. Мало ли кому что хочется устроить! Конференция — не олимпийские игры, согласия у других стран просить не надо. Сам провел, сам свой гимн сыграл, вклад в международное сотрудничество внес, сам себе на лоб веночек повесил. Ходи как Аполлон, демонстрируй... Так что не понимаю, почему ты против съезда кулинаров на нашей кухне. Разве тебе не хочется поговорить о вкусненьком?

— Ладно, — согласился дистрофик, — проводи свой съезд. Только предупреди заранее, чтобы я успел переехать к знакомым. Хоть у них и не публичный дом, все же международных конференций по проблемам нравственности они устраивать не собираются.

Вместо отклика

Вчера ко мне в квартиру ворвался старый мой друг, тоже отказник с древним стажем, милейший интеллигентный человек, от которого, бывало, не услышишь ни одного громкого слова, а тут он вдруг закричал с порога:

— Реувен, я знаю, что надо делать, чтобы нас наконец отпустили в Израиль!

— Я тоже знаю, — сказал я ему. — Нам надо есть и спокойно выпить чаю. Моя жена сварила чудесное варенье.

— Нет, ты только послушай. Назрела необходимость в создании новой организации. Я уже придумал название: Организация освобождения Биробиджана, ООБ.

— Освобождения чего? — не понял я.

— Биробиджана. Это такая земля за Сибирью, рядом с Китаем, на полпути к Луне. Там еще Сталин учредил национальную область для советских евреев, хотя он и сказал, что евреи не народ. Тем самым он создал для этого народа национальный очаг. Потому что без очага в тех местах очень плохо — можно замерзнуть. Об этой земле все давно забыли, а она все еще существует. И там даже осталось несколько десятков евреев. У них в паспортах, как и у нас с тобой, тоже написано "еврей", но только древнееврейскими буквами. Правда, на хорошую работу все равно не берут, тут, наверно, дело не в буквах. Одним словом, они самые настоящие граждане еврейской национальности, говорят на идише, бьют комаров, смотрят телевизор.

— Ну и хорошо. Нам-то какое до этого дело?

— Как какое дело! Ты что, не понимаешь? Ведь там же есть коренное население. Граждане эвенкской национальности, а также нанайцы, ульчи, украинцы, удэгейцы, просто охранники... Послушай, — мой приятель сел напротив и заглянул мне в глаза. — Ты согласишься, что Советский Союз является другом всех угнетенных народов?

— Ну допустим. Хотя тут больше пропаганды, чем настоящей дружбы.

— Постарайся мыслить в политических категориях. Раз Советский Союз друг всех народов, то он не может оставаться равнодушным к судьбе эвенков и нанайцев, чья родина — древний и многострадальный Биробиджан.

— Твои эвенки могут перекочевать на север, у них там тайги столько, что на две Европы хватит.

— Это не конструктивное решение. Не надо путать политику со здравым смыслом. Если эвенков расселить на севере, то чьи интересы будет защищать Организация освобождения Биробиджана? О ком будет заботиться ее Национальный комитет? Кого представлять посольства и представительства во всех странах? Для кого, спрашивается, она будет закупать тонны оружия, начиная с автоматов Калашникова и кончая ракетами типа СС-20? Одним словом, кто тогда гордо развернет знамя освободительной борьбы?.. По-моему, очень убедительно, ты не находишь? Что касается Америки, то там достаточно ограничиться просто культурным центром. Главное, иметь своих наблюдателей в ООН. Пусть наблюдают.

— Где ты возьмешь столько эвенков, чтобы закупать для них тонны автоматов? У них на футбольную команду игроков не хватит...

— Пригласим из других футбольных команд. В прогрессивном человечестве не без добрых людей... В перспективе — борьба за созыв Международной конференции по урегулированию биробиджанской проблемы. Решение должно быть всеобъемлющим. То есть с признанием прав на существование всех заинтересованных в существовании сторон. В Конференции могут участвовать все желающие страны из ООН, если они найдут для этого свободное время, а также в обязательном порядке обе сверхдержавы, Израиль, Китай, как ближайший сосед, и представители угнетенных эвенков... Кстати, нам срочно надо найти как минимум пару угнетенных представителей. У тебя среди знакомых случайно нет эвенков? На крайний случай годятся киргизы.

— С киргизами не знаком! Но скажи, причем тут Израиль? У него нет дипломатических отношений с Биробиджаном. У него там нет своих интересов.

— Во-первых, кого хоть раз остановило отсутствие дипломатических отношений? Что за щепетильность! А во-вторых, как так нет интересов! Я же уже сказал, что там живут евреи. То есть потенциальные израильтяне.

— Чепуха. Израиль тебя не поддержит.

— Нет такой идеи, которая не нашла бы сторонников в Кнессете. Вот увидишь, они еще перессорятся из-за Биробиджана.

— Хорошо, но причем тут мы с тобой? Мы, к счастью, живем в Москве, а это совсем другой конец Сибири.

— Чудак, да ведь именно мы и будем главными людьми в правлении ООБ.

Хоть мы и евреи, но справедливость нам дороже. Свободу удэгейцам и найцам! Дролой еврейские поселения на северном берегу Амура и в полосе Хабаровска! Требуем срочного созыва Совета Безопасности и принятия резолюции по осуждению еврейзации дальневосточного региона!

— Ты серьезно?

— Почему бы и нет? Организовав ООБ, мы станем нежелательными для Советов людьми, и они нас отпустят в Израиль. А там мы эту идею быстро похороним.

— Зачем же хоронить. Хорошая идея, — сказал я задумчиво. — Созыв конференции по Биробиджану. Почему бы не созвать также конференцию и по Прибалтике, которую Сталин приобрел в результате торга с Гитлером? А чем хуже конференция по Западной Украине или по Карельскому перешейку, отхваченному у Финляндии под Ленинградом?

Мой друг встал и, глядя на меня с испугом, попятился к дверям. Я, наверное, выглядел сумасшедшим, но продолжал:

— Для одной России можно созвать свыше десятка таких международных конференций. Что касается ООБ, то давай уж сразу объявим о создании Объединенного комитета организаций освобождения.

— Освобождения чего? — спросил мой друг, не попадая дрожащей рукой в рукав пальто.

— Да всего! Прибалтики и Закавказья, Северного полюса и Курильских островов. Ты знаешь, где находятся Курильские острова? Евреи, прочь с оккупированных вулканов в Охотском море! Япония будет в восторге. На конференцию по Курилам надо будет пригласить фиджийцев.

— А фиджийцев зачем? — прошептал мой друг уже в дверях.

— Как зачем, они же соседи по Тихому океану. Кстати, ты не знаешь, на Фиджи много евреев?

Но мой друг уже убежал. А я пошел посмотреть на себя в зеркало: неужели я действительно похож на безумного? Кому помешала пара лишних международных конференций?

Ревен Пятигорский (Москва)

Ревен Пятигорский (1948 года рождения) — окончил МФТИ по специальности "математика", позже окончил ВГИК по специальности "сценарист художественных фильмов"; в отъезде с 1980 года; шесть раз изгонялся с работы; женат, имеет троих детей; семья живет по религиозным законам.

НЕКРОЛОГ

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ПОЛЕТИКА

В ночь на 24 марта в возрасте 93 лет скончался профессор Николай Павлович Полетика. Он был последним представителем украинской линии древнего рода малороссийского шляхетства, связанного с Украиной и Россией на протяжении трех столетий и оставившего заметный след в истории России и, в частности, в истории культуры. За свою большую жизнь он работал во многих областях и во всех достигал высоких профессиональных результатов.

Был журналистом — работал в редакции крупной газеты. Написанная в этот период книга об “обезьяннем процессе” читается с интересом еще и сегодня.

Преподавал в институте Гражданского воздушного флота — разработал оригинальный курс “География воздушного транспорта” и выполнил исследования, сделавшие его первым в СССР кандидатом экономических наук по специальности “Экономика воздушного транспорта”.

Но главным призванием Николая Павловича была история. Еще юношей, едва окончив гимназию, он решил и изучить вопрос о подготовке и возникновении первой мировой войны (“кто виноват?”) — и это решение выполнил. Две капитальные монографии (одна из них дала ему степень доктора) явились солидным вкладом в историческую науку и получили международное признание. Формой признания было и то, что в гитлеровской Германии книги Полетики оказались в числе сожженных публично.

В 1973 году 77-летний Н. П. Полетика переехал в Израиль и здесь написал книгу воспоминаний “Виденное и пережитое”. Изданная в 1982 году, эта книга во многом подытоживает его жизнь.

“По своей натуре я — не деятель, не активный участник событий, а зритель, созерцатель и свидетель их (...) Мне хотелось быть лишь свидетелем великих потрясений эпохи, в которую я жил, но не участником и тем более — движущей силой их”. Подлинный интеллигент, Н. П. Полетика был представителем “потерянного поколения, которое (...) чувствовало себя чужим любому диктаторскому режиму, в том числе и режиму большевистской партии. Нашему поколению досталась тяжелая жизнь и тяжелая смерть, потому что наш век — век буржуазно-демократической революции — умер в России раньше нас. Наше поколение в течение восьми месяцев перескочило из самодержавного режима в другой, еще более самодержавный, и мы, интеллигенция начала XX века, осознали себя обреченными на гибель”.

Воспоминания Николая Павловича были высоко оценены в рецензиях в “Континенте” и в “Русской мысли”.

90-летие Николая Павловича было торжественно отпраздновано в клубе Неве Якова, ему была посвящена радиопередача на русском языке.

Похоронен Н. П. Полетика в монастыре св. Марии Магдалины.

Много лет назад старуха-цыганка предсказала 17-летнему гимназисту-восьмикласснику Николаю Полетике, что он умрет на Святой земле. Ее предсказание неожиданно осуществилось...

В. Казан

Главный редактор – РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН

Редакционная коллегия:

**В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н. ВОРОНЕЛЬ,
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, М. ХЕЙФЕЦ,
Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА**

заведующая редакцией – **Мириам БАР-ОР**
технический редактор – **Наталья РУБИНА**

*Всю корреспонденцию направлять
по адресу: "22", Р. О. В. 7045, Рамат-Ган.
Телефон редакции – 1031-394525*

Представители журнала за рубежом:

США: L. Khotin, 1518 Scenic Ave, Richmond, Ca. 94805, USA.

ФРГ: L. Roitman, 67 Oettingenstr. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR.

Великобритания: R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4 4DD, England.

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 65 шек., для организаций – 75 шек., за рубежом – 50 долл. (авиапочтой в Европу – 60, в США – 65 долл.), для организаций – 65 долл. (авиапочтой в Европу – 75, в США – 80 долл.).

Отпечатано в типографии "ЯКОВ-ПРЕСС", ул. Рош-Пина 22, Тель-Авив



12